

P. o. russ.

151

℄

• P. o. russ. 151 c

<36620210760010

<36620210760010

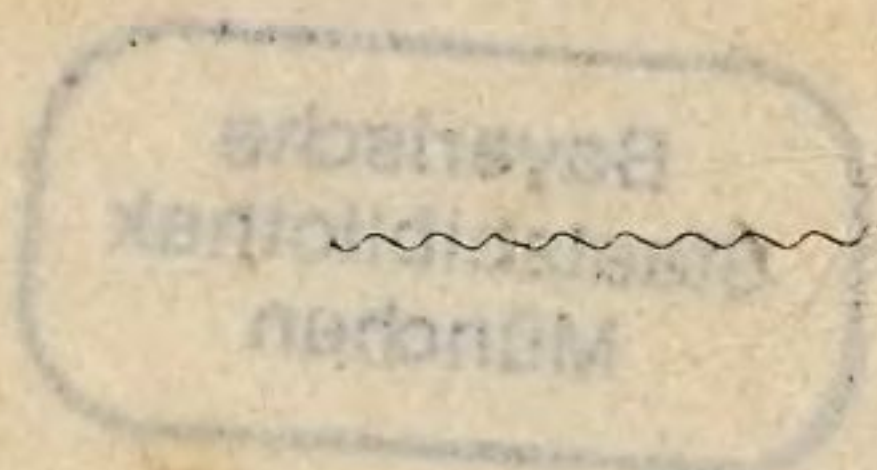
Bayer. Staatsbibliothek

САЛТЫЧУХА.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ

ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ СЪ ЭПИЛОГОМЪ.

ИЗЪ УГОЛОВНЫХЪ ХРОНИКЪ XVIII-го ВѢКА.



СОЧИНЕНІЕ

И. К. Кондратьева.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ,

дополненное обзоромъ подлиннаго дѣла о поступкахъ Салтыковой и письмомъ современника
о ея гражданской казни.

МОСКВА.

Типографія И. Я. Полякова, Покровка, д. Азанчевской.
1896.

• P.O. russ. 151 C

Bayerische
Staatsbibliothek
München

H

Fg/90/50538

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Чертова сержантка.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

На лѣсной дорогѣ.

Лѣсъ былъ спокоенъ и угрюмъ — былъ таковъ именно, ка-
кимъ онъ бываетъ нерѣдко въ концѣ сентября, когда трава со-
всѣмъ уже поблекла, листь пожелтѣлъ и осыпался, оставивъ толь-
ко кое-гдѣ мотающіеся на сѣрыхъ прутьяхъ листики. Небо хму-
рилось и, казалось, всякую минуту готово было разразиться тѣми
безконечными, назойливыми слезами, которыя такъ свойственны
сѣверной осени.

Подобная угрюмость лѣса какъ нельзя болѣе соотвѣтствовала
и тѣмъ печальнымъ, унылымъ рѣчамъ, которыя слышались подъ
его оголенными вершинами.

Рѣчь вели два человѣка — молодая дѣвушка и молодой парень.

— Милый ты мой, милый! дорогой мой! вѣдь, уѣзжаешь ты...
печаловалась дѣвушка почти сквозь слезы, стоя прямо передъ
парнемъ со сложенными на груди руками и глядя на него въ
упоръ.

Парень прислонился спиной къ осиновому стволу и какъ будто
злился:

— Ужъ что тутъ!.. говорилъ онъ. Ъхать надо... и поѣдемъ...
А слезами да ахами тутъ не поможешь...

Дѣвушка помолчала.

— Сама знаю, что не поможешь: какая ужъ тутъ помога — сле-
зы, — сказала она нѣсколько спокойнѣе и отирая кулакомъ навер-
нувшіеся на глазахъ слезинки. А все-жъ — ужъ очень мнѣ не по
себѣ и нудно, какъ вспомню, что вотъ и осень, и зиму, а тамъ и
весной до Николы придется прожить безъ тебя, Сидорка. Право же.

— Экъ, я для тебя малина съ калиной, что ужъ безъ меня и прожить нельзя! напустилъ на себя притворное удалство парень, и хлопнулъ дѣвушку по плечу. Не грусти, Галя! все будетъ складно да ладно — дай срокъ! Экъ, бѣда какая — уѣду! Ну, уѣду — и приѣду. Не вѣкъ же я въ Москвѣ жить буду, не вѣкъ же я тамъ, съ Салтычихиными прихвостнями, валандаться буду. Къ лѣту опять сюда, въ Троицкое. И ужъ тогда во какъ заживемъ, Галя, отдай да мало! А она — нюни распускать! Брось ты все это!

Дѣвушка, повидимому, успокоилась, но голосъ ея все еще дрожалъ, когда она начала возражать.

— Брось ты все это! Хорошо тебѣ говорить, парню, таки слова. Тебѣ что — надѣлъ шапку на бекрень, и пошелъ себѣ на всѣ четыре стороны, куда, молъ, хочу, туда и ворочу: всюду просторъ, что вѣтру вольному. А нашей сестрѣ, дѣвченкѣ, совсѣмъ не таково.

— А каково-жъ?

— А таково-жъ! Ты себѣ пошелъ, людей увидалъ, ну — все и позабылъ, съ тебя, какъ съ гуся вода. Поди, и красавицъ на Москвѣ увидишь не мало. А увидишь — дѣло извѣстное, тебѣ не говорить стать, что изъ того будетъ, произойдетъ. А нашей сестрѣ слезы да горе, да ночи бессонныя. Ты завсегда меня на другую промѣнять можешь.

— Вотъ ужъ это ты врешь, Галинка! возразилъ совершенно искренно парень. Никогда я ни на кого тебя не промѣняю! Ей Богу же, не промѣняю!

Дѣвушка печально усмѣхнулась.

— Божись больше — проживемъ дольше! Ваша рѣчь, мужская, извѣстна: пока до дѣла, такъ языкъ-то весь въ мочалу истрепете. Вамъ онъ недорогъ.

— А и диво-жъ мнѣ, Галинка: откуда ты, въ лѣсу живучи, понабралась столько разуму! зашутилъ парень.

— Соколу лѣсъ не диво, Сидорка. Аль у васъ только, на барскомъ дворѣ, и ума понабраться можно?

— Ну, у насъ этого мало, ума-то у насъ не понаберешься. А вотъ на счетъ битья, да колотья, да кнутья — такъ этого у насъ достаточно, вволю! — проговорилъ парень, и вдругъ, какъ будто что-то вспомнивъ, нѣсколько тревожно оглянулся.

— Боязно и здѣсь, въ лѣсу-то, парень? спросила дѣвушка, оглянувшись въ свою очередь и сама.

— Вѣстимо: пуганая ворона и куста боится. А Салтычихинъ глазъ, кажись, все и изъ-подъ земли видитъ. Ты, вотъ, моли Бога-то, Галинка, что при барскомъ дворѣ не живешь. Жила бы — ой, ой, что увидала бы! Не проходитъ, дѣвка, того дня, чтобы кому нибудь здорово не досталось. Нашему-то брату, мужчинѣ, и такъ и сякъ. А ужъ бабамъ — бѣда просто, бьетъ чѣмъ ни по-подя: и скалкой, и валькомъ, и плетью. Онамедни дѣвку Агашку, прачку, въ сажалку по горло въ воду загнала. „Поласкайся, говоритъ, стерва, сама, коли поласкать бѣлья не умѣешь!“ Та еле жива потомъ изъ воды вылѣзла: теперь лежитъ, не встаетъ, да, поди, и совсѣмъ не встанетъ. Такая бѣдняга!

— Ишь, у васъ порядки какіе завелись!

— У насъ порядки этакіе издавна ведутся. Аль не знаешь, не вѣдомо тебѣ это!

— Не все, парень, вѣдомо.

Сидорка оглянулся и понизилъ, говоря далѣе, голосъ.

— Не обо всемъ и говорить-то можно. Ино и помолчать надо.

— Ужъ не потому-ль васъ тамъ, на барскомъ дворѣ, и дубасить Салтычиха, что вы всѣ много помалкиваете?

— Смѣла больно! На вострый сукъ и вострый топоръ. Ты поди, да поговори съ ней, тогда и посмѣивайся.

— Смѣяться нечего, а, я чай, на всяко дѣло свой судъ есть, Питеръ не загорами—можно и до Питера дойти, до царицы.

— Поколь шагать, дѣвка, будешь — всю спину изотрешь. А спина-отъ своя, не чужая, нѣтъ-нѣтъ—и пожалѣешь!

— Иструсился, вижу я, и ты, Сидорка, живучи на барскомъ-то дворѣ, замѣтила дѣвушка со своего рода милой презрительностью.

— Плетью обуха не перешибешь, говорятъ добрые люди... А все-жъ, Галинка: по комъ плетъ ходила, тому она долго памятна будетъ. А у меня, къ тому-жъ, и память хорошая. Все помню, коли спина чешется.

— Ужли-жъ, Сидорка, и тебѣ доставалось? спросила вдругъ Галина голосомъ любящей дѣвушки, глядя участливо на своего милаго парня.

Сидорка тряхнулъ кудрями.

— Дѣло бывалое. Салтычиха никому спуску не даетъ. Доставалось и мнѣ. Сказать надо правду.

— Доставалось? переспросила дѣвушка.

— Доставалось!

— Ахъ, милый ты мой, милый! проговорила съ нѣжностью дѣвушка, положивъ правую руку на плечо Сидорки. Такъ, и тебя терзала-мучила эта волчиха ненасытная.

— Ужъ какъ мучила-то—посмерть жизни не позабуду! Здорово встрепку задала! Лихо!

— За что-жъ это, скажи-ка?

— За баловство. Побаловалъ не въ разъ.

— Ну?

— Правду сказать: маленько бы и стоило, да ужъ не такъ. А то, вѣдь, цѣльный мѣсяцъ спины разогнуть не могъ: и сѣсть нельзя, да и лежать неспособно. Такъ, стоя, и спать.

— Бѣдный Сидорка!

— Вотъ истинный Богъ!

— За что-жъ?

— Говорю: за баловство. У ейной любимой собачки, — окалѣла ужъ, такая паршивая была, — я, вишь ты, шерсть маленечко поощипалъ. Привязалъ ее къ плетню — и ну щипать. Собаченка визжитъ, ребята хохочутъ. Чудно таково! Ну, и вышло...

Дѣвушка медленно сняла руку съ плеча парня.

— А вѣдь это нехорошо, Сидорка, кротко упрекнула она парня, щипать ни за что, ни про что собаченку. За что ты ее щипалъ? кусала она, что-ль?

— Нѣтъ. Да ужъ больно паршивая была.

— Нехорошо, повторила еще разъ дѣвушка.

— За то и отбарабанили.

Дѣвушка, молча, поглядѣла сперва на парня, потомъ куда-то въ пространство, а потомъ, подумавъ, замѣтила.

— Какіе же вы всѣ тамъ злые!

— Будешь золь! вдругъ какъ бы обидѣлся Сидорка, — будешь золь, когда съ утра до вечера только одно и видишь, что битье да битье. Такъ-то не мудрено и звѣремъ стать. Вонъ Акимка... какой паренекъ былъ—любо-дорого. Отъ васъ, изъ сторожки, пришелъ — на парня налюбоваться не могли, а теперь такимъ вол-

ченкомъ сталъ, хотъ бы опять въ лѣсѣ, да не къ вамъ, къ дѣду Никонору, а въ волчью сурчину. Палачъ палачемъ.

— Правда? удивилась дѣвушка.

— Вратъ не стану. Сама, поди, узнаешь. Какъ поступилъ въ кучера, такъ всѣхъ, какъ лошадей, и хлестать зачалъ. Вѣстимо, воля не своя... А все-жъ...

Сидорка махнулъ рукой: не стоитъ, молъ, объ этомъ и говорить—понятно.

— А вѣдь я съ нимъ росла, съ Акимомъ-то, начала рассказывать дѣвушка. Съ нимъ играла по лѣсу, бѣгала, землянику собирала, малину, орѣхи, грибы. Заберемся, бывало, въ чащу, аукаемся, смѣемся. Шустрый былъ мальчикъ, а добрый, да только глазъ у него былъ какой-то чудной. Станетъ, бывало, супротивъ меня—и глядитъ, не трогается, словно его вкопалъ кто въ землю. Чего, говорю, Акимъ, глядишь? А ничего, говоритъ, Галинка—глядѣть хочется, и уставится въ землю. Не любила я у него этого глаза. Что, и теперь они у него такіе? Я его давно не видала, Акима-то?

— Ну, каки у него тамъ глаза—не разглядѣлъ, а что на счетъ морды—очень ужъ разбойницкая морда. Морда самая недобродѣтельная.

— Какъ-же такъ—измѣнился человекъ: и никто не знаетъ отчего онъ измѣнился? недоумѣвала дѣвушка. А паренекъ былъ добрый. Я плакала, когда его увозили отъ насъ, изъ сторожки. Батюшка тожъ не мало печаловался о немъ. Вотъ, говорилъ, помощника отъ меня и отняли. На что мнѣ, говорилъ, дѣвка, — это я-то,—съ парнемъ все веселѣй, хотъ онъ мнѣ и не сынъ, пріемышъ, а все веселѣй. И точно, безъ него, по первоначалу, скучненько было. Потомъ ничего, пообошлись, живемъ кое-какъ съ батюшкой и посеводни. Только ты, вотъ, у меня и смутникъ одинъ есть, Сидорка.

— Чево мнѣ тебя мутить-то, Галина! мутить мнѣ тебя не рука, да и не таковской я парень, чтобы мнѣ зазнобку-дѣвочку мутить! проговорилъ Сидорка нѣсколько раздражительно, махнувъ рукой, и потомъ съ уныніемъ прибавилъ: въ омутъ-бы головой мнѣ теперь! Право слово, Галя, въ омутъ!

Галя вдругъ встрепенулась, какъ будто ее ужалило что.

— Ты что это? о чемъ? заговорила она бѣгло, и въ голосъ ея

заввучала нѣжная и въ тоже время рѣшительная нотка. Съ чего ты это, парень, взялъ, — въ омутъ головой? Аль намъ жизнь надоѣла? аль ужъ мы не люди и повеселиться во время не съумѣемъ? Эхъ, парень! махни на все рукой!

Галина хлопнула Сидорку по плечу, тряхнула головой. Въ этихъ движеніяхъ ея проглянуло сразу что-то цыганское, дикое. Она сразу какъ-будто вся измѣнилась, стала иною. Прежней, нѣсколько плаксивой, какъ казалось, дѣвушки, будто не бывало. Лицо ея запылало, глаза вспыхнули, весь корпусъ вздрогнулъ.

Пріунывшій было Сидорка, подѣ вліяніемъ ея оживленія, оживился и самъ.

— Цыганочка ты у меня, Галя! воскликнулъ онъ, улыбаясь во все лицо, удало и сладко, какъ человѣкъ въполнѣ сознающій въ данное время свою силу. Право, цыганочка!

— Цыганочка и есть! согласилась Галина. Чай, самъ знаешь, кто я такая.

— Какъ не знать! Всѣ знаютъ, что мать твоя цыганка была. Вишь, глазища-то у тебя какіе одутлые! Э, чортъ этакой! вдругъ вскрикнулъ задорно парень... И смѣло обхватилъ Галину одною рукою за станъ.

Дѣвушка не сопротивлялась, стояла на одномъ мѣстѣ, но мгновенно повернула голову въ сторону.

— Тише ты! постой! сказала она тревожно, къ чему-то прислушиваясь.

— Чево тамъ еще? Аль зазналась?... Впервой, что-ль?...

Сидорка безтолково захохоталъ.

— Тише ты, дурень! говорю, тише! остановила его Галина... И вдругъ, что было у нея силы, толкнула парня въ сторону, прошептавъ: бѣги, чортъ этакой! барыня ѣдетъ! Экъ, насъ на дорогу вынесло!... нашли мѣсто!...

Сидорка, испуганно, ничего не соображая, шарахнулъ въ лѣсную поросль.

Но было уже поздно.

Въ нѣсколькихъ саженьяхъ отъ того мѣста, гдѣ вели прощальную бесѣду влюбленные, показалась маленькая телѣжка въ одну сытую лошадку, съ кучеромъ.

Въ телѣжкѣ сидѣла женщина лѣтъ за тридцать, плотнаго сложенія, довольно еще красивая для своихъ лѣтъ. Она, какъ вы-

слѣживающая свою добычу орлица, держала голову нѣсколько въ полуоборотъ въ ту сторону, гдѣ стояла Галина и, сжавъ толстыя губы, прямо и холодно глядѣла на дѣвушку. Телѣжка безшумно, но быстро приближалась къ Галинѣ.

— Стой! грозно и хрипло крикнула барыня, когда телѣжка поровнялась съ дѣвушкой.

Телѣжка такъ-же безшумно, какъ и ѣхала, стала.

— Чья шлюха?... Никонорова? начала барыня, не спуская глазъ съ дѣвушки.

— Такъ точно-съ, Никонорова буду, отвѣчала дѣвушка тихо, но смѣло.

— Вишь, выросла какъ, дубина какая! Въ запрошломъ году щенокъ щенкомъ была. Годовъ сколько?

— Семнадцать.

— И, поди, семнадцать такихъ же, вотъ, молодцовъ, кой сейчасъ шмыгнулъ въ кусты?

Дѣвушка молчала, опустивъ глаза, и мяла правой рукой кусокъ какой-то тряпицы, изображавшей передникъ. Сердце ея билось. Она чуяла грозу.

Встрѣча съ барыней, съ Салтычихой, какъ ее прозвали крѣпостные, и при болѣе благопріятныхъ условіяхъ никогда не предвѣщала ничего хорошаго. Всѣ по возможности избѣгали съ нею встрѣчи, и нерѣдко просто прятались при ея появленіи. Салтычиха знала это, и всегда принимала мѣры, чтобы заставить всѣхъ и всякаго въ расплохъ. Она ѣздила тихо, ходила еще тише, переодѣвалась въ разныя одежды, и точно—достигала того, что являлась всюду, по пословицѣ, какъ снѣгъ на голову.

На этотъ разъ Салтычиха была еще къ тому же, почему-то не въ духѣ. Бѣда надъ головой дѣвушки висѣла неминуемая.

— Что-жъ молчишь-то? крикнула Салтычиха. Аль, языкъ отнялся? Отвѣчай! Съ милымъ, поди, голубкой ворковала, ласточкой щебетала, говорила не наговорила, да еще разокъ-другой сюда прибѣжать общалась! Кто онъ, прохвость-то твой? Говори! Сама не разглядѣла, такъ, думаю, дѣвочка, по добротѣ своей, все мнѣ объ немъ расскажетъ! Любопытна ужъ я очень, все знать-вѣдать хочу, красавица! Ну, кто?

— Не знаю... прохожій какой-то... дорогу спрашивалъ... пробормотала Галина, вся дрожа.

Салтычиха зло разсмѣялась.

— Ну, ты ему, красавица, дорогу и указала?

— Указала.

— То-то, онъ такъ рванулъ въ кусты! продолжала смѣяться Салтычиха. Поди, обрадовался, что дорогу-то нашелъ.

Она разсмѣялась еще злѣе, какъ-то тихо, съ хрипотой, и привстала на телѣжкѣ.

— Подь-ка сюда, ко мнѣ, красавица... да поближе.

Галина подошла.

— Такъ, не знаешь? спросила, съ какимъ-то уже шипѣніемъ въ голосѣ, Салтычиха.

— Не знаю... отвѣчала упорно дѣвушка.

— Акимка, дай-ко-ся мнѣ кнутъ! приказала барыня.

Акимка, тотъ самый Акимка, о которомъ только-что вели рѣчь Сидорка съ Галиной и который былъ пріемышемъ отца Галины и другомъ ея дѣтства,—медлительно, даже совсѣмъ-таки нехотя, подалъ Салтычихѣ свой кнутъ, и самъ отвернулся, и сталъ чего-то возиться надъ сидѣньемъ.

Между тѣмъ, кнутъ, взвившись тонкой змѣйкой, мелькнулъ разъ-другой въ воздухѣ. Казалось бы, послѣ этого, долженъ былъ раздаться крикъ, стонъ, мольба... Но... нѣтъ—этого не было: подъ хмурыми, оголенными вершинами лѣса не раздалось ни крика, ни стопа, ни мольбы...

Дѣвушка стояла на одномъ мѣстѣ, стояла, не шевелясь, тихо и покорно. Она даже не дрогнула ни однимъ членомъ своего тѣла. Стояла — и только...

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Ослушникъ.

Дружная семья рослыхъ, многолѣтнихъ сосенъ, словно бы для того только и разступилась, и пораздвинулась, чтобы дать мѣсто сторожкѣ полѣсовщика Никонора.

Сама по себѣ сторожка не представляла ничего привлекательнаго, заманчиваго: это былъ самый обыкновенный срубъ въ три окна, съ крылечкомъ, безъ всякихъ украшеній. Не было даже такъ всюду обыкновенныхъ въ русскихъ избахъ коньковъ надъ крышей, или какой-нибудь мазни на ставняхъ. Впрочемъ, и ставень-то въ сторожкѣ не было. Стояла себѣ сторожка одна-одинешенька, какъ сирота, и какъ сирота выглядѣла печально и подслѣповато.

Но эту сторожку любилъ полѣсовщикъ Никоноръ, и ни за что бы не рѣшился промѣнять ее не только на хорошую, красивую избу въ селѣ, но даже и на каменные палаты въ Москвѣ.

Вотъ онъ и самъ вышелъ изъ сторожки. На немъ суконный, смурый кафтанъ съ кушакомъ, на головѣ шапка-зимогорка, на ногахъ смазные сапоги, въ рукахъ старое ружье. Идетъ онъ походкой медленной, ровной, точно прислушивается ко всему, приглядывается: это привычка къ лѣсной жизни, привычка быть осторожнымъ. Ему хорошо извѣстно: въ лѣсу жить, по-волчьи выть. Никонору на видѣ лѣтъ за пятьдесятъ. Но онъ еще бодръ и здоровъ. Большая сѣдая борода окоймляла его довольно еще свѣжее лицо и покоилась на широкой груди, на которой, какъ говорится, хотъ рожь молоти. Вообще, Никоноръ былъ изъ тѣхъ, о которыхъ въ народѣ говорятъ: „это стараго лѣсу кочерга“.

Не взирая на свою наружную суровость, Никоноръ былъ добръ и незлобивъ чрезвычайно. Глядя на этого человѣка, никто бы не повѣрилъ, что онъ въ полномъ смыслѣ слова и мухи не обидитъ. Онъ и точно никогда никого не обижалъ: не обижалъ тогда, когда онъ былъ дворовымъ, не обижалъ и тогда, когда сдѣлался полѣсовщикомъ—настоящимъ человѣкомъ лѣса, угрюмымъ на видъ и даже съ ружьемъ въ рукахъ. Всѣ крестьяне сельца Троицкаго любили его за это, не заглядывали съ недоброй мыслью въ лѣсъ,

и поэтому онъ у него находился въ образцовомъ порядкѣ. Была довольна Никоноромъ даже сама грозная Салтычиха, которая, какъ говорится, и на солнцѣ искала черныхъ пятенъ. Ружье съ собой Никоноръ носилъ только для „прилику“, для страху: онъ изъ него почти никогда не стрѣлялъ.

Вышелъ Никоноръ изъ своей сторожки, поглядѣлъ на-право, на-лѣво—и громко, какъ-то странно, крикнулъ:

— Го! го! го-о!

„Го! го-о-о!“ пронеслось по лѣсу эхо и гдѣ-то затерялось, застыло въ отдаленіи.

Это былъ обычный у Никонора возгласъ, которымъ онъ призывалъ бродившую по лѣсу дочку. Обыкновенно, дочка откликалась: „ау, тятка!“ и шла домой въ сторожку.

На этотъ разъ она не откликалась.

„Экъ, ее запропастилась!“ подумалъ Никоноръ, и, постоявъ въ ожиданіи не откликнется ли она, снова крикнулъ. Снова откликнулось эхо. Но дочка не откликалась.

Никоноръ медленно пошелъ по дорогѣ, вовсе не заботясь о томъ, что въ сторожкѣ, кромѣ стараго кота, никого не осталось: тамъ человѣку, желающему воспользоваться чужимъ добромъ, нечего было брать. Никоноръ былъ бѣденъ и даже не прикупилъ ничего для дочки: у отца съ дочерью только то и было, что они носили на себѣ—роскошь ужъ совсѣмъ-таки необходимая. Терпкая, бобылья жизнь приходила какъ-то по вкусу и отцу и дочери.

На какомъ-то поворотѣ дороги, Никоноръ, совершенно неожиданно, встрѣтилъ телѣжку барыни, а вмѣстѣ съ тѣмъ и свою дочку, которая медленно шла за медленно двигавшимся экипажемъ Салтычихи.

При первомъ же взглядѣ на барыню и на свою дочку, Никоноръ догадался, что произошло что-то неладное. Салтычиха была красна, какъ свекла, дочка его, Галина, на оборотъ—была блѣдна и шла за телѣжкой той нервно-сдержанной походкой, неровной, безпокойной, которая особенно свойственна женщинамъ открытаго характера.

„Быть грозѣ“, подумалъ Никоноръ, и съ низкимъ поклономъ привѣтствовалъ барыню.

Та немедленно спросила:

— Все-ль у тебя въ порядкѣ, старый сычъ?

— Въ порядкѣ, матушка-барыня, въ порядкѣ, залепеталъ полѣсовщикъ. Все въ порядкѣ, по милости вашей, матушка-барыня.

— А не врешь, старая крыса?

Полѣсовщикъ растерялся. Онъ посмотрѣлъ сперва на барыню, потомъ на дочь, потомъ на кучера Акима, словно бы ища въ нихъ какой-либо опоры. Но всѣ какъ бы окаменѣли въ своемъ молчаніи, и онъ понялъ, что барыня хочетъ на чемъ-то его изловить, уличить его. Ему стало жутко.

— Матушка-барыня! простоналъ онъ, — казни, милуй, а я ни въ чемъ не повиненъ!

Онъ низко поклонился барынѣ, и въ то время, когда поднималъ голову, глаза его невольно встрѣтились съ глазами дочери: какой-то нехорошій, перебѣгающій огонекъ замѣтилъ онъ въ нихъ, и тутъ же рѣшилъ, что „все это изъ-за дочки“.

Одновременно и Салтычиха пристально, почти пронзительно, глядѣла на растерявшагося полѣсовщика.

— Аль, тебѣ не въ домекъ о чемъ рѣчь-то? прошипѣла она, все еще не отрывая глазъ отъ полѣсовщика.

— Матушка, не въ домекъ! почти вскрикнулъ полѣсовщикъ, въ самомъ дѣлѣ не „домекавшій“, чего хочетъ отъ него барыня, хотя и догадавшійся, что во всемъ „этомъ“ замѣшана дочь.

— Не въ домекъ? Вишь, какіе у меня мужики стали недогадливые! прохрипѣла она, и потомъ, почти успокоившись, приказала: „повороти-ка оглобли назадъ, води въ свою сторожку: авось, тамъ посмышленѣе станешь“.

Приостановившаяся было телѣжка снова тронулась впередъ.

Салтычиха, повидимому, успокоилась, и даже безъ свойственнаго ей всегдашняго озлобленія, расспрашивала Никонора кое-о-чемъ по хозяйственной части, касавшейся преимущественно лѣса: сколько заготовлено дровъ на зиму, много ли было ягодъ и грибовъ, и усердно ли то и другое собирали дѣвки, нѣтъ ли медвѣдей и т. под. Никоноръ, идя рядомъ съ телѣжкой, безъ шапки, удовлетворительно на все отвѣчалъ, но голосъ его дрожалъ, и онъ чувствовалъ, что сердце его сжимается болью и даже какъ будто подкашиваются ноги: Никоноръ, при всей своей видной, богатырской наружности, не могъ похвастать смѣлостью. Нѣсколько разъ, украдкой, онъ взглядывалъ на дочь, но та намѣренно не замѣчала его взглядовъ, и шла за телѣжкой съ выраже-

ніемъ на лицѣ невольнаго напряженія. Все это еще болѣе пугало Никонора.

Когда телѣжка остановилась у сторожки, Салтычиха, съ помощью Акима и Никонора, медленно вылезла изъ нея, и потребовала скамейку. Скамейка тотчасъ была принесена. Акимъ положилъ на скамейку подушку — и барыня сѣла, поставивъ ноги тоже на подушку, которую Акимъ, зная свое дѣло, расторопно подсунулъ ей подъ ноги.

Минуть пять Салтычиха сидѣла молча, медленно дыша и медленно оглядываясь вокругъ. Потомъ она остановила взглядъ на полѣсовщикѣ.

— Ну я въ тебѣ, Никоноръ, сказала она злорадно: въ гости... Аль, не радъ?

Никоноръ закланялся.

— Радъ, матушка-барыня! радъ!

— А радъ, такъ угощай. Гостя я у тебя рѣдкая.

— Матушка-барыня! только могъ воскликнуть Никоноръ.

— Ну, коль ты не хочешь — пусть угоститъ дочка: она на угощенья горазда. Ну, куропатица, угостишь? обратилась Салтычиха уже къ Галинѣ.

Галина, съ мертвенной блѣдностью на лицѣ, молчала, но въ глубинѣ глазъ ея сверкала какая-то искорка, которая не предвѣщала ничего хорошаго.

Салтычиха продолжала злорадствовать, видимо наслаждаясь смущеніемъ дѣвушки.

— Отвѣчай же: угостишь? Аль, скупа для барыни стала? И то: вѣдь я не добрый молодецъ — баба: для меня и покуситься можно. Экъ, я дура старая! и не догадалась о томъ ранѣе, не додумалась! Салтычиха на мгновенье смолкла, и вдругъ зарычала какимъ-то удушливымъ голосомъ, какъ будто на горлѣ ея пробовали крѣпость веревки:

— Такъ не скажешь, кто онъ-то, твой добрый молодецъ?

— Не скажу! отвѣтила гордо Галина, и вызывающе взглянула на Салтычиху.

Салтычиху будто ошарашилъ кто: она сидѣла на своей подушкѣ ни жива, ни мертва отъ злости. Такая смѣлость со стороны дѣвушки, по ея взглядамъ, превышала всякое вѣроятіе, это для нея было нѣчто невозможное, немыслимое, нѣчто такое, чего она не

могла даже никогда допустить. Взглянувъ на барыню, и Акимъ и Никоноръ перепугались до невѣроятности. Бѣдный полѣсовщикъ просто готовъ былъ провалиться сквозь землю. Онъ переводилъ свой блуждающій взоръ съ барыни на дочь, и ничего рѣшительно не понималъ, но чуюлъ, что надъ нимъ виситъ гроза неотразимая, и сердце его ныло и замирало ежеминутно.

У Салтычихи натура была чудовищная, и голосомъ своимъ она владѣла, какъ владѣетъ хорошая баба валькомъ. Совершенно тихо, даже какъ будто ласково, она, помолчавъ и отдышавшись, обратилась къ Никонору:

— Вишь, какая твоя паскуда неблагодарная: къ ней барыня честь честью, а она—носъ на полати: не хочу молъ васъ и знати! Ну, чтожъ! меня, бѣдную вдову, всякому обидѣть легко, на то я и вдова! дурачилась далѣе барыня. Вѣдь, такъ, Никоноръ?

— Матушка-барыня! помилуй! взмолился Никоноръ.

— Что ты, что ты, родной! да ты передо мной ни чуточки не виноватъ! Вотъ дочка—дѣло другое. Дочка меня обидѣла. Дочка передо мной виновата.

Галина вдругъ сдѣлала движеніе.

— А коль виновата я, такъ и бейте меня, такъ и казните меня! Вотъ я вся тутъ, какая есть, вся передъ вами стою! Бейте меня! казните меня!

Голосъ ея на послѣднемъ словѣ оборвался, и дышала она тяжело и порывисто, и озиралась кругомъ, какъ пойманный звѣрекъ.

— Чего такъ взметалась, красавица? Пообожди! на все свой чередъ! остановила ея порывъ Салтычиха. Вотъ теперь чередъ за Никоноромъ. Никоноръ! обратилась она къ полѣсовщику. А ну-ка, скажи, лысый бѣсъ: не знаешь ли того дѣбра молодца, кой къ твоей дочкѣ, къ твоей королевичнѣ писаной, по днямъ, а то, можетъ, и по ночамъ, ходитъ-бродитъ, сладки рѣчи заводитъ? Аль, не знаешь такого?

Никоноръ всплеснулъ руками.

— Дочка! вскрикнулъ онъ, обратясь къ Галинѣ, не то съ жалобой, не то съ упрекомъ, и опустилъ голову на грудь.

— Ахъ, старый песъ, чортъ тѣ на-воротъ! и онъ туда-жъ за дочкой, въ бпрюлечки играетъ, тожъ незнаюшку изъ себя ломаетъ! ехидно воскликнула Салтычиха. Ну, изъ тебя-то я, старая скотина, весь соръ повытрясу! Ну, говори: кого такого твоя пота-

скушка въ темномъ борочкѣ, на бугорочкѣ, частенько поджидаетъ, устали не знаетъ? Кого?

— Матушка-барыня! взмолился Никоноръ, убей на мѣстѣ—не знаю, не вѣдаю!

— Ой! правда-ль то, старина?

— Не знаю, не вѣдаю! могъ только повторить Никоноръ, и въ самомъ дѣлѣ ничего не знавшій о томъ, что его дочка завела себѣ яснаго сокола.

— Батька ничего не знаетъ, глухо проговорила Галина. Онъ о моемъ грѣхѣ не вѣдомъ.

— Ну, инъ, быть такъ: не знаетъ, не вѣдаетъ, какъ бы смягчилась нѣсколько Салтычиха. Мы дѣло повернемъ на иной толкъ. Какъ же такъ ты, лысый бѣсъ, не знаешь о томъ, что дѣлаетъ твоя дочка?

— Казни, милуй, матушка-барыня! повиненъ, во всемъ повиненъ! закланялся Никоноръ.

— И то дѣло: повинную голову и мечъ не сѣчетъ. Теперь я у тебя спрошу, старый хрѣнъ: ты отецъ?

— Отецъ, матушка, отецъ!

— А коль отецъ и заповѣдь Божью помнишь, то и спроси дочку: съ кѣмъ она сегодня, съ часокъ тому назадъ, на дорожкѣ въ лѣсу стояла, ясной голубочкой ворковала? Спроси-ка: съ кѣмъ?

Никоноръ нѣсколько пріободрился. Онъ зналъ, что дочь любитъ его, и совершенно былъ увѣренъ въ томъ, что на его вопросъ она отвѣтитъ искренно, не солжетъ.

— Съ кѣмъ, дочка, скажи? обратился старикъ къ дочери. Скажи, коли была?

— Была! точно, что была, батюшка! заговорила дѣвушка дрожащимъ, гортаннымъ голосомъ. А ужъ съ кѣмъ—не скажу и тебѣ. Въ другое время сказала бы, не утаила—я никогда ничего отъ тебя, отецъ, не тайла—а теперь—утаю, не скажу! Такъ и знай!

— Вотъ это дѣвка! воскликнула Салтычиха такимъ голосомъ, что у полѣсовщика морозъ по кожѣ пошелъ. Умѣетъ грѣшить, да умѣетъ и отвѣтъ держать! Ну, а ты, старина, обратилась она къ Никонору, умѣешь кнутъ въ рукахъ держать?

— Матушка! вскричалъ тотъ.

— Умѣешь?

— Помилуй!

— Акимъ! дай-ко ему кнутъ: пусть поучить дочку-то при мнѣ! Погляжу: какова будетъ отцовская наука? Можетъ, и лучше моей.

Акимъ завожился въ телѣжкѣ, что-то неохотно отыскивая. А старикъ, тѣмъ временемъ, бухнулся Салтычихѣ въ ноги, и взмолился:

— Ужъ повели лучше, матушка-барыня, поучить меня, стараго дурака! Стою я того!

— Поучу и тебя! А ты дочку-то сперва поучи!

— Матушка, не подѣ силу мнѣ это!

Салтычиха привстала.

— Не подѣ силу?!

— Не подѣ силу! Не подниму я руки на дочку на свою, на свою кровь! не подниму, матушка-барыня!

Нѣсколько мгновений Салтычиха молчала. Она была внѣ себя. Озлобленію ея не было предѣла.

— Акимъ! приказала она какимъ-то неестественнымъ, захлебывающимся голосомъ. Отдубась эту старую лисицу, чѣмъ поподя, да не жалѣй! Пусть одумается!

Салтычиха, медленно и тяжело дыша, сѣла опять на подушку, и ждала расправы, сжавъ отъ злости свои толстыя, мясистыя губы.

Акимъ медлилъ.

Вдругъ Галина тряхнула головой, точно на ея голову упала змѣя.

— Нѣтъ, барыня!... постой!... того не будетъ!... не будетъ! вскричала она порывисто, звучнымъ, гортаннымъ голосомъ, въ которомъ сказалась вся ея цыганская, дикая натура... вскричала—и, растопыривъ руки, смѣло и судорожно шагнула къ Салтычихѣ....

ГЛАВА ТРЕТЯ.

П о д ъ ш у м ъ н е п о г о д ы.

Встала и шагнула къ Галинѣ и сама Салтычиха...

Произошло то, что и должно было произойти: тигренокъ уступилъ мѣсто тигрицѣ. Бой, ежели бы онъ могъ произойти, былъ бы слишкомъ не равенъ. На сторонѣ Салтычихи было все: и власть, и личная физическая сила, и привычка повелѣвать, и жестокость. На сторонѣ дѣвушки — было одно желаніе спасти ни въ чемъ неповиннаго отца, защитивъ его своимъ тѣломъ, и еще — ненависть, которая собственно и породила въ ней отважность.

Дѣвушка отступила. Невыразимый страхъ овладѣлъ всѣмъ ея существомъ, когда глаза ея, влажные, сверкающіе ненавистью, встрѣтились съ сухими, покраснѣвшими до бѣлковъ, глазами Салтычихи. Бѣдная дѣвушка чужала, что, не отступи она — Салтычиха разтерзала бы ее, какъ котенка. И точно: это бы произошло. Салтычиха обладала цѣпкими, сильными руками, привычными ко всякаго рода расправамъ. Она бы, при такихъ условіяхъ, задушила и болѣе здороваго человѣка, чѣмъ была Галина.

Испугавшись своей отважности, дѣвушка закрыла лицо руками, а слезы такъ и брызнули у нея изъ глазъ. Она рыдала, и ждала, что побои тотчасъ же посыпятся на нее: она даже желала ихъ, какъ какого-то за что-то искупленія. Но — произошло нѣчто странное, никѣмъ неожиданное, почти ничѣмъ необъяснимое: Салтычиха, постоявъ съ минутой на одномъ мѣстѣ, медленно опустилась на подушку и такъ же медленно вздохнула — вздохнула, какъ человѣкъ только-что взобравшійся на высокую гору.

— Ну! произнесла она почти спокойно, обращаясь къ Никонору, лежавшему на землѣ ничкомъ, безъ движенія, — встань-ко ты, подымись! что валяешься, какъ падалъ на задворкахъ? Аль, душа въ пятки ушла? Коль ушла — вороти ее на старое мѣсто. На первый разъ прощаю тебѣ, старому сычу, твою провинность — ослушаніе. Только гляди, чтобъ больше этого не было: въ другой

разъ не пожалѣю твоей старой спины, какъ теперь—такъ-то отхлещу... Ну, вставай же, не бойся!

Никоноръ медленно поднялся съ земли.

— Милостивица! матушка! пролепеталъ онъ съ умиленіемъ, и чуть опять, кланаясь, не упалъ на землю.

— Да прощаю ужъ, кстати, и дочкѣ, продолжала Салтычиха. Пусть ее гуляетъ съ молодцомъ: коли мой, Троицкій, какъ ни-будь и замужъ выдамъ. Только она у тебя, старичина, никакъ хворающая: у ней не падучая ли? Отведико-ся ее въ сторожку, да уложи, пусть отлежится. А этакъ, ко Введенію, приводи ее ко мнѣ, на Москву: пусть къ дѣлу привыкнетъ. Довольно ей погуливать-то, да воронъ въ лѣсу пугать—пора и на людей поглядѣть, себя показать. А показать есть что: вишь, изъ себя какая складненькая да ровненькая,—словно березка по веснѣ, такъ вся и трепещется. Иди-ко-ся, голубонька, да поотлежись, обратилась Салтычиха уже къ Галинѣ. Да ужъ не взыщи, что пуганула тебя маленько. Нравная я: ни за что, ни про что дѣвку выбрала. Экая я несуразная! заключила Салтычиха, и закачала, будто о чемъ-то сожалѣя, головой.

Всю эту долгую, не то насмѣшливую, не то ласковую рѣчь Салтычихи, Галина слушала, какъ во снѣ. Ей и вѣрилось, и не вѣрилось тому, о чемъ только-что говорила барыня. Неужто она смиловалась? неужто она простила ее? Да можетъ ли это быть! Вѣдь, про барыню такіе нехорошіе слухи идутъ, столько страшнаго говорятъ про нее. А, можетъ, люди и врутъ: вѣдь, такъ часто люди говорятъ неправду, такъ часто взводятъ на челоуѣка то, о чемъ тому и во снѣ не снилось.

Между тѣмъ, Салтычиха сидѣла все съ тѣмъ же страннымъ спокойствіемъ, и, казалось, все болѣе и болѣе принимала участіе въ дѣвушкѣ, совершенно непонимавшей, какъ, собственно, глядѣть на барыню: какъ на врага, который, сознавая свою силу, только тѣшится смущеніемъ и боязнью своей жертвы, чтобы послѣ этого еще болѣе упиться наслажденіемъ мести, или же какъ на благодѣтельницу, которая только на минуту, передъ этимъ, уступивъ злымъ побужденіямъ своего сердца, въ свою очередь, увидѣла въ ней, въ дѣвушкѣ, врага и на этомъ основаніи и поступала съ ней, какъ съ врагомъ.

Дѣвушка подчинилась послѣднему чувству. Пылкая отъ при-

роды, но довѣрчивая, и при томъ совсѣмъ не знавшая ни жизни, ни людей, гдѣ такъ много искусственнаго, лицемѣрнаго, она вѣрила первой ласковой улыbkѣ, первому ласковому слову. Повѣрила она и ласковости Салтычихи, и, повѣривъ, само собою разумѣется, взволновалась чувствомъ благодарности, которое выразилось тѣмъ, что она, подобно отцу, бросилась барынѣ въ ноги, и воскликнула въ избыткѣ благодарности:

— Барыня!... голубушка наша!... не обезсудь, что сказала тебѣ слово неразумное! Прости!

Голосъ дѣвушки звучалъ такой искренностью, такой нѣжностью, что невольно привлекалъ къ себѣ и заставлялъ пожалѣть, полюбить эту добрую дѣвушку. Отъ нея вѣяло тою невинностью, которая свойственна только милому, капризному ребенку.

Бываютъ минуты, когда и самыя жестокія сердца, самыя злѣйшіе люди, чувствуютъ какую-то безмятежность, смягчаются, и прощаютъ другимъ то, чего бы они, при другихъ обстоятельствахъ, никогда бы не простили.

Такія минуты нашли на Салтычиху. Она вдругъ какъ бы переродилась: лицо ея, почти всегда дышавшее злымъ выраженіемъ, прояснилось широкой улыбкой, глаза сверкнули ласковостью. Она видимо, успокоилась.

Нѣсколько мгновеній, съ этой доброй улыбкой, съ этой ласковостью глазъ, она смотрѣла на лежавшую у ногъ ея дѣвушку.

Чуткимъ, дѣвичьимъ сердцемъ, Галина угадала, что барыня простила ей, что она ужъ больше не въ опалѣ, и, въ свою очередь, не успѣвшими еще осушиться отъ слезъ глазами, посмотрѣла на Салтычиху — посмотрѣла невинно и довѣрчиво, какъ смотритъ дочь на любимую свою мать.

И точно, въ данную минуту, Салтычиха и Галина, представляли своеобразную, оригинальную группу—группу матери, примиряющейся со своею дочерью. Это было такъ естественно, такъ просто, что, въ душевной своей простотѣ, заглядѣлись даже на нихъ,—по-своему, конечно, — и кучеръ Акимъ, и полѣсовщикъ Никоноръ. Поразила и ихъ доброта Салтычихи — доброта, которой они, можетъ быть, давно уже не видали у барыни.

Трудно сказать, чѣмъ бы все это кончилось, если бы по дорогѣ, ведущей къ сторожкѣ, не послышался вдругъ стукъ конскихъ

копытъ. Видимо, кто-то торопился прямо къ тому мѣсту, гдѣ происходила только-что описанная выше сцена.

Салтычиха прислушалась.

— Аль, ѣдутъ? спросила она, по обыкновенію поднявъ сторожливо свою голову.

— Ёдутъ, матушка-барыня, ёдутъ! поторопился отвѣтить Никоноръ.

— Кто бы? Узнай-ка-ся.

Никоноръ кинулся въ ту сторону, откуда слышался стукъ копытъ, откуда кто-то торопливо подѣзжалъ, и черезъ минуту скрылся за деревьями: мелькнулъ только его смурый кафтанъ.

Салтычиха, между тѣмъ, положила свою руку на плечо дѣвушки.

— Встанько-ся ты, чего валяешься? проговорила она, но уже не тѣмъ ласковымъ голосомъ, какъ прежде, но съ оттѣнкомъ нѣкоторой нетерпѣливости.

Дѣвушка медленно встала.

— Ахъ, барыня, барыня! тихо произнесла она, полная чувствомъ благодарности, все еще не спуская заслезившихся глазъ съ Салтычихи.

— Погоди радоваться-то, красавица! осадил ее сразу Салтычиха. Подлѣ огня обожжешься, подлѣ воды обмочишься. Нѣтъ ли возлѣ того и другого.

Галина молчала. Ей никакъ не хотѣлось отрѣшиться отъ того чувства, которое только-что внушила ей Салтычиха. Она все еще хотѣла видѣть въ ней добрую, справедливую барыню, все еще, вопреки слухамъ, которымъ сама она прежде вѣрила и знала, что они справедливы, — все еще хотѣлось ей увѣрить себя въ благодарности людей относительно барыни.

„Да, врутъ люди! — думала благодарная дѣвушка. Господами всегда недовольны — ужъ это дѣло извѣстное, ужъ это всякій знаетъ. Господа и справедливо накажутъ, а люди будутъ говорить, что господа ихъ мучаютъ, что господа ихъ тиранятъ“.

Такъ думала дѣвушка, позабывъ даже о томъ, что сама она, при свиданіи съ Сидоркой, называла барыню „волчихой ненасытной“. Благодарность, оказалось, брала верхъ надъ ненавистью. Люди, какъ говорится въ народѣ, съ „горячимъ сердцемъ“, всегда способны на подобные быстрые переходы отъ одного чувства къ другому — отъ чувства ненависти къ чувству любви. Женщинамъ это свойственно въ особенности.

Въ головѣ Салтычихи промелькнули мысли совсѣмъ въ другомъ родѣ. „Вся въ мать, чортова кукла, такая-жъ оглашенная!“ подумала она, и тотчасъ же задала себѣ вопросъ: „кто-бы такой могъ ѣхать сюда въ такую пору?“

Ей не нужно было долго ждать отвѣта.

На дорогѣ показался всадникъ, сопровождаемый полѣсовщикомъ.

Это былъ красивый молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати пяти, одѣтый въ сѣрую венгерку съ черными жгутами. Онъ молодецки сидѣлъ на сѣдлѣ и, подѣхавъ къ сторожкѣ, такъ же молодецки соскочилъ съ коня, и торопливо, съ наклоненіемъ впередъ всего корпуса, подошелъ къ Салтычихѣ.

— Доротъ! Доротъ! что вижу я? воскликнулъ онъ, ставъ передъ Салтычихой въ какую-то театральную позу, изображавшую, какъ ему, вѣроятно, казалось, позу удивленія.

— А что? спросила та просто.

— Ты еще спрашиваешь, Доротъ? спрашиваешь? продолжалъ, стоя все въ той же позѣ, пріѣзжіи — молодой инженеръ, по фамиліи Тютчевъ, который былъ очень близкимъ человѣкомъ въ домѣ Салтычихи.

— Отчего-жъ не спросить, батенька?

— Удивительно! воскликнулъ пріѣзжіи, растопыривая руки, что, вѣроятно, изображало еще большее удивленіе. Удивительно, и непостижимо! На дворѣ холодная осень, вокругъ лѣсъ, небо хмурится, готовъ пойти дождь, а ты сидишь, сидишь на открытомъ воздухѣ!.. на открытомъ воздухѣ!.. повторилъ онъ съ особеннымъ удареніемъ, и развелъ какъ-то особенно картинно руками.

— Э, батенька, Тютченька мой! я ко всему привычна! сказала Салтычиха. Чай, не нѣженка какая, не франмасонка! Про меня вся округа, вся Подоль, самъ знаешь, такову рѣчь ведетъ: „гдѣ чорту карачунъ, тамъ Салтычихѣ здорово“ — Такъ-то-ся, Тютченька мой!

— Фи, Доротъ, что за рѣчь!

— Простая, батенька, рѣчь! Чинится мнѣ не для чего и не для кого! Тутъ все свои галманы.

— Галманы?

Тютчевъ, поочередно, съ какой-то своеобразной выдержкой во всей фигурѣ, поглядѣлъ на всѣхъ присутствующихъ крѣпостныхъ, стоявшихъ, какъ и должно было быть, въ почтительной позѣ.

Отецъ и дочь вошли въ сторожку. Тамъ уже было темно, какъ ночью. Галина зажгла лучину, сѣла у свѣтца, и задумалась.

— Думать нечего, дочка! началъ Никоноръ съ какою-то несвойственною ему рѣшимостью, — надо дѣло дѣлать!

— Какое? почти машинально спросила Галина.

— Надо бѣжать.

— Кому?

— Тебѣ, дочка. Мать твоя бѣжала отъ бѣды, бѣги и ты.

Галина молчала, но лицо ея передергивалось какою-то странной судорогой, и видимо она на что-то рѣшалась.

— Нѣтъ, батюшка, я тебя не покину, не уйду отъ тебя! сказала она глухимъ голосомъ и рѣшительно.

— Стало быть, погибели ищешь, дочка?

— Зачѣмъ? Погибать мнѣ еще рано.

Сильный порывъ вѣтра пронесся въ это время на дворѣ — и лѣсъ застоналъ и загудѣлъ, какъ бушующее море. Дрожала даже отъ порывовъ вѣтра и самая сторожка.

— Слышь, батюшка, какъ непогодь бушуетъ? начала Галина какимъ-то невѣдомымъ доселѣ отцу голосомъ. Ну вотъ... бушуетъ она, батюшка, реветъ, стонетъ, гудитъ, что лѣшій какой, хочетъ все порвать, да изломать, анъ и не сможетъ. Лѣсъ стоитъ себѣ да стоитъ. Можетъ, и изломаетъ она пятокъ-другой сосенокъ да березокъ, а все-жъ остальной лѣсъ-то все будетъ стоять да стоять, и долго, можетъ, еще постоитъ да покрасуется на радость людскую. Такъ и въ жизни нашей. Не всѣ же падаютъ отъ горя да отъ бѣды: кой-кто и живехонекъ останется, да еще посмѣется надъ горемъ да надъ бѣдой. Авось, посмѣюсь надъ ними и я, батюшка. Волковъ боятся — въ лѣсъ не ходить. А мы, батюшка, въ лѣсу живемъ. Лѣсъ намъ не диво.

— Эхъ, дочка, дочка! закачалъ головой Никоноръ. Кабы твоими устами да медъ пить.

— Меду, пожалуй, батюшка, и не будетъ, удало, по цыгански, тряхнула головой Галина, — а что ужъ кашу заваримъ, такъ ужъ заваримъ кашу крутую! Вотъ увидишь, батюшка!

И Галина вдругъ повеселѣла. Начала утѣшать отца, начала смѣяться, топать ногами, запѣвать какія-то непонятныя пѣсни. Казалось, только одна радость да одно веселье и ютятся подъ этой убогой, нахмуренной кровлей...

Ахъ, великое дѣло, братцы, юность!...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

М а л и н о в ы й д о м и к ъ .

Великія событія, обыкновенно, чередуются съ маленькими, чаще всего, съ ничтожными, имя которымъ легионъ. На сколько первыя обращаютъ на себя вниманіе, на столько вторыя до того обыденны, что никому до нихъ нѣтъ никакого дѣла, кромѣ, разумѣется, того, кого онѣ близко касаются.

Тридцатаго ноября 1729 года девятнадцатилѣтній императоръ Петръ Второй, Алексѣевичъ, торжественно обручился вторично съ красавицей-княжной, Екатериной Алексѣевной Долгорукой, сестрой извѣстнаго фаворита своего, князя Ивана Долгорукова. Москва гудѣла колоколами. Во дворцѣ всѣ радовались и поздравляли обрученныхъ.

Радовался въ тотъ день и одинъ маленькій человѣкъ, довольный своими маленькими дѣлами.

Отставной сержантъ преображенскаго полка, Ивановъ, Николай Митрофановичъ, только-что повѣнчался съ любимой дѣвушкой, и искалъ для будущихъ своихъ радостей теплаго и удобнаго гнѣздышка. Онъ хотѣлъ купить для себя и для молодой своей супруги домикъ. Домикъ такой нашелся, и нашелся именно въ такомъ родѣ, какъ желалось и ему и его красавицѣ-женѣ.

Въ одномъ изъ тупичковъ Сивцева Вражка, давно уже обращалъ на себя вниманіе и сосѣдей и всѣхъ проходящихъ, своею миловидностью и красотою, домикъ въ два этажа, деревянный, на каменномъ фундаментѣ. Онъ весь былъ выкрашенъ въ яркую, малиноваго цвѣта, краску, и окруженъ былъ весь довольно обширнымъ садомъ, что весною и лѣтомъ, когда садъ цвѣлъ и зеленѣлъ, придавало домику какой-то странный и, вмѣстѣ съ тѣмъ, необыкновенно привлекательный видъ: такъ и хотѣлось зайти туда, посмотреть все, полюбоваться, повидать тѣхъ счастливыхъ людей, которые обитаютъ въ немъ.

Но счастливыхъ людей въ малиновомъ домикѣ не обитало до тѣхъ поръ, пока не пріобрѣлъ его отставной сержантъ Ивановъ.

Тамъ жилъ до сержанта какой-то старичекъ, лѣтъ восьмидесяти, угрюмый, нелюдимый, носившій на себѣ все платье темно-

малиноваго цвѣта. Такъ онъ и былъ извѣстенъ въ околоткѣ за темно-малиноваго старичка да еще за массона. Говорили, что въ его малиновый домикъ два раза въ годъ наѣзжали отовсюду какіе-то люди, на своихъ лошадяхъ, богатые, хорошо одѣтые, и проживали тамъ по нѣскольку дней. Въ это время, ворота въ домѣ запирались наглухо и отпирались только для крайнихъ надобностей, ставни закрывались, и выпускались на дворъ черезъ-чуръ ужъ здоровые псы, вопреки собачьей породѣ, мало лаявшіе, но зоркіе, смѣлые и злые. Въ это же время почти никто не любопытствовалъ знать, что происходитъ въ домикѣ, хотя любопытныхъ было не мало. Весь домикъ погружался въ какую-то мертвую тишину. Только однажды, ужъ Богъ вѣсть по какому поводу, глухой осенней ночью, выбѣжала, съ крикомъ, изъ домика женщина, и гдѣ-то мгновенно скрылась. Послѣ, одинъ изъ сосѣдей малиноваго домика, рассказывалъ, что онъ женщину ту хорошо видѣлъ, что она была молода и, должно быть, не изъ простыхъ и, кромѣ того, ему удалось даже подсмотрѣть, что въ домикѣ въ тотъ день, внутри, ярко горѣли восковые свѣчи и какіе-то люди, всѣ въ черномъ, въ какихъ-то высокихъ колпакахъ, носили вокругъ стѣнъ большой гробъ. Все это пугало сосѣдей, но, тѣмъ не менѣе, малиновый домикъ оставался привлекательнымъ. Наконецъ, въ одно сѣрое, сентябрьское утро, все сосѣдство малиноваго домика какъ-то сразу узнало, что „малиноваго старичка и массона“ не стало. Немедленно пріѣхали какіе-то молодые родственники, мужъ и жена, торжественно похоронили старичка, причемъ сосѣди замѣтили, что за гробомъ его шло не мало знатныхъ особъ. Новые владѣльцы малиноваго домика прожили въ немъ всего только два мѣсяца, какъ-то быстро, въ одно утро, выѣхали изъ него, и стало извѣстно, что малиновый домикъ продается.

Отставной, преображенскаго полка сержантъ, Ивановъ, весьма естественно, плѣнился такимъ привлекательнымъ домикомъ, и немедленно пріобрѣлъ его, тѣмъ болѣе, что владѣлецъ малиноваго домика продалъ его не только дешево, но даже какъ-то охотно и торопливо, точно онъ сбывалъ ненужную и надоѣвшую ему вещь. Сперва это нѣсколько удивило отставнаго сержанта, но потомъ онъ разсудилъ, что не только даровому, но и дешевому коню въ зубы не смотрятъ, и на этомъ основаніи не далъ своему удивленію простора.

Пріобрѣтеніе сержантомъ малиноваго домика совершилось какъ разъ тридцатаго ноября 1729 года. И вотъ почему Ивановъ, помимо радости, какую ему доставляло, какъ бывшему, хорошему, честному служакѣ императора Петра Перваго, обрученіе его внука, онъ, Ивановъ, радовался еще и своей собственной удачѣ.

Въ нѣсколько дней сержантъ сдѣлался полнымъ и окончательнымъ обладателемъ малиноваго домика, и немедленно перебрался въ него. Малиновый домикъ съ садикомъ, не взирая на снѣжный декабрь, какъ будто еще болѣе повеселѣлъ. Среди обрамленныхъ снѣжнымъ инеемъ деревьевъ, домикъ выглядѣлъ теперь еще болѣе уютнымъ, еще болѣе граціознымъ. Онъ казался пріютомъ какой-то феи-волшебницы зимы, которая, по какому-то странному капризу, избрала себѣ это мѣстопробываніе среди другихъ, такихъ сѣренскихъ, такихъ невзрачныхъ домиковъ.

Супруги своимъ гнѣздышкомъ не могли нарадоваться.

— Достойный всякаго вниманія домишко! говорилъ десятки разъ на дню отставной сержантъ, заглядывая во всѣ углы домика, все ощупывая, все примѣривая.

— Хорошо... ахъ, какъ хорошо! вторила ему молодая супруга, тоже дочь сержанта, сослуживца Николая Митрофановича, Ироида Яковлевна.

Супруги обмѣнивались ласковыми взглядами, и затѣмъ слѣдовало то, что обыкновенно бываетъ между молодыми супругами — поцѣлуй.

Кое-что, однакожъ, относительно домика, отставной сержантъ благоразумно утаивалъ отъ своей молодой супруги.

Обходя домикъ, заглядывая во всѣ его углы, онъ неожиданно натыкался на такія вещи, которыя могли изумить всякаго. То онъ на стѣнахъ находилъ какія-то странныя, ему непонятные, надписи. То видѣлъ тамъ и сямъ изображенія какихъ-то фигуръ и фантастическихъ птицъ, раскрашенныхъ яркими красками. То находилъ какія-то огромныя желѣзные кольца и костыли. Въ одномъ темномъ чуланѣ онъ наткнулся даже на крышку гроба, на которой были тоже какія-то изображенія черной краской.

Петровскій служака, отставной сержантъ, былъ не изъ робкихъ. Все это его нисколько не испугало, не заставило призадуматься. Рѣшивъ, что, должно быть, старый хозяинъ домика дурилъ отъ

нечего дѣлать, онъ самолично надписи и фигуры позамазалъ, желѣзные кольца и костыли позакидалъ, а крышку гроба сжегъ.

Такимъ образомъ, молодайка Николая Митрофановича и не узнала о тѣхъ таинственныхъ вещахъ, которыя ему попались на глаза и которыя, несомнѣнно, испугали бы молодую супругу.

Жизнь молодыхъ потекла своимъ чередомъ. Супруги были люди невзыскательные, и потому дни ихъ проходили ровно, спокойно, тихо. Одинъ день походилъ на другой, какъ походить одна капля воды на другую. Не было ни размолвокъ, ни ссоръ, хотя характеры ихъ были почти противоположны. Но эта противоположность, вѣроятно, и была причиной ихъ мирной, безропотной жизни.

Отставной сержантъ, смѣлый и неуступчивый на службѣ, молодецъ среди мужчинъ, въ домашней жизни, съ молодой женой, велъ себя необыкновенно сдержанно, даже, можно сказать, покорно. Все дѣлалось такъ, какъ угодно было Ироидѣ Яковлевнѣ, или Ирочкѣ, какъ называлъ ее ласкательно Николай Митрофановичъ. Она въ домѣ всѣмъ правила, всюду слѣдила, на все налагала свой гнетъ, или свою милость. Николай Митрофановичъ почти ни во что не вмѣшивался. Онъ только курилъ свою трубку-носогрѣйку, курилъ почти цѣлый день, такъ-какъ табакъ въ то время, благодаря указу Петра Второго о свободной его продажѣ всякимъ, быстро входилъ во всеобщее употребленіе и сдѣлался сразу весьма дешевъ.

Нѣсколько крутой и предприимчивый характеръ Ироиды Яковлевны обнаружился безъ всякихъ проволочекъ. Дочь сержанта, не взирая на свою молодость, и не думала скрывать отъ мужа, кто и что она. Она сразу заявила, что она „молодайка бой“ и спуску никому не дастъ.

— И не давай! согласился съ ней мужъ.

— И не дамъ! смѣялась Ирочка.

— И мнѣ то-жъ?

— Ну, ужъ тебѣ—куда не шло! Тебѣ кой-что, а то и все, простить можно. Ты на то и мужъ.

— Вотъ это жонка! восклицалъ сержантъ. Такъ... любишь?

— Тебя да не любить?! было отвѣтомъ сержанту.

Ироида Яковлевна и точно любила, и любила крѣпко, своего молодца-сержанта.

Время, между тѣмъ, шло—шло, какъ всегда оно идетъ: для

кого быстро, для кого медленно, для кого оно летѣло птицей, для кого ползло червякомъ. Для нашихъ молодыхъ оно летѣло птицей. Но насталъ день — и Ироида Яковлевна сдѣлалась матерью: она родила дочь.

Само собою разумѣется, что отецъ отъ радости, какъ говорится, потерялъ голову. Замѣчательно, что при подобныхъ явленіяхъ, почти всѣ отцы одинаковы: теряются, толкуются, совѣтуютъ и говорятъ Богъ знаетъ что, надоѣдаютъ съ вопросами.

Бойкая повитуха, безъ всякой церемоніи, устранила вмѣшательство въ подобное дѣло Николая Митрофановича, и даже совѣтовала ему удалиться со двора.

Николай Митрофановичъ послушался повитухи относительно не вмѣшательства, но со двора не ушелъ. Онъ тихонько помѣстился въ сосѣдней комнатѣ, сталъ ко всему тревожно прислушиваться, и сердце его дрогнуло небывалой доселѣ радостью, когда онъ услышалъ крикъ, крикъ смѣлый, дерзкій, крикъ, ничего не хотѣвшій соображать, крикъ, только-что явившагося на свѣтъ Божій человѣческаго существа.

Николай Митрофановичъ упалъ передъ образомъ на колѣни.

— Господи, благодарю Тя, благодарю! шепталъ онъ со слезами умиленія на глазахъ.

И никому невѣдомый отставной сержантъ чувствовалъ себя въ это время на такой высотѣ счастья, что и не желалъ бы и не просилъ бы у Господа другого счастья: съ него было довольно и этого. Все это счастье круто подступало къ его сердцу, и его сердце ныло неизъяснимой радостью, неизъяснимымъ наслажденіемъ. Ему и въ голову не приходило, что эта, только-что зажегшаяся жизнь человѣческаго существа, жизнь, еще колеблющаяся какъ огонекъ лампы, будетъ въ свое время жить, предъявлять свои права, будетъ имѣть свою радость, свое горе, и — какъ знать — не будетъ ли это звѣрь въ образѣ человѣческомъ...

Отставной сержантъ не имѣлъ времени да и не находилъ нужнымъ останавливаться надъ тайнами жизни человѣческой. Онъ смотрѣлъ на все просто и естественно, какъ и подобало ему смотрѣть, простому и недалекому. Но онъ по-своему, какъ человѣкъ, любилъ, и по-своему, какъ человѣкъ, искренно вѣровалъ. А любовь и вѣра — лучшіе спутники жизни человѣческой.

Къ вечеру надъ сержантомъ смиловались: ему позволили уви-

дать своего первенца. Но сержантъ, покуда увидалъ не человѣка, а какую-то твердую куколку, которая, однако-жъ, косила глазами, чмокала губами и все лицо ея, этой куколки, какъ-то уморительно морщилось.

Повитуха поднесла куколку къ самому носу сержанта.

— Аль, не хороша! Полюбуйся, батюшка! Твое отродье, военное. А въ солдаты не сдашь.

— И точно: кажись, косточка военная! отвѣчалъ сержантъ на шутку повитухи, и хотѣлъ куколку тронуть пальцемъ.

Но куколка въ это время, сморщась еще болѣе и еще уморительнѣе, чихнула ему прямо въ лицо.

— Здравія желаю, ваше благородіе! гаркнулъ вдругъ во все горло отставной сержантъ, и добродушно разсмѣялся.

Новое благородіе не поняло отцовскаго привѣтствія, и жалобно запищало.

— Кабыла преображенская! выбранилась весьма основательно повитуха, и тотчасъ же унесла пискуна, куда слѣдуетъ.

Пискуна вскорѣ окрестили, и, по желанію матери, назвали Дарьей.

Въ метрикѣ же мѣстный священникъ написалъ нѣсколько пространнѣе:

„Дарья, Николаева дочь, Иванова, — записалъ онъ, — рождена отъ сержанта въ отставкѣ, Николая, сына Митрофанова, Иванова, и отъ жены его, Ироиды, дочери Якова, Булычевцевой въ супружествѣ Ивановой тожъ.“

Такъ появилась на свѣтъ въ малиновомъ домикѣ, на Сивцевомъ Вражкѣ; будущая Дарья Николаева Салтыкова.

Ни для кого, кромѣ родителей, незамѣтное, обыденное, событіе это совершилось въ іюль мѣсяцъ 1730 года.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Первыя проявленія.

Какъ только въ малиновомъ домикѣ появилось новое существо, то, весьма естественно, появилось не мало и новыхъ хлопотъ.

Все въ домикѣ стало какъ-то еще оживленнѣе, еще суевѣе: чаще хлопались двери, чаще раздавались—то довольные, то недовольные голоса, и надо всѣмъ этимъ — одинъ голосъ, голосъ звонкій, назойливый, до надоѣдливости однообразный, но, тѣмъ не менѣе, самымъ виновникамъ его существованія весьма милый.

Мать кормила ребенка сама, но все-жъ, для дальнѣйшей помощи, была взята и нянюшка — краснощекая, круглая, молодая деревенская бабенка, изъ крѣпостныхъ, которая, покуда, занималась только стиркой пеленокъ и прочей хозяйственной мелочи.

Самъ преображенецъ ликовалъ необыкновенно. Вопреки своей прежней сдержанности предъ молодой жонкой, онъ сдѣлался теперь и болѣе развязнымъ и болѣе смѣлымъ. Голосъ его звучалъ ровно, какъ голосъ хозяина, чувствующаго свою силу. Роль отца онъ почему-то считалъ великой ролью, и соотвѣтственно этой роли поднималъ голову.

Ироидочка, молодая мать, смотрѣла на это сквозь пальцы, не давала молодцу-преображенцу чувствовать своей силы, и какъ-то углубилась въ самое себя. Она находилась въ томъ блаженномъ настроеніи, въ какомъ, обыкновенно, при такихъ условіяхъ, находятся почти всѣ молодыя матери: она тихо наслаждалась. Какъ мать, по цѣлымъ часамъ, она любовалась на свое крохотное дѣтище, и при этомъ не мало думъ тѣснилось въ ея молодой, материнской головѣ. О чемъ думаютъ, при такихъ условіяхъ, матери—дѣло тайное.

Совсѣмъ иначе любовался своей дочуркой отставной сержантъ; онъ высказывалъ думы свои открыто и ясно.

Онъ говорилъ:

„Подростетъ эта каналья, эта косточка военная, станетъ дѣвкой

на возрастъ, и выдамъ же я ее за военнаго, ни за кого другого—ни-ни! А и шельма же будетъ дѣвка—по глазамъ вижу“!

И точно, у шельмы глазенки были замѣчательные: крупные, синіе, на выкатѣ, и необыкновенно вдумчивые, хмурые. Глядѣла ими дѣвочка, и, казалось, что она присматривается ко всѣму окружающему, чутко прислушивается и даже очень хорошо понимаетъ о чемъ говорятъ. Мать иногда не могла выносить этого взгляда своего ребенка, и отворачивалась. Преображенецъ, отецъ, напротивъ, очень любилъ этотъ взглядъ въ своей дочуркѣ, самъ вперялъ на нее свои сѣрые, добрые глаза, и такимъ образомъ, иногда, ничего не сознающая малютка и отставной, бравый солдатъ, минуты по двѣ глядѣли другъ другу въ глаза и какъ бы соразмѣряли свои силы для какой-то предстоящей имъ борьбы.

— Ахъ, бестія! взглядъ-то, взглядъ-то какой! словно у волчицы! восхищался преображенецъ. Ироидочка! обращался онъ къ женѣ. А, вѣдь, это признакъ хорошій.

— Что-жъ хорошаго? спрашивала та.

— А никому, бестія этакая, выростеть, спуску не дастъ!

Ироидочка соглашалась съ мужемъ, что это хорошо, но при этомъ сомнѣвалась: не признакъ ли это какой нибудь дѣтской боли.

— Экъ, хватила! разубѣждалъ ее преображенецъ. Какая тутъ можетъ быть боль! Просто, дѣвчурка—анаеема, и все!

И стала расти анаеема, и стала развиваться все болѣе и болѣе. Когда дѣвчуркѣ минулъ годъ, то она выглядѣла почти двухлѣтнимъ ребенкомъ.

— Вона, какъ дѣвка-то растетъ! любовался ею преображенецъ.

Вмѣстѣ съ раннимъ развитіемъ, появились у ребенка и какія-то раннія наклонности довольно рѣзкаго свойства. Она, почти не по дѣтски и весьма больно, царапалась и кусалась. Болѣе всего это испытывала на себѣ нянька, деревенская бабенка, и, привычная ко всему, не придавала этому ни малѣйшаго значенія. Но мать, не взирая на свою любовь къ ребенку, оцарапанная ею однажды и больно и до крови, отхлестала дѣвочку прутикомъ, и была поражена тѣмъ, что дѣвочка, при этомъ, не издала ни малѣйшаго крика: она только ежилась и морщилась, какъ-то зло и загадочно вперивъ глазенки на мать. Ироида Яковлевна смутилась, бросила прутикъ, и сообщила немедленно о томъ мужу.

Подобное событіе преображенца нисколько не удивило. Онъ только расхохотался.

— Шкура барабанная! воскликнулъ онъ восхищенно, взявъ дѣвочку за руки. При этотъ преображенецъ неловко какъ-то прижалъ ей что-то и тутъ же убѣдился, что шкура барабанная не думаетъ давать спуску и ему, отцу ея и преображенскому сержанту: она такъ крѣпко вцѣпилась ему въ волосы, что въ освобожденіи мужа отъ ласкъ дочери, должна была принять участіе и сама мать.

Преображенецъ, однакожъ, хохоталъ во все горло, восклицая:

— Пусти, шельма! парикъ испортишь! парикъ-отъ большихъ денегъ стоитъ!

Но дѣвочка долго и упорно теребила его „дорогой парикъ“, не понимая, вѣроятно, что такое „дороговизна“, теребила молча, сосредоточенно, точно она дѣло дѣлала, или даже просто наказывала.

Мать задумывалась надъ тѣмъ, что видѣла: сердце ея смутно подсказывало, что это „не добро“.

— Отучать надо, замѣтила она какъ-то мужу.

— Отучай. Это дѣло бабье—не мужское, отвѣчалъ преображенецъ. Я въ бабьи дѣла не вмѣшиваюсь. А, впротчемъ, не нахожу ничего и опаснаго. Всѣ дѣти баловники — балуютъ. Побалуетъ, побалуетъ, и бросить. Да ты чего взѣлась такъ-то, матушка?

— Больно кусается

— Зубы растутъ, чешутся зубы — вотъ и кусается. Не собака же она, въ самомъ дѣлѣ!

— Собака не собака, а...

Ироида Яковлевна остановилась, не зная, какъ обозвать свою кусающуюся дочку.

— А... ну что—а? присталъ къ ней мужъ.

— Ужъ не знаю, какъ и обозвать ее, замаялась жена.

— Какъ обозвать! какъ обозвать! на что тебѣ обзывать дочку-то? У нее есть христіанское имя—христіанскимъ именемъ и обзывай. Зовутъ Дарьей. А коль хочешь помягче — называй Данькой. Доней, Донюшкой... Ну, сама тамъ знаешь какъ... дѣло бабье... извѣстное дѣло...

— Вѣстимо, знаю... да я такъ...

— А такъ — такъ зубъ-то по-пусту и не чеши! Они у тебя, поди, поострѣе Донькиныхъ будутъ. Да вотъ! какъ будто спохватился преображенецъ: ужъ не въ тебя ли она и зубастая такая? А? Право?

Преображенецъ весело расхохотался, радуясь своей находчивости въ такомъ семейномъ и довольно щекотливомъ вопросѣ.

Жена вспылила. Шутливость мужа раздражила ее.

— Вона! заговорила она. Зубастая?! А самъ-то ты кто? кто ты самъ-то? скажи-ка, нуко-сь?

— Сержантъ преображенскаго полку, русской службы солдатъ! отчеканилъ по военному преображенецъ.

— Не сержантъ, а чортъ! горячилась жена.

— Ну, и чортъ еще! шутилъ мужъ.

— А коли сержантъ и чортъ, то и дочь твоя... то и дочь твоя—чортова сержантка! выпалила вдругъ Ироида Яковлевна, и тутъ же, сразу, сама удивилась тому, что сказала, и не только удивилась, но даже смутилась и застыдилась своей неумѣстной вспышки, вслѣдствіе которой ея же любимая дочь ею же самою обозвана Богъ знаетъ чѣмъ.

Преображенецъ словно ожидалъ этого. Онъ разразился такимъ добродушнымъ, такимъ неудержимымъ хохотомъ, повторяя, захлебываясь: „чортова сержантка! чортова сержантка!“, что Ироида Яковлевна, вполнѣ сконфузившись, почла за лучшее удалиться, обозвавъ, однакожъ, и мужа-сержанта тоже чѣмъ-то вродѣ „чортовой кочерги“.

Съ этого дня названіе „чортовой сержантки“ такъ и осталось за маленькой Доней. Называлъ ее такъ отецъ. Называла сама мать. Скоро названіе это, благодаря, конечно, болтливой нянюшкѣ, перешло за ворота малиноваго домика, да такъ и пошло ходить изъ устъ въ уста, какъ, обыкновенно, ходитъ всякая сплетня, всякое кстати и бойко сказанное словцо, всякое прозвище. И не удивительно: такія прозвища часто бываютъ лучшей характеристикой человѣка. А русскій человѣкъ на такія характеристики мастеръ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Зуботыка.

Нѣсколько лѣтъ прошло для малиноваго домика почти незамѣтно.

Сержантъ измѣнился мало. Еще менѣе измѣнилась Ироида Яковлевна—она только пополнѣла нѣсколько, и потому выглядѣла сановитѣй, важеватѣй, что еще болѣе придавало ей женской прелести и чему не мало радовался отставной преображенецъ.

Измѣнилась только много „чортова сержантка“: изъ маленькаго, задорнаго существа, кусавшагося и царапавшагося, она превратилась въ красивенькую, полненькую дѣвченку, уже не требовавшую за собой ни малѣйшаго ухода. Къ великому удивленію родителей, „чортова сержантка“ въ десять лѣтъ совсѣмъ-таки не оправдывала даннаго ей въ раннемъ дѣтствѣ названія. Теперь это была сосредоточенная, даже угрюмая не по лѣтамъ дѣвочка, смотрѣвшая почти всегда изъ-подъ-лобья, нелюдимая и молчаливая, всегда искавшая уединенія. Въ ней осталась только старая злость, и злость эта въ ней была на столько велика, что родители частенько просто-на-просто боялись ей противорѣчить. „Чортова сержантка“ очень хорошо это знала, и пользовалась своимъ вліяніемъ вполнѣ. Все въ домѣ какъ-то незамѣтно подчинилось этой маленькой султаншѣ: всѣ ея слушались, всѣ внимали ей, всѣ за ней ухаживали, какъ за куколкой, и слово ея было закономъ для всего дома. Изъ нее вырабатывалась уже будущая суровая повелительница.

Нерѣдко отецъ и мать, втихомолку, вели рѣчь о своей дочкѣ, и о ея будущей судьбѣ.

— Какъ полагаешь, Ирочка, начиналъ преображенецъ: что выйдетъ изъ нашего дѣтища, изъ нашей дочки?

— Что выйдетъ? недоумѣвала Ироида Яковлевна: выйдетъ то, что Богу угодно.

— Это само по себѣ. Безъ Бога не до порога. А все-жъ чело-вѣку о человѣческомъ и думать подобаетъ.

Ироида Яковлевна женщина, въ сущности, недалекая, не на-

ходила, что отвѣчать, и предоставляла подумать о будущей судьбѣ дочери мужу.

— Вотъ ужъ ей десять лѣтъ, догадался однажды сержантъ, а мы ее еще ничему не выучили. Одишь только молитвы и знаетъ.

— Такъ учи, согласилась жена.

Была позвана „чортова сержантка“.

— Ну, ты! обратился къ ней отецъ, удалая голова: учиться хочешь?

„Чортова сержантка“, помолчавъ, спросила:

— А чему учить-то будешь?

— Ну, чему... извѣстное дѣло, чему... чему всѣхъ дворянъ учать, тому и тебя учить будутъ...

— Грамотѣ?

— А хотя бы и грамотѣ.

— А на что мнѣ грамота? возразила дочь. Я дѣвка. Дѣвкѣ грамота ненадобна.

— Но вѣдь ты сержантова дочка! старался урезонить неподатливую дочь отецъ.

— Велика птица—сержантъ! грубо возразила дочь.

— Ну, и чортъ съ тобой! махнулъ рукой отецъ. Не хочешь — не учись. Сама же послѣ пожалѣешь.

Дочь, однакожъ, подумавъ, согласилась, чтобы ее учили.

— Резонъ! похвалилъ ее за согласіе отецъ. Я завсегда былъ того резону, что ты дѣвченка преумная. А ужъ и учитель у меня, Дашутка — отдай да мало! Самъ, бестія, все въ ротъ кладетъ! и многознающъ, что царь Соломонъ!

Многознающій „Соломонъ“ появился въ малиновомъ домикѣ немедленно, и былъ показанъ своей будущей ученицѣ.

Ученица, увидавъ его, такъ и ахнула отъ изумленія.

— Такъ это онъ-то учить будетъ?

— Онъ самый, отвѣтилъ отецъ.

„Чортова сержантка“ фыркнула и плюнула на полъ.

И дѣйствительно, было отъ чего фыркнуть и плюнуть.

Явившійся учитель представлялъ изъ себя такую странную, почти безобразную, фигуру, что невольно напрашивался на плевокъ. Онъ былъ низенькаго роста, почти карликъ, толстъ и съ огромной курчавой головой, которая очень сильно суживалась къверху. Лицо у него было совсѣмъ рябое, грубое, а маленькіе, сѣ-

ренькіе глазки совсѣмъ ушли въ орбиты. Одѣтъ онъ былъ въ какой-то темный балахонъ, доходившій до пятъ, почему вся фигура его походила на движущійся снопъ.

Минуты двѣ „снопъ“ этотъ стоялъ молча передъ будущей своей ученицей, и потомъ тоже молча показалъ ей кулакъ.

Преображенецъ разразился хохотомъ.

— Что? каковъ? хохоталъ онъ.

— Чучело! воскликнула дѣвочка, и ткнула кулачкомъ „многознающаго Соломона“ въ плечо.

— Ты не дерись! отвѣтилъ „Соломонъ“, не то и самъ сдачи дамъ.

И онъ опять показалъ ученицѣ кулакъ.

Тутъ ужъ разразилась хохотомъ и ученица.

— А ну-ка, дай! а ну-ка, дай! хохотала она подъ носомъ „Соломона“. Погляжу, какъ ты дерешься! Тятка, прикажъ ему подражаться! я погляжу, какъ онъ дерется! Ну, ты, карла великая, подерись! подерись же!

И она начала тормошить „Соломона“, какъ будто какое-нибудь неодушевленное существо.

— Отстань! вдругъ вскрикнулъ „Соломонъ“, не то и взаправду зуботыкну.

— Ай, какой страшный зуботыка! вскрикнула дѣвочка, и, будто въ самомъ дѣлѣ испугавшись, выбѣжала изъ комнаты.

— Мало ты, солдатъ, вижу я, лозы имѣешь! тотчасъ же, по уходѣ дѣвочки, замѣтилъ сноповидный учитель.

— Для чего это? спросилъ преображенецъ, не переставая весело моргать глазами и, видимо, довольный тѣмъ, что приводомъ такого учителя съумѣлъ распотѣшить дочь.

— А для своей, для этой солдатки! отвѣчалъ учитель.

— Такъ ты, ученая голова, приготовь ее, лозу-то! шутилъ преображенецъ.

— Коль понадобится, спуску не дамъ! А то и ученье начинать—воду толочь.

— Ты, вотъ, ученая голова, потолки водицу-то, тогда и узнаешь, кому солоно достанется—тебѣ, или ей.

— Ужъ спуску не дамъ! твердилъ свое „ученая голова“.

Ученье началось безъ замедленія. Сноповидная фигурка учителя аккуратно, съ утра, начала появляться въ малиновомъ до-

микъ, и немедленно весь домикъ наполнялся такимъ шумомъ и гамомъ, что это замѣтили даже сосѣди.

Шумъ этотъ и гамъ производили всего только три человѣка: учитель, ученица и самъ преображенецъ. Учитель кричалъ и грозилъ ученицѣ. Ученица кричала и грозила учителю. Преображенецъ хохоталъ.

Иногда, въ общій гамъ вмѣшивалась и сама Ироида Яковлевна, и весьма благоразумно замѣчала мужу, что такое ученье до добра не доведетъ, что лучше бы бросить его, ученье это, а такого крикуна-учителя выгнать со двора въ три шеи. Но сама ученица возставала противъ этого. Видимо, такая своеобразная, бурная метода ученья нравилась ей, и она, вся раскраснѣвшаяся, со сверкающими глазами, веселая и довольная, замѣтно наслаждалась этой безтолочью, которой сама же она и была главной виновницей.

Нисколько не унывалъ, повидимому, и учитель, этотъ „многознающій Соломонъ“, „ученая голова“ и „зуботыка“, какъ прозвала его ученица. Онъ бодро шелъ къ своей цѣли, все терпѣлъ, и, казалось, твердо рѣшилъ побороть всѣ тѣ препятствія, которыя ставила ему сама же ученица. Рвеніе его въ этомъ отношеніи зашло такъ далеко, что онъ не замѣчалъ даже тѣхъ толчковъ, которыми усердно надѣляла его очень часто ученица.

Одинъ только разъ, „Соломонъ“, выведенный изъ терпѣнья подобными толчками, позволилъ себѣ поднести свой кулакъ къ самому носу „чортовой сержантки“.

— Такъ и тресну! пригрозилъ онъ ей.

На эту угрозу „чортова сержантка“ отвѣтила, по своимъ силамъ, довольно порядочной пощечиной.

— Вишь, какъ больно дерется! только и могъ произнести при такой аказіи „ученая голова“.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

В а с и л ь н о в ы й К а ф т а н ь.

Тотъ, кого преображенецъ назвалъ „умной головой“, а „чортова сержантка“ „зуботыкой“, какъ человѣкъ и христіанинъ, носилъ и христіанское имя. Его звали Іона Маркіанычъ, а прозвище его было—Гнѣдой. Какъ только „чортова сержантка“ узнала, какъ зовутъ ея учителя, то немедленно къ старой кличкѣ было прибавлено и слово „гнѣдой“. Такимъ образомъ, Іона Маркіанычъ уже носилъ кличку „гнѣдой зуботыка“. Эта кличка за нимъ утвердилась во всемъ малиновомъ домикѣ. Такъ и говорилось: „пришелъ гнѣдой зуботыка“, „гнѣдой зуботыка ушелъ“ и т. д.

Ученье, между тѣмъ, шло своимъ порядкомъ. Не взирая на всю безтолочь этого ученья, ученица все-таки уже кое-что знала, и вообще отличалась и хорошей памятью, и хорошей сообразительностью. Іона Маркіанычъ въ этомъ отношеніи на свою ученицу жаловаться не могъ. Но онъ могъ пожаловаться на кое-что другое. Вопреки всякому педагогическому смыслу, дѣло было поставлено такъ, что не учитель обижалъ ученицу, а напротивъ—ученица обижала учителя, и обижала довольно чувствительно. Не проходило того дня, чтобы бѣдный „зуботыка“ не уходилъ домой съ синяками на плечахъ, или на какомъ либо другомъ мѣстѣ. Ученица щипалась при всякомъ удобномъ случаѣ. Стоило только заглядѣться Іонѣ Маркіанычу, какъ ученица, съ быстротою кошки, съ какой-то непонятной злорадностью, искривлявшей вдругъ ея красивенькое личико и наводившее на все изъясненіе лица ея вдругъ что-то жесткое и далеко не дѣтское, кидалась на него, на своего учителя, и крѣпко впивалась пальцами въ намѣченное на его тѣлѣ мѣсто. При этомъ происходило нѣчто странное и необъяснимое. Такъ грозно заявившій себя „зуботыка“, медленно оборачивался, такъ же медленно почесывалъ больное мѣсто, и смотрѣлъ, долго смотрѣлъ, на „чортову сержантку“ съ тѣмъ выраженіемъ въ глазахъ, съ какимъ, обыкновенно, смотритъ угнетенная овца на собирающагося зарѣзать ее мясника. На глазахъ у „зуботыки“, при такихъ случаяхъ, нерѣдко появлялись и слезы.

И опять происходило нѣчто странное и непонятное. Слезы появлялись на глазахъ и у „чортовой сержантки“, и все личико ея принимало такое соболѣзнующее, такое печальное выраженіе, что Іона Маркіанычъ забывалъ о своей боли и видѣлъ только одну печаль своей ученицы. Печаль эта такъ трогала его, что онъ даже считалъ необходимымъ, по-своему, утѣшить ее.

Онъ, обыкновенно, говорилъ, нѣсколько хриплымъ, тихимъ, ласкающимъ голосомъ:

— Ну, ты... ты опять... да перестань ты... право-жъ, перестань... А коль щипаться охота—щипись...

Подобное непостижимое утѣшеніе производило, однакожъ, свое дѣйствіе: „чортова сержантка“ утирала свои слезки, немедленно веселѣла, смѣялась и прыгала возлѣ своего учителя, какъ рѣзвая козочка.

Оживлялся и самъ учитель. Рябое лицо его осѣнялось улыбкой, маленькіе, сѣренькіе глазки начинали сверкать изъ-подъ бровей и вся фигура его принимала какой-то праздничный видъ, вслѣдствіе чего не особенно замѣчалось и его физическое безобразіе. Словомъ, нашъ „гнѣдой зуботыка“ какъ будто нѣсколько перерождался, дѣлался нѣсколько интереснѣе.

Въ такія минуты и бесѣды учителя съ ученицей дѣлались и проще и дружественнѣе.

„Чортова сержантка“, обыкновенно, начинала первая:

— Отчего ты „гнѣдой? спрашивала она. Вѣдь ты не конь? не конь, вѣдь?

— Копытъ у меня нѣтъ, объяснялся „гнѣдой“, стало быть, я и не конь.

— Такъ отчего-жъ ты „гнѣдой“?

— Оттого и гнѣдой—прозвище такое.

— Стало, есть и бурые, и чалые, и саврасые? не отставала ученица.

— Можетъ, и есть... соглашался Гнѣдой.

Среди подобныхъ разговоровъ, „чортова сержантка“ успѣла узнать, кто таковъ былъ ея учитель, хотя это совсѣмъ-таки нисколько ее не интересовало.

Іона Маркіанычъ былъ сынъ сельскаго попа, учился въ семинаріи, нѣкоторое время діаконствовалъ въ одномъ селѣ подъ Москвой, но былъ, по желанію помѣщика, удаленъ за свою „небла-

гообразную фигуру“, и съ тѣхъ поръ принялся за педагогическую дѣятельность по домамъ небогатыхъ людей. Онъ былъ далеко не глупъ, достаточно знающъ въ своемъ дѣлѣ, но насмѣшки надъ его наружностью превратили его въ подобіе какого-то шута. Онъ освоился съ этой ролью, и даже, почти помимо воли, болѣе по привычкѣ, старался всюду поддерживать разъ начатое шутовство, тѣмъ болѣе, что это было и не безвыгодно. Шутовство защищало его отъ многого, и въ то время—время карловъ и шутовъ — шутовство было несравненно выгоднѣе многихъ службъ и обязанностей. Шутовски, по обыкновенію, вошелъ Іона Маркіанычъ и въ малиновый домикъ преображенца. Но тутъ шутовство его какъ-то сразу обрѣзалось, не нашло себѣ простора, чему онъ былъ и радъ. Шутовскіе крики его съ ученицей прекратились, и онъ сталъ передъ нею тихъ и терпѣливъ. Но страннѣе всего было то, что онъ какъ-то незамѣтно для него самого, началъ къ малиновому домику привязываться все болѣе и болѣе. Не побывать въ малиновомъ домикѣ хоть одинъ день казалось для него потерей. А между тѣмъ, по условію съ преображенцемъ, онъ обязанъ былъ приходить для „учобы“ въ недѣлю всего только четыре раза. Преображенецъ не желалъ утруждать дочь усиленнымъ ученіемъ, и эти дни назначилъ для отдыха, изъ которыхъ суббота посвящалась преимущественно одной банѣ.

Подъ разными нехитрыми предлогами Іона Маркіанычъ заглядывалъ въ малиновый домикъ и въ эти дни.

Преображенецъ былъ очень радъ: всетаки было съ кѣмъ перекинуться однимъ-другимъ словечкомъ. Они больше говорили о старинѣ, вспоминали отца-Петра, такъ-какъ оба они очень хорошо знали великаго императора. Преображенецъ былъ отъ Петра въ восхищеніи. Все, что было создано Петромъ, онъ находилъ превосходнымъ и великимъ. Іона Маркіанычъ не совсѣмъ съ нимъ соглашался: онъ недолгоблivelyлъ Петра за нѣкоторыя стѣсненія относительно духовенства, и даже иногда порицалъ. Слѣдствіемъ такихъ недоразумѣній, были небольшіе споры между преображенцемъ и „ученой головой“, оканчивавшіеся всегда весьма миролюбиво. Пріятели выпивали по нѣскольку чарокъ анисовки, которую, какъ извѣстно, предпочиталъ передъ другими напитками и Великій Императоръ, и рѣчь у нихъ принимала совсѣмъ иной оборотъ: тутъ ужъ болѣе начиналъ говорить Іона.

Маркіанычъ, и чтобы не говорилъ—всегда рѣчь оканчивалъ похвалой, всецѣло относившейся къ „чертовой сержанткѣ“. Похвалы его маленькой преображенкѣ были неистощимы, и до того они были восторженны, что удивляли самого преображенца.

— Да чорты! кого ты хвалишь? восклицалъ иногда преображенецъ.

— Дочку твою хвалю, твою сержантку! объяснялъ Іона Маркіанычъ.

— За что, скажи-ка, братъ?

— За умъ. У дочки твоей великій умъ.

— Экъ, хватилъ! смѣялся преображенецъ, и при этомъ ему было весьма пріятно, что Іона хвалитъ его родное дѣтище. Но онъ старался скрыть это, и требовалъ разъясненія: почему? ты скажи, ученая голова, почему у моей „чертовой сержантки“ отыскался умъ?

— Это ужъ отъ Бога, серьезно пояснялъ Іона Маркіанычъ. Все идетъ отъ Бога.

— Безъ тебя сіе знаемъ, ученая голова. А ты скажи: отчего у меня, у простого сержанта Преображенскаго полку, родилась такая умная дочь?

„Ученая голова“ подобнымъ вопросомъ нѣсколько озадачивался, но всетаки старался кое-какъ объяснить.

— Родилась! Гмъ! Почему же и не родиться, удалая ты голова? говорилъ онъ. Инде и въ бесплодной пустынѣ вырастаетъ колось пшеничный. Инде и бесплодная смоковница даетъ единый плодъ зрѣлый.

Вступивъ на почву аллегорическихъ объясненій, Іона Маркіанычъ въ этомъ отношеніи заходилъ весьма далеко, и городилъ иногда нѣчто такое, чего уже преображенецъ не понималъ и слушалъ, вытаращивъ отъ удивленія глаза.

Вообще, Іона Маркіанычъ былъ порядочный мастеръ городить чушь, и среди этой чуши, онъ позволялъ себѣ иногда какъ бы кое-что предрекать, предсказывать.

Эту черту выработало въ немъ постоянное шутовство, и черта эта частенько-таки сослуживала ему хорошую службу. Среди недалекихъ людей, вѣровавшихъ во всякую крупную и мелкую чертовщину, во всякія гаданья и нашептыванья, онъ пользовался довольно изрядной репутаціей, „гадателя“. Эта отрасль его знанія

была для него несравненно доходнѣе педагогической дѣятельности, и онъ всюду зашибалъ ею изрядную копѣечку. Въ качествѣ про-рицателя, у него на дому имѣлись и кое-какія принадлежности подобнаго званія. У него было не мало травъ, камней, порошковъ и прочей дребедени. У него даже имѣлся „рогъ единорога“, считавшійся въ то время таинственнымъ и симпатичнымъ средствомъ отъ многихъ болѣзней и недуговъ и между прочимъ отъ безплодія. „Рогомъ“ этимъ Іона Маркіанычъ весьма дорожилъ и хранилъ его, что называется, за тридцатью замками, ибо „рогъ“ этотъ былъ для него и „рогомъ изобилія“. Благодаря этому „рогу“, Іона Маркіанычъ имѣлъ свой довольно порядочный домишко въ Кудринѣ, жилъ со старушкой-стряпухой довольно обезпеченно, и во всякомъ случаѣ имѣлъ деньжонокъ не менѣе преображенца.

Жизнь его, такимъ образомъ, текла ровно, спокойно, и ему не доставало только одного—не доставало ему хозяйки въ дому.

„Эхъ, кабы хозяйка, думалъ нерѣдко Іона Маркіанычъ, — все бы пошло еще лучше! Бросилъ бы тогда и дѣтишекъ учить и дураковъ лечить. Засѣлъ бы у себя въ домишкѣ, залегъ бы на печи, да и ѣлъ бы съ хозяйкой пироги съ морковью, али съ кашей“.

Въ свое время, однакожъ, у Іоны Маркіаныча была и хозяйка, но это было такъ давно, что время то представляется Іонѣ Маркіанычу, какъ во снѣ. Хозяйка его прожила тогда съ нимъ не болѣе года: больная, хилая, она сошла въ могилу, не оставивъ даже своему вдовцу-супругу о себѣ никакихъ свѣтлыхъ воспоминаній.

Въ настоящее время Іонѣ Маркіанычу лѣтъ уже около пятидесяти, а женатъ онъ былъ лѣтъ тридцать тому назадъ, и во весь этотъ долгій, тридцатилѣтній, періодъ времени, онъ уже не могъ найти себѣ хозяйки: физическое уродство отталкивало отъ него всѣхъ женщинъ, и бѣдный уродъ примирился съ этимъ, не покушался уже отыскивать хозяйку, и только позволялъ себѣ помечтать по этому поводу, и то изрѣдка, и то въ минуты „грусти безнадежной“, когда одиночество ужъ особенно, какъ говорится, допекало его, бѣднаго урода.

Въ послѣднее время онъ только и „отводилъ душу“ въ малиновомъ домикѣ, — и малиновый домикъ сдѣлался для него чѣмъ-то совершенно необходимымъ. Не существуя, казалось, малиноваго

домика, — ему бы и дѣваться было некуда со своимъ горькимъ одиночествомъ, ему бы и дѣлать было нечего.

Преображенецъ какъ бы понялъ эту, появившуюся у Іоны Маркіаныча, необходимость: принималъ его ласково, велъ съ нимъ бесѣды, подѣ часъ даже совѣтовался. Они сблизились, стали почти друзьями. Въ свою очередь, нерѣдко совѣтовался съ преображенцемъ по своимъ дѣлишкамъ и Іона Маркіанычъ, причемъ онъ отдавалъ должное и уму и опытности Николая Митрофановича.

При всемъ этомъ: можетъ быть, и случайно, можетъ быть, и намѣренно, Іона Маркіанычъ сталъ появляться въ малиновомъ домикѣ совсѣмъ въ иномъ видѣ. На немъ уже не было длиннаго, темнаго и безобразнаго балахона. Іона Маркіанычъ появлялся въ малиновый домикъ въ кафтанѣ темно-васильковаго цвѣта, который былъ ему въ пору и даже по-своему шелъ къ его фигурѣ. Волосы онъ держалъ въ порядкѣ, лицо и руки мылъ чисто, и вообще выглядывалъ много пріятнѣе и солиднѣе прежняго.

Само собою разумѣется, что первая замѣтила эту перемѣну въ „гнѣдомъ зуботыкѣ“ „чортова сержантка“.

Первое появленіе „зуботыки“ въ темно-васильковомъ кафтанѣ было для нее настоящимъ торжествомъ. Увидавъ его въ новомъ кафтанѣ, она побросала подѣ столъ книги и тетради, запрыгала, захлопала въ ладоши, и начала вертѣть „зуботыку“, восторженно повторяя:

— Ай, какой мудреный! ай, какой мудреный!

„Зуботыка“ конфузился, словно десятилѣтній мальчишка.

— Чего-жъ мудреный? Мудренаго ничего нѣтъ!

— Какъ нѣтъ? А кафтанъ?

— Кафтанъ, какъ кафтанъ. Всѣ такія носятъ кафтаны.

— Анъ, и не всѣ! Ты одинъ такой носишь! Кто-жъ носитъ кафтанъ васильковаго цвѣту? кто-жъ носитъ, скажи-ко-сь?

— Вотъ я ношу. Я надѣлъ.

— Скинь!

— Ну, и скину! согласился „зуботыка“.

— А надѣнешь что?

— Балахонъ опять надѣну.

— Ай, балахона не надо! не надо балахона! смѣялась „чортова сержантка“. Ты въ кафтанѣ лучше!

— Ну, буду носить кафтанъ, коль въ кафтанѣ лучше!

Тутъ же дѣвочка замѣтила, что у „зуботыки“ и сапоги хорошіе, и порты изъ какой-то „добротной“ матеріи, и платокъ на шеѣ новый, а лицо вымыто чисто, и курчавые волосы какъ-то хорошо приглажены. Руки тоже чисты и ногти подстрижены.

— Ты теперь совсѣмъ не „гнѣдой!“ продолжала шутить дѣвочка. Ты теперь „василекъ!“ Василекъ? Ай, какъ это хорошо Я васильки люблю! Они такіе хорошенькіе во ржи! Я видѣла, когда ѣздила съ батюшкой къ Троицѣ. Мнѣ еще дѣвочка одна, маленькая такая, худенькая, вѣнокъ изъ васильковъ сдѣлала! Тогда я еще не училась у тебя... А ты... гдѣ ты былъ тогда?

— Когда? спросилъ совершенно глупо „новый василекъ?“ Дѣвочка разсмѣялась.

— А тогда, когда росли на малинѣ желуда?

„Василекъ“ совершенно растерялся. Онъ мялся на одномъ мѣстѣ, одергивалъ свой васильковый кафтанъ и пялилъ глазами по угламъ.

Вдругъ дѣвочка притихла и скорчила какую-то печальную гримаску.

— Я обидѣла тебя, „василечекъ“ мой? произнесла она такимъ удивительно грустнымъ голосомъ, что сердце у Іоны Маркіяныча дрогнуло какимъ-то невѣдомымъ ему доселѣ чувствомъ.

Онъ бормоталъ:

— Что-жъ за обида? какая обида?

— Такъ ты не сердишься? какъ бы обрадовалась дѣвочка.

— Да за что-жъ!

— Да вотъ за то-жъ, что я смѣюсь надъ тобой.

— Экъ, обиду нашла!

— Такъ вотъ же тебѣ за это! произнесла шопотомъ дѣвочка, и торопливо чмокнула „зуботыку“ въ лобъ, а затѣмъ, съ особенной силой, ущипнула его за плечо, и сама куда-то скрылась.

Весь тотъ день васильковый кафтанъ Іоны Маркіяныча служилъ неистощимой темой для разговора. Преображенецъ нашелъ кафтанъ „израднехонькимъ“. Ироида Яковлевна похвалила цвѣтъ и покрой. Нянька только воскликнула: „Ахъ, какой ты!“ и, смѣясь, убѣжала въ кухню. Но самъ обладатель васильковаго кафтана, казалось, былъ чѣмъ-то разстроенъ. Онъ говорилъ иногда кое-что не впопадъ, часто оглядывался, или задумывался, и глаза его

частенько блуждали какъ-то безтолково то по угламъ, то по толку. Преображенецъ, наконецъ, замѣтилъ это.

— Ты, ученая голова! что съ тобой такое? спросилъ онъ съ участіемъ. Аль охмѣлѣлъ, что новый кафтанъ надѣлъ?

— Не по себѣ чтой-то.

— Домой иди, поотдохни. А то — выпей-ка вотъ чарочку анисовой, авось полегчаетъ.

Послѣ анисовой, Іону Маркіаныча „разморило“ еще болѣе. Онъ собрался уходить домой, и когда уходилъ, передъ нимъ мелькнула русая головка „чортовой сержантки“, и, какъ ему показалось, она провожала его глазами съ какимъ-то особеннымъ сожалѣніемъ.

Онъ домой возвратился въ какомъ-то жгучемъ угарѣ. Всю ночь, потомъ, ему не спалось, и наконецъ, уткнувшись лицомъ въ подушку, онъ тихо плакалъ, а когда заснулъ, то метался, какъ больной. Станные и непостижимые сны снились одинокому, всѣми презираемому и никому ненужному уроду, и среди всѣхъ этихъ сновъ — онъ почему-то признавалъ, даже хотѣлъ себя увѣрить въ томъ, что уродливое тѣло имѣетъ и уродливые помыслы.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Видѣніе Императрицы Анны.

Для Іоны Маркіаныча настало какое-то странное время.

Изъ часу въ часъ, изо дня въ день, онъ бродилъ, какъ угорѣлый. То на него находили минуты какого-то блаженного состоянія, когда все вокругъ казалось ему и добрымъ, и свѣтлымъ: и солнце свѣтило ярче, и вся природа словно улыбалась ему. То вдругъ сердце его ожесточалось. Въ эти минуты бѣдный уродъ: то горько плакалъ, то проклиналъ все, что видѣлъ передъ своими глазами, и черная злоба ко всему на свѣтѣ закипала въ его сердцѣ. Иногда онъ казался совершенно помѣшаннымъ, и на него было отвратительно смотрѣть въ это время: уродливость его кидалась въ

CERCLE RUSSE
DE LA
VILLE DE MONTAUBAN

глаза еще больше, и еще больше онъ производилъ отталкивающее впечатлѣніе.

Всѣ въ малиновомъ домикѣ замѣтили эту рѣзкую перемену въ Іонѣ Маркіанычѣ, и при случаѣ сторонились его.

Не сторонилась одна „чортова сержантка“ и, Богъ вѣсть почему, стала къ нему какъ будто милостивѣе. Она часто называла его ласкательными именами: звала „гнѣдушкой“, „зуботычкой“, „миленькимъ василечкомъ“, и ея юные поцѣлуи все чаще и чаще обжигали лобъ Іоны Маркіаныча.

На такую сцену наткнулся какъ-то нечаянно преображенецъ. Сначала онъ не сообразилъ, что это значитъ, но потомъ задумался, и когда ушелъ Іона Маркіанычъ, онъ позвалъ дочку къ себѣ.

Взглянувъ на фигуру дочери, плотную, здоровую, не по годамъ развившуюся, онъ задумался еще болѣе, и что-то подозрительное зашевелилось у него въ мозгу. Передъ нимъ стояла не десятилѣтняя дѣвочка, а дѣвченка лѣтъ въ шестнадцать, румяная, со сверкающими смѣлостью, доходящей до злости, глазами. При этомъ, она и держалась совсѣмъ какъ-то не по дѣтски.

— Чего тебѣ, батька? спросила она у отца.

Преображенецъ отвѣчалъ не сразу.

— Чего? Гмъ! сказалъ онъ потомъ, и пристально сталъ глядѣть на дочь.

Дочь замѣтила это.

— Аль, давно не видалъ? произнесла она.

— Видать видалъ, дочка. Да вотъ дивуюсь на тебя: какая ты у меня рослая да покладистая. Ни дать-ни-взять, дѣвка на возрастѣ.

— Чай, дочь-то твоя: лучше меня знаешь, отчего я рослая да покладистая, отвѣчала безъ запинки дочь.

— Анъ, и не знаю.

— А не знаешь, такъ, стало, и знать ненадобно.

Преображенецъ нахмурилъ брови.

— Можно рѣчь-то и поскладнѣй вести! замѣтилъ онъ.

— На нескладицу нескладицей надобно и отвѣтъ держать, рѣзко возразила дочь.

Преображенецъ прикусилъ языкъ, чувствуя, что дочь права, и что ему не слѣдовало заводить съ нею той рѣчи, которую онъ

завелъ. Но онъ хочетъ показаться передъ ней строгимъ отцомъ, и говоритъ:

— А вотъ я уже приготовлю лозу, коя кому-нибудь по хорошему мѣсту придется.

— И приготовь. Лозою, чу, баять, въ могилу не вгоняють. Можетъ, кому лоза и на пользу.

— Тебѣ она на пользу, дочка!

— А на пользу—и пользуй. Чай, служучи-то, къ этому дѣлу попривыкъ, какъ слѣдуетъ.

Хмуро и грозно посмотрѣлъ преображенецъ на дочь-грубіянку, поморщился въ досадѣ на свое безсиліе передъ нею, и перемѣнилъ рѣчь:

— Гляжу я на тебя, дочка—умна ты больно. Поумнѣй ужъ стала насъ, стариковъ. Не пора-ль тебѣ „учобу-то“ покончить.

— Мудрены вы, старики, гляжу и я: лозой учиться заставляютъ, да лозой же заставляютъ и покончить ученье. Аль, всюду такъ заведено? аль, ужъ у васъ однихъ такіе порядки ведутся?

Сухощавое лицо преображенца смутно покраснѣло. Онъ злился, и готовъ былъ кинуться на дочь съ кулаками. Но благоразуміе удержало его недостойный порывъ. „Звѣренокъ!“ только подумалъ онъ.

Въ тотъ же день преображенецъ велъ съ женою долгую и тихую бесѣду по поводу выходокъ дочери. Ироида Яковлевна, при этомъ, откровенно созналась, что она просто-на-просто боится дочери. Того-же мнѣнія, но только ужъ о себѣ, былъ и преображенецъ, но женѣ о томъ не признался—стыдно было. Въ концѣ концовъ, родители „чортовой сержантки“ порѣшили не обращать на дочь вниманія и предоставить ее самой себя: пусть, молъ, дѣлаетъ, что хочетъ. Преображенецъ даже до того негодовалъ на дочь, что не приминулъ замѣтить:

— Чортъ съ ней! пусть хоть голову сломить—туда ей и дорога!

— Ай, чтой-ты, Николай! зачѣмъ такого желать родному дѣтищу! вступилась за дочь Ироида Яковлевна.

— Пожелаешь, жена! Ты бы поглядѣла, какимъ бѣсомъ она глядѣла на меня, когда я говорилъ съ ней, такъ сама бы ей всякаго рожна пожелала! Волкъ-волкомъ, дьяволенокъ этакой!

Дьяволенокъ и точно началъ, въ большинствѣ случаевъ, гля-

дѣтъ волкъ-волкомъ. Это было нѣчто до того дикое и злое, что, при одномъ появленіи, всѣмъ какъ-то дѣлалось неловко. Особенно чувствовали это отецъ и мать. За всѣмъ тѣмъ, въ иныя минуты, хотя довольно рѣдкія, дѣвченка, помимо своей физической красоты, поражала всѣхъ и какой-то своеобразной обаятельностью, полной и удалой прелести и безотчетной, чарующей привлекательности.

Только-что вышедшая изъ отрочества, она, весьма естественно, не понимала еще ничего изъ числа тѣхъ тайнъ, которыми, впоследствии природа такъ щедро награждаетъ „слабый полъ“, но тѣмъ не менѣе, помимо своей воли, дѣвочка уже проявляла ихъ, и, повидимому, онѣ, эти тайны, должны были развиваться въ ней до чудовищныхъ размѣровъ. Она ходила какъ-то особенно, въ развалку, но легко и скоро, какъ будто крадучись. Говорила нѣсколько медленно, улыбаясь краями хорошенькихъ губъ, и при этомъ красивые глаза ея тоже какъ будто что-то говорили, и тоже улыбались, подернутые своеобразнымъ блескомъ. Смѣхъ и хохотъ ея были загадочны, смѣлы, хотя не заразительны, но до того своеобразны, что, разъ услыхавъ этотъ смѣхъ, онъ уже болѣе не забывался. Вообще, въ юной „чортовой сержанткѣ“ соединилась какая-то смѣсь дикости, звѣрства даже, съ очарованіемъ первой, не совсѣмъ еще расцвѣтшей, молодости въ видѣ хорошенькаго существа. Она стала для всего малиноваго домика загадкой.

Болѣе всѣхъ, конечно, она была загадкой для Іоны Маркіяныча. Ему казалось, что и его ученица находится въ такомъ же чадѣ, какъ и онъ самъ.

Вскорѣ это подтвердилось, хотя въ такомъ невыразимомъ видѣ, что лучше было бы, чтобы ужъ ничего и не подтверждалось.

На дворѣ стоялъ октябрь первыхъ чиселъ 1740 года. Погода была прекрасная—ясная и теплая. Но это было только въ Москвѣ. Въ Петербургѣ было хмуро и дождливо, и при этомъ было какъ-то хмуро и при Дворѣ Императрицы Анны Іоанновны. Императрица чувствовала себя плохо, никуда не выѣзжала, и поэтому всѣ удовольствія Двора, на созиданіе которыхъ былъ такой мастеръ Биронъ, прекратились. Всему Петербургу было, само собою разумѣется, не по себѣ. Хотя Императрица и назначила своимъ преемникомъ внука, принца Ивана Антоновича, рожден-

наго 22-го августа того же года, но прозорливые дипломаты да и многие высокопоставленные особы столицы, чувствовали и признавали всю непрочность этого назначенія. Всѣмъ имъ хорошо было извѣстно, что власть перейдетъ въ руки Бирона, но являлось сознаніе и въ томъ, что Биронъ власть удержать не надолго, и что послѣ него правительницей имперіи, по ходу дѣлъ, должна сдѣлаться мать Ивана Антоновича, Анна Леопольдовна. Но ея имя было такъ непопулярно—не ждали добра и отъ ея правленія.

Въ это время, по Петербургу, а потомъ, разумѣется, и по Москвѣ, втихомолку, разнеслась странная, таинственная вѣсть о видѣніи Императрицы Анны, которое произошло во дворцѣ. Рѣчь шла о двойникѣ, явившемся Императрицѣ въ одну холодную октябрьскую ночь.

Іона Маркіанычъ, на правахъ всезнайки и шута, провѣдалъ объ этой таинственной исторіи какъ-то раньше другихъ, и тотчасъ же явился съ нею въ облюбованный имъ малиновый домикъ преображенца.

Мы не будемъ передавать этой таинственной исторіи устами Іоны Маркіаныча: мы передадимъ ее устами очевидца, со словъ котораго рассказъ объ ней, объ этой исторіи, перешелъ въ записки одной почтенной, всѣмъ въ свое время извѣстной, графини Б—ой.

„Товарищъ очевидца, со взводомъ солдатъ, былъ дежурнымъ въ караулѣ, позднимъ вечеромъ. Это было во дворцѣ, на Фонтанкѣ, у Аничкина моста. Караулъ стоялъ въ комнатѣ подлѣ тронной залы. Часовой находился у открытыхъ дверей. Императрица уже удалилась во внутренніе покои, и все стихло. Было уже за полночь. Дежурный офицеръ усѣлся, чтобы вздремнуть. Вдругъ часовой зоветъ на караулъ: солдаты вскочили на ноги, офицеръ вынулъ шпагу, чтобъ отдать честь. Онъ видитъ, что Императрица Анна Іоанновна ходитъ по тронной залѣ взадъ и впередъ, склоня задумчиво голову, закинувъ руки назадъ и не обращая ни на кого вниманія. Часовой стоитъ, какъ вкопанный, рука на прикладъ, а такъ же и весь взводъ стоитъ въ ожиданіи. Но выражается что-то необычайное въ лицѣ Императрицы, и эта странность ночной прогулки по тронной залѣ начинаетъ ихъ всѣхъ смущать. Офицеръ, видя, что она рѣшительно не собирается идти дальше залы, и не смѣя слишкомъ приблизиться къ дверямъ, рѣшается, наконецъ, пройти другимъ ходомъ въ де-

журную женскую, и спросить: не знаютъ ли тамъ намѣренія Императрицы. Тутъ дежурный встрѣчаетъ Бирона, и рапортуетъ ему, что случилось.

„Не можетъ быть! вскричалъ герцогъ. Я сейчасъ отъ Императрицы: она ушла въ спальню ложиться“.

„Взгляните сами—она въ тронной залѣ“, объясняетъ дежурный. Биронъ идетъ и тоже видитъ императрицу.

„Это какая нибудь интрига, обманъ какой нибудь, заговоръ, чтобы дѣйствовать на солдатъ!“ вскричалъ герцогъ, и кинулся къ Императрицѣ.

Онъ уговорилъ Императрицу выйти въ тронную залу чтобы въ глазахъ караула изобличить какую-то самозванку, какую-то женщину, пользующуюся нѣкоторымъ сходствомъ съ ней, чтобы морочить людей, вѣроятно, съ дурнымъ намѣреніемъ.

Императрица рѣшилась выйти, какъ была. За нею пошелъ и Биронъ. Императрица увидала женщину, поразительно похожую на нее, которая при этомъ ни мало не смутилась.

„Дерзкая!“ вскричалъ Биронъ, и вызвалъ весь караулъ.

Караулъ вышелъ—и, по словамъ очевидца, весь, своими глазами, увидѣлъ двѣ Анны Іоанновны, изъ которыхъ, настоящую, живую, можно было отличить отъ другой только по наряду и потому еще, что она вошла съ Бирономъ изъ другой двери.

Императрица, постоявъ минуту въ удивленіи, выступила впередъ, и пошла къ этой женщинѣ, говоря:

„Кто ты? Зачѣмъ пришла?“

Не отвѣчая ни слова, та стала пятиться, не сводя глазъ съ Императрицы, отступая въ направленіи къ трону, и, наконецъ, всетаки лицомъ къ Императрицѣ, стала подниматься, пятившись, на ступеньки подъ балдахинъ.

„Это дерзкая обманщица! Вотъ Императрица! Она приказываетъ вамъ—стрѣляйте въ эту женщину!“ вскричалъ Биронъ взводу.

Изумленный, растерявшійся офицеръ, скомандовалъ — солдаты прицѣлились. Женщина, стоявшая на ступеняхъ у самаго трона, обратила глаза еще разъ на Императрицу, и исчезла.

Анна Іоанновна повернулась къ Бирону, и сказала:

„Это моя смерть!“

Затѣмъ, она поклонилась остолбенѣвшимъ солдатамъ, и ушла къ себѣ“...

— А? что ты, удалой солдатъ, смекаешь при такой оказіи? спросилъ Іона Маркіанычъ, какъ только окончилъ рассказывать по-своему вышеприведенную таинственную исторію.

— Нѣтъ, ты что смекаешь, ученая голова? спросилъ, въ свою очередь, преображенецъ, и спросилъ такимъ тономъ, что Іона Маркіанычъ нѣсколько смутился, но мгновенно, оправившись, по-своему истолковалъ слышанное и самимъ имъ рассказанное.

— А смекаю то, толковалъ онъ, что тутъ дѣло неладно. Ужъ коли сама Императрица повѣдала, что это ея смерть, то, стало быть, смерть это и есть.

Преображенецъ вдругъ вскочилъ.

— Слово и дѣло! закричалъ онъ во все свое солдатское горло, и крѣпко схватилъ Іону Маркіаныча за воротъ его васильковаго кафтана.

Воротъ затрещалъ, а самъ владѣлецъ его, въ испугѣ, присѣлъ къ самому полу, и вслѣдъ затѣмъ раздался какой-то неестественный, глухой стонъ бѣднаго урода.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

„Слово и дѣло“.

Въ свое время слова „слово и дѣло“ были слова ужасныя. Почти все XVIII-е столѣтіе полно политическими, а частію и просто уголовными дѣлами, начатыми по возгласу: „слово и дѣло!“ Этими ужасными словами нерѣдко злоупотребляли, а нерѣдко пускали ихъ въ ходъ изъ-за такихъ пустяковъ, что больно доставалось и тому, кто „говорилъ за собою“ „слово и дѣло“. Большею частію злоупотребленія со „словомъ и дѣломъ“ совершались ради алчности: доноситель, говорившій за собою „слово и дѣло“, ежели доносъ его подтверждался, получалъ по тому времени довольно большую награду. Обыкновенно, смотря по важности дѣла, выдавалось отъ двадцати пяти до ста рублей.

„Слово и дѣло“ было созданіемъ Великаго Петра, и являлось,

при его крутыхъ преобразованіяхъ, крайней для него необходимостью. Почти во все свое царствованіе Онъ не могъ быть спокоенъ: тайная кромолла не дремала и старалась подточить въ зародышѣ то, что стоило Великому Императору и много трудовъ и много денегъ. Такимъ образомъ, насиліе порождало насиліе же. Да и въ нравахъ того вѣка это было дѣломъ весьма естественнымъ. Сама западная Европа представляла въ этомъ отношеніи нѣчто еще болѣе жестокое, такъ-что наша Преображенская тайная канцелярія, во главѣ знаменитымъ княземъ Ѳеодоромъ Юрьевичемъ Ромадановскимъ, могла еще показаться сравнительно съ казематами и подпольями инквизиторовъ чѣмъ-то болѣе человѣчнымъ и снисходительнымъ. Тамъ, въ западной Европѣ, пытки инквизиторовъ были доведены до такихъ тонкостей, до какихъ наши доморощенные Трубецкіе, Ушаковы и Писаревы никогда не додумывались, да и не старались додумываться: достаточно было „дыбы“, „ботоговъ“ и „кнута“.

При всемъ этомъ, необходимо замѣтить, что въ то суровое время лютыя пытки какъ бы порождали и людей, способныхъ переносить всякаго рода истязанія: появлялись натуры желѣзныя, —которыя сами, очертя голову, какъ бы напрашивались на рядъ всевозможныхъ мученій. Безъ всякаго повода, безъ особой нерѣдко причины и умысла, люди эти извергали хулу на все святое, буйно порицали и бранили владыкъ и тѣмъ самымъ дѣлались преступниками первой важности, для которыхъ, по тогдашнимъ суровымъ законамъ, не могло существовать пощады. Въ этомъ отношеніи особенно упорны и дерзки были первые раскольники.

Нѣкоторые сами лично являлись къ Великому Императору, и лично заявляли свой протестъ, отдавая себя на судъ и расправу.

Таковъ былъ Ларіонъ Докукинъ, изъ подъячихъ.

Этотъ человѣкъ, будучи уже лѣтъ шестидесяти, въ самое тяжелое для Петра время—время суда надъ приближенными царевича Алексѣя,—явился къ Императору, когда тотъ, 2-го марта 1718-го года, былъ въ церкви „на старомъ дворѣ“, и подаль ему какія-то бумаги. Петръ принялъ ихъ и развернулъ первую: это былъ печатный экземпляръ присяги царевичу Петру Петровичу и отреченіе отъ царевича Алексѣя Петровича. Подъ присягою, гдѣ слѣдовало быть подписи присягающаго, написано

было крючковатымъ, но четкимъ крупнымъ почеркомъ отреченіе, и въ заключеніе сказано: „Хотя за то и царскій гнѣвъ на мя произліяется, буди въ томъ воля Господа Бога моего Іисуса Христа, по волѣ Его святой за истину азъ рабъ Христовъ Иларіонъ Докукинъ страдати готовъ. Аминь, аминь, аминь“. Само собою разумѣется, началось слѣдствіе, которое привело Докукина къ казни. Во все время суда Докукинъ оставался при своемъ убѣжденіи и съ нимъ же умеръ на плахѣ.

Было не мало и другихъ примѣровъ въ этомъ же родѣ, которые потонули въ общемъ морѣ тогдашней уголовщины.

Небезынтересно замѣтить и то, что именно существовало, какъ извѣстный уголовный окрикъ, до „слова и дѣло“.

До Петра Великаго, а частію и при Петрѣ, всѣ уголовныя дѣла, „вершились“ сначала въ стрѣлецкомъ приказѣ, а затѣмъ на такъ называемомъ „Потѣшномъ дворѣ“, въ Кремлѣ. До 1697 года личная безопасность, охраненіе собственности отъ воровъ, порядокъ, тишина и общественное спокойствіе Москвы были ввѣрены попеченію и наблюденію стрѣльцовъ, а ночью берегли городъ „рѣшоточные“ сторожа и „воротники“, которые выбирались изъ посадскихъ, слободскихъ и дворовыхъ людей. Заговоръ Цыклера и Соковнина, полагавшихъ свои надежды на содѣйствіе стрѣльцовъ, побудилъ Петра въ этомъ, т. е. въ 1697 году окончательно уничтожить вліяніе стрѣльцовъ. Окончивъ дѣло заговорщиковъ казнями и ссылками, Петръ, отъѣзжая за границу, поручилъ Москву и наблюденіе за тишиной и безопасностію столицы князю Ѳедору Юрьевичу Ромадановскому, главному начальнику отборныхъ солдатскихъ полковъ: Преображенскаго и Семеновскаго. Такимъ образомъ, стрѣльцовъ замѣнили Преображенцы и Семеновцы, а полицейскіе судъ и расправа отъ Стрѣлецкаго приказа перешли ужъ преимущественно на „Потѣшный дворъ“ въ Кремлѣ, устроенный царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ. Здѣсь-то на этомъ „Потѣшномъ дворѣ“, знаменитый князь Ромадановскій началъ именемъ великаго государя чинить судъ и расправу, тутъ же онъ привыкъ къ будущей своей дѣятельности въ Преображенскомъ, и тутъ же имъ наказано было употреблять въ дракахъ и другихъ уголовныхъ событіяхъ, какъ было и прежде, крикъ „карауль!“ а въ крайнихъ и опасныхъ случаяхъ, вродѣ напри-

мѣръ, бунта или заговора, возгласъ: „ясакомъ промышлай! ясакъ хованъ!“

Долго еще потомъ безтолковому „ясаку“ суждено было быть единственнымъ крикомъ, зовущимъ на помощь при необыкновенныхъ событіяхъ, а „карауль“ дожилъ даже и до нашихъ дней и едва ли когда русскій человѣкъ отрѣшится отъ своего „караула“—„карауль“, при безобразіяхъ, также необходимъ русскому человѣку, какъ щи и каша! Для него это тоже своего рода пища.

Усложнившіяся событія политическихъ смуть и неурядицъ и вынудили Великаго Петра замѣнить „ясака“ „словомъ и дѣломъ“ „Слово и дѣло“ быстро вошло во всеобщее употребленіе, и имъ, какъ мы уже говорили много начали злоупотреблять.

Смерть Петра не уничтожила страшнаго возгласа, и онъ, вмѣстѣ съ канцеляріею тайныхъ розыскныхъ дѣлъ, существовалъ до 1762 года. Въ этомъ году, Императоръ Петръ III, Ѳеодоровичъ, указами отъ 17-го и 21-го февраля уничтожилъ и страшное „слово и дѣло“ и ненавистную народу канцелярію тайныхъ розыскныхъ дѣлъ, руководствуясь въ этомъ случаѣ примѣромъ своей тетки, императрицы Елизаветы Петровны, которая незадолго передъ тѣмъ уничтожила смертную казнь за обыкновенныя преступленія.

Такъ кануло въ вѣчность ужасное „слово и дѣло“...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Проклятая.

Въ 1740 году, въ году, когда, въ данное время, происходитъ дѣйствіе нашего повѣствованія, „слово и дѣло“ было еще въ полной своей силѣ. Мнительная, болѣзненная Императрица Анна Іоанновна и вмѣстѣ съ нею суровый курляндскій герцогъ Биронъ, не находили нужнымъ уничтожать его, да и время было такое, что ото всѣхъ можно было ожидать всего—время было мрачное, тяжелое, безпокойное было время.

Можно же себѣ представить, какъ великъ былъ испугъ Іоны Маркіаныча, когда преображенецъ крикнулъ „слово и дѣло!“

— Слово и дѣло! повторилъ онъ еще разъ, и съ какимъ-то несвойственнымъ ему озлобленіемъ поволокъ Іону Маркіаныча къ двери, рѣшивъ отдать его въ руки правосудія.

Іона Маркіанычъ заголосилъ и заголосилъ такъ, что Ироида Яковлевна пришла въ ужасъ не менѣе самого Іоны Маркіаныча, и схватила мужа за руку.

— Опомнись! крикнула она. Чтой-то ты городишь такое, безтолковый! Какое тутъ тебѣ „слово и дѣло“! Аль ободѣлъ ты, муженецъ мой? аль ужъ успѣлъ опохмѣлиться съ утра съ самага? Пусти его!

Преображенецъ на мгновенье пріостановился.

— Пустить? кого пустить, жена? грозно сверкнулъ онъ глазами. Иль тебѣ невѣдомо, не поняла ты, что онъ сказалъ такое?

— Пусти! настаивала Ироида Яковлевна.

— Прочь! крикнулъ преображенецъ, и толкнулъ жену такъ, что та чуть было не упала.

Между супругами затѣялась перебранка, первая съ тѣхъ поръ, какъ они сдѣлались мужемъ и женой. Іона Маркіанычъ не переставалъ охатъ и копошиться у ногъ все еще державшаго его преобразенца. На крикъ супруговъ выбѣжала наконецъ дочь.

— Что тутъ? куда тебя тащутъ, „зуботыка“?

— Охъ! стоналъ Іона Маркіанычъ. „Слово и дѣло“ сказалъ за собой... на судъ тащатъ... спасите, люди милостивые!

— Батъка! пусти его! обратилась дочь къ отцу.

Преображенецъ изумленно посмотрѣлъ на свое дѣтище.

— Такъ и пусти! А то и отниму, чортъ этакой!

Преображенецъ сталъ въ тупикъ.

— Ахъ, поскуда!

— Самъ поскуда! было ему отвѣтомъ.

И вслѣдъ затѣмъ, съ какой-то отчаянной силой, вовсе несвойственной молодой дѣвчонкѣ, она вырвала изъ рукъ отца Іону Маркіаныча, толкнула его въ дверь, и за нимъ выскочила сама.

Все это произошло такъ неожиданно, такъ быстро, что присутствовавшая тутъ же Ироида Яковлевна видѣла все, какъ во снѣ. Но она страшно перепугалась, когда взглянула на мужа. Преображенецъ побогровѣлъ и видимо задыхался отъ душившей его злобы, и взглядъ его былъ полонъ какого-то непреодолимаго ужаса.

— Что-жъ это?... что-жъ это?... жена, а?... заговорилъ онъ наконецъ, какимъ-то неестественнымъ голосомъ, голосомъ, въ которомъ слышалось все—и ярость безпомощнаго человѣка, и лихорадочная тревожность, и нѣчто такое животное, что приближаетъ человѣка къ дикому звѣрю.

Ироида Яковлевна не сразу нашлась, что отвѣтить. Она безпомощно смотрѣла на мужа, и ожидала, что онъ скажетъ далѣе.

Преображенецъ, какъ бы понявъ это, продолжалъ:

— Да, я знаю, что это... знаю... Она мнѣ больше не дочь... Не надо... прочь ее... прочь отъ меня!

И онъ судорожно замахалъ рукой, точно отталкивая отъ себя ту, которую гналъ.

— Прочь! прочь! повторялъ онъ.

Тутъ Ироида Яковлевна, нѣсколько успокоившись, нашла необходимымъ успокоить и мужа.

— Николай, полно-ко тебѣ, полно! заговорила она. Дѣвчонка недомыслотъ, съ дуру, съ праху, словцо неразумное сказала, а онъ, наось, прочь да прочь!

— Прочь! прочь! твердилъ преображенецъ.

— Куда прочь-то? опомнись!

— Отъ меня прочь!

— Не чужая-жъ она тебѣ—дочь: ты то попомни.

— Нѣтъ, она мнѣ не дочь! не дочь! бормоталъ настойчиво преображенецъ. Какая она мнѣ дочь! У меня нѣтъ больше дочери.

И онъ все продолжалъ махать рукой, и голосъ его дрожалъ все болѣе и болѣе.

— Наось! затвердилъ одно, что сорока на суку, да и мечется! замѣтила мужу Ироида Яковлевна. Полно-ко тебѣ, старый! Опомнись!

— Опомниться?! Га, я ужъ давно опомнился, государыня моя, давно! Да и пора: старъ сталъ, сѣдъ сталъ, еле, вонъ, на ногахъ стою! Сама, чай, видишь! Видишь?

— Вѣстимо, вижу не слѣпая.

— Нѣтъ, ты слѣпая! придрался вдругъ къ слову старый преображенецъ. Совсѣмъ-таки слѣпая, государыня моя! Кабы ты не была слѣпая, ты бы видѣла, куда твоя дочка идетъ! видѣла бы! А ты не видишь! Ты не видишь, горячился все болѣе и болѣе преображенецъ, что въ твоей дочкѣ самъ чортъ сидитъ! Ты не

видишь, что въ ней нѣтъ ничего человѣческаго. Она—звѣрь, звѣрь! звѣрь!

Ироида Яковлевна закрестилась.

— Опомнись ты, оглашенный! опомнись!

— Опомниться?! Га, я ужъ давно опомнился, государыня моя, давно! Старому солдату пора опомниться! Служилъ Богу, служилъ Царю! Петру, турку видѣлъ, шведа видѣлъ, штыкомъ работалъ, всего видѣлъ, всего перезналъ, а ужъ того, чтобы родныя дочки своихъ родныхъ отцовъ бранили—не видывалъ и неперезнавалъ доселѣ! Боже! Боже! поднялъ преображенецъ руки кверху,—вотъ мои сѣдины передъ Тобой: голова моя старая, служилая, недомысленная! прости мнѣ то, что скажу! А скажу я слово страшное, слово отцовское!

Ироида Яковлевна женскимъ чутьемъ угадала, какое такое слово хочетъ сказать мужъ. Она дрогнула всѣмъ своимъ тѣломъ, и схватила мужа крѣпко за руку.

— Постой! постой! зашептала она тѣмъ порывистымъ женскимъ шопотомъ, какимъ умѣютъ шептать однѣ только матери, когда имъ приходится защищать родное свое дѣтище. Постой!

Преображенецъ окинулъ жену страннымъ взглядомъ, горько улыбнулся, и стоялъ молча.

— Да, постой, постой! шептала Ироида Яковлевна. Я знаю, что ты хочешь сказать... знаю! Но только ты не скажешь того... не скажешь—мнѣ вѣдомо. Ты мужъ мнѣ добрый, ты добрый дочкѣ отецъ.

— Добрый для всѣхъ, да не для дочки! произнесъ преображенецъ съ отталкивающей холодностью въ голосъ.

— Неправда! ужъ вскрикнула Ироида Яковлевна.

— Правда, государыня моя!

— Нѣтъ! нѣтъ! кричала мать въ порывѣ неистовства.

— Такъ прочь же и ты отъ меня!

Сильный толчокъ заставилъ Ироиду Яковлевну отскочить отъ мужа. Она чуть не упала, кое-какъ удержавшись за подоконникъ. Между тѣмъ, мужъ, старый преображенецъ, строго и рассчитанно, съ леденящей холодностью, произнесъ слово проклятiя надъ своей дочерью.

Глухо и тяжело прозвучало это слово въ чистенькой комнаткѣ

такъ недавно счастливыхъ супруговъ, и сразило бѣдную мать, какъ небесною грозою.

— Доня! доченька моя!... только и могла въ ужасѣ и сердечномъ трепетѣ произнести несчастная Ироида Яковлевна.

Преображенецъ не слыхалъ вопля жены. Пошатываясь, какъ пьяный, онъ куда-то уходилъ...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Подъ акаціями сада.

Чортова сержантка“ утащила Іону Маркіаныха въ садъ.

Въ саду было пустынно и глухо: въ послѣднее время рѣдко кто изъ обитателей малиноваго домика заглядывалъ туда, всѣмъ было не до того, чтобы любоваться красотами осенней природы.

А осень, дѣйствительно, была превосходна необыкновенно: сухая, теплая, ясная. Листъ еще не опалъ, но уже бурѣлъ и желтѣлъ. Чувствовалась та, всѣмъ извѣстная, отцвѣтающая жизнь, которая всегда навѣваетъ на душу какое-то тихое и грустное раздумье: припоминается и свое отцвѣтанье, и своя осень...

Садъ при малиновомъ домикѣ состоялъ больше изъ кленовъ. Онѣ были и громадны, и стары, и царили надъ всей остальной зарослью, какъ гиганты. Теперь они, клены эти, были особенно хороши: желтый листъ ихъ сверкалъ и представлялъ изъ себя цѣлую массу червоннаго золота. Все остальное уступало мѣсто этой своеобразной, чудной красотѣ и, казалось, само тихо любовалось на золотистый уборъ гигантовъ, которые рѣдко, очень рѣдко, и очень неохотно, роняли уже части своего убора, и тогда падающіе листья походили на порхающихъ въ воздухѣ бабочекъ.

А вокругъ, въ саду, было тихо, необыкновенно тихо, и рѣдкій, перелѣтающій съ вѣтки на вѣтку, крикъ маленькой синички, казалось, еще болѣе увеличивалъ царившую тишину.

Торопливые шаги людей нарушили, наконецъ, эту тишину сада. Въ садъ вошли два человѣка, вошли скоро, почти бѣгомъ.

„Чертова сержантка“ тащила за руку Іону Маркіаныча, и, задыхаясь, говорила:

— Иди же, иди! бѣги скорѣе! тутъ тебя не найдутъ! ты тутъ спрячешься въ кусты!

— Охъ! охъ! стоналъ Іона Маркіанычъ, и, спотыкаясь, торопился за своей спасительницей.

Но вотъ они, повидимому, и въ безопасномъ мѣстѣ. Масса густыхъ акацій, со своими мелкими, еще вполнѣ зелеными, листьями, окружила ихъ со всѣхъ сторонъ.

— Стой тутъ! приказала „чертова сержантка“. Остановилась сама, и остановила Іону Маркіаныча.

Оба они прислушались. По прежнему было тихо. Попискивала одна синичка, гдѣ-то такъ близко возлѣ нихъ, что имъ казалось, что она попискиваетъ надъ самымъ ихъ ухомъ. Пискъ этотъ, въ сердцѣ пріостановившагося и еще не успѣвшаго очнуться отъ испуга Іоны Маркіаныча, отзывался чѣмъ то болѣзненнымъ, такъ что онъ не выдержалъ и припугнулъ ни въ чемъ неповинную птичку:

— Буде пищать! нишкни! произнесъ онъ сдержаннымъ голосомъ и притопнулъ ногой.

И это было такъ наивно, такъ комично, и такъ не вязалось съ обстановкой „бѣглецовъ“, что „спасительница“ вдругъ разсмѣялась, но такъ же вдругъ и примолкла, припугнувъ самого Іону Маркіаныча.

— Молчи ты! чего кричишь? Услышутъ—придутъ, прибѣгутъ, тогда ужъ не сдобровать твоей дурацкой головшкѣ!

— И то! ахъ! прошепталъ Іона Маркіанычъ, невольно присѣдая къ землѣ. Экъ, я тесина волоколамская!

— Тесина и есть! сказала „чертова сержантка“, и спросила: чего тамъ болталъ? чего городилъ? что было?

— Охъ, пустое совсѣмъ дѣло было! ахти, какое пустое! Кабы зналъ—не рассказывалъ бы. Не думалъ, не гадалъ, чтобъ старый солдатъ, старый дружище, на меня посягнулъ!

Тутъ Іона Маркіанычъ рассказалъ, въ чемъ было дѣло.

— Ахъ, онъ старый дурень, чортъ старый! произнесла хулу на своего отца „чортова сержантка“.

— И впрямь, дурень! подхватилъ Іона Маркіанычъ.

— Было бы за что, а то—накось! продолжала „чертова сержантка“. Привязался къ слову—и губить человѣка!

— И губить человѣка! опять подхватилъ Іона Маркіанычъ.

— Вѣдь, этакъ-то за все можно осудить человѣка.

— За все можно!

— Ну, да ты не бойся, зуботыка—въ обиду я тебя не дамъ.

— Родимушка! пригожая моя! умилился вдругъ Іона Маркіанычъ, и, съ искренними слезами на глазахъ, упалъ къ ногамъ своей „спасительницы“. Онъ обхватилъ ихъ обѣими руками и началъ цѣловать — цѣловать, то одну ногу, то другую, и при этомъ все продолжалъ шептать: родимушка! пригожая моя!

На дѣвушку повліяло это одуряющимъ образомъ. Глаза ея сверкнули, щеки запылали. Въ сердцѣ зашевелилось то чувство удовлетворительности, то чувство капризной прихоти, которыя, при извѣстныхъ условіяхъ, такъ свойственны женской натурѣ отъ восьмилѣтней дѣвочки до шестидесятилѣтней старухи.

„Чертова сержантка“ глядѣла во всѣ глаза на ползающаго у ея ногъ Іону Маркіаныча, этого урода въ образѣ человѣческомъ, всѣми забытаго, всѣми презираемаго, и чувство жалости, смѣшанной съ привязанностью, какъ-то само собою зарождалось въ ея молодой груди. Было ли это отголоскомъ прежнихъ впечатлѣній, или же оно, чувство это, зародилось въ настоящую минуту, посреди этихъ акацій, посреди этой всеобщей тишины замирающаго сада, дѣвушка не знала, да и не хотѣла знать. Но только ей все вокругъ показалось неожиданно—и чѣмъ-то свѣтлымъ, и чѣмъ-то привѣтливымъ до забвенія.

И она, точно, вдругъ забылась:

— Дорогой... ладный... невольно прошептали ея молодые уста. И она—сперва наклонилась къ уроду, потомъ и совсѣмъ опустилась возлѣ него.

— Ты не плачь... не плачь... продолжала она... тебя никто не обидитъ... нѣтъ, теперь тебя никто не обидитъ... аль, ты не видишь!

— Охъ, вижу, вижу! отозвался уродъ.

— А видишь—молчи, молчи! слышишь ли—молчи! чтобъ никто не зналъ, не вѣдалъ... молчи!...

И она на мгновенье примолкла, протерла глаза, какъ будто они у нея заслезились, и, словно бы что-то соображая, продолжала тихимъ, проникающимъ въ душу голосомъ:

— Я все давно знаю... все... я не маленькая... Ахъ, какъ мнѣ не спится по ночамъ!.. все-то душно, все-то сны въ голову лѣзутъ... Вчера въ ночь приснился мнѣ ты...

— Я? промолвилъ трепетно Іона Маркіанычъ.

— Ты, ты, уродъ чортовъ! почти вскричала дѣвочка, точно обозлившись на него. Ты!

И она сильно толкнула отъ себя уroda.

Тотъ молча откатился въ сторону, приподнялся со спины, сѣлъ и сиротливо опустилъ голову.

„Чертова сержантка“ взялась руками за голову и, не обращая вниманія на Іону Маркіаныча, сама съ собой разсуждала.

— Дѣвочка!.. вотъ какъ! какая-жъ я дѣвочка!.. я дѣвка... просто, дѣвка... вонъ какая рослая, здоровая... отецъ ненарасно назвалъ дубиной... дубина и есть.

Вдругъ она тряхнула головой.

— Ты! уродина! крикнула она Іонѣ Маркіанычу.

— Ась? отозвался тотъ пугливо.

— Скажи-ка ты мнѣ: вѣдь, дѣвка я?

— Дѣвка, государыня, дѣвка.

— И рослая?

— И рослая.

— И здоровая?

— И здоровая.

— Такъ, стало, отецъ мнѣ не указъ?

— Не у... началъ было Іона Маркіанычъ, и вдругъ поправился: ахъ, нѣтъ, нѣтъ, государыня! указъ! и большой указъ — отецъ дочкѣ завсегда указъ... такъ и въ писаніи сказано...

— Все ты врешь, чортова башка!

— Ахъ, не вру, государыня!

— Врешь! Кто-жъ можетъ человѣку указывать, когда онъ выросъ и по своему жить можетъ?

— Не можетъ! настаивалъ Іона Маркіанычъ.

— А еще ученая голова! произнесла презрительно „чортова сержантка“. Гдѣ-жъ твоя ученость, коли ты до такой простой вещи не додумался! А тебѣ ужъ, поди, годовъ пятьдесятъ?

— Чуть-чуть поменьше.

— Поменьше? Вишь, какой молодецъ сыскался! Поди, и женихомъ еще себя считаешь?

— Женихъ не женихъ, а человѣкъ еще здоровый, продолжалъ возражать Іона Маркіанычъ.

„Чортова сержантка“ разсмѣялась, но страненъ и какъ-то жестокъ былъ этотъ смѣхъ молодой дѣвушки: въ немъ слышалась — и какая-то злость, и какая-то болѣзненная хрипота и при этомъ все лице ея подергивалось судорогой и пылало, какъ въ огнѣ.

— Здоровый? человѣкъ еще здоровый? заговорила она почти совсѣмъ хрипло. Вижу, что здоровый... Да ужъ больно чучело... совсѣмъ-таки, чучело... ну, вотъ, что на огородахъ ставятъ...

— Ставятъ, государыня, ставятъ! соглашался Іона Макріанычъ.

— И зачѣмъ ты такой страшный? такой уродъ?

— Богъ такъ уродилъ.

„Чертова сержантка“ опять закрыла лицо руками.

— Ахъ, кабы ты былъ пригожъ! произнесла она глухо.

— Погодь, дочка! вдругъ раздался надъ нею свирѣпый голосъ отца, — увидишь еще и пригожихъ! всего увидишь! А теперь... погодь еще маленечко, дочка, погодь!

Дочь, быстро, не вставая, обернулась — и увидала искаженное злобой и даже безуміемъ лицо старика-отца.

— Ты! вскрикнула она.

— Аль, не ожидала?! загремѣлъ почти надъ самымъ ея ухомъ отецъ.

Дочь быстро вскочила.

— Уйди! уйди отсюдова! вскричала она, смѣло выпрямляясь передъ отцомъ.

Старый преображенецъ замахнулся, и ударъ его кулака направился прямо въ грудь дочери.

— Вотъ же тебѣ, пакосница!

— А вотъ и тебѣ, батька! взвизгнула дочь — и вцѣпилась руками и зубами въ плечо отца.

Преображенецъ охнулъ.

— Проклятая! прочь!.. прочь гадина!..

Дочь, молча, продолжала свое дѣло: она кусала и царапала пойманное плечо, и висѣла на немъ, какъ пѣвка.

Вскочилъ, наконецъ, и совсѣмъ перепуганный Іона Маркіанычъ. Онъ хотѣлъ было бѣжать. Но старый преображенецъ сразу и порывисто страхнулъ съ себя дочь, схватилъ его на бѣгу, сзади.

Іона Маркіанычъ вскрикнулъ, съежился, и остановился, сознавая полную бесполезность всякаго побѣга.

— Припасенъ у меня гостинчикъ и для тебя! захрипѣлъ надъ нимъ преображенецъ. И вслѣдъ затѣмъ, въ рукахъ стараго солдата, что-то сверкнуло, а Іона Маркіанычъ, съ глухимъ стономъ, какъ снопъ, рухнулъ на землю.

А вокругъ, въ саду, было тихо, необыкновенно тихо, и рѣдкій, перелетающій съ вѣтки на вѣтку, крикъ маленькой синички, казалось еще болѣе увеличивалъ царившую тишину...

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Семейное горе.

Не сразу опомнилась и пришла въ себя дочь преображенца, оставшись наединѣ съ распростертымъ на землѣ трупомъ Іоны Маркіаныча. Іона Маркіанычъ лежалъ весь въ крови и уже совершенно бездыханенъ: ножъ, обезумѣвшаго отъ злобы преображенца, покончилъ съ нимъ сразу.

— Чтожъ онъ сдѣлалъ такое? что сдѣлалъ? смутно мелькало въ головѣ дѣвочки. Вѣдь, онъ убилъ его, совсѣмъ-таки зарѣзалъ.

Машинально, сама не зная для чего, она шагнула къ трупу, и съ какимъ-то невѣдомымъ ей доселѣ чувствомъ любопытства заглянула въ лицо мертвеца.

Трупъ лежалъ навзничъ, нѣсколько скорчившись. Правая рука, съ судорожно сжатыми пальцами, бросилась въ сторону, а лѣвая подвернулась подъ-бокъ. Залитое кровью лицо, было неузнаваемо. Глаза были открыты, открыты широко, страшно, и оловянные зрачки застыли въ своемъ ужасномъ удивленіи. А кровь все еще сочилась изъ горла, дымилась, и тутъ же, чернѣя, застывала. Въ своей мертвой неподвижности Іона Маркіанычъ былъ страшенъ необыкновенно.

Нѣсколько минутъ дѣвочка неотрывала глазъ отъ глазъ мертвеца. Ей какъ-то не вѣрилось, что передъ нею лежитъ бездыхан-

ное тѣло, которое ужъ больше не встанетъ, не задвигнется, не подастъ голоса. Она еще не была знакома со смертью, и видѣла мертваго человѣка въ первый разъ. Какъ ни странно, но этотъ лежащій передъ нею трупъ зарѣзаннаго человѣка почему-то не пугалъ ее, и она даже, на подобіе хищнаго звѣрька, съ какой-то своеобразной жадностью вдыхала въ себя запахъ свѣжей крови. Затѣмъ, она совсѣмъ наклонилась къ трупу и захотѣла его приподнять. Хотя съ усиліемъ, но она его приподняла, придерживая за голову. Спертый воздухъ, отъ этого движенія, выступилъ изъ груди мертвеца, но съ такимъ звукомъ, что дѣвочкѣ показалось, будто Іона Маркіанычъ еще живъ.

— Іонка! ты живъ? произнесла она съ радостью.

Трупъ голоса не подавалъ, и дѣвочка напрасно ждала отвѣта. Это было обыкновенное явленіе, какое нерѣдко случается съ трупами, когда ихъ приподнимаютъ.

Увѣрившись наконецъ, что Іона Маркіанычъ мертвъ, она встала, и медленно пошла изъ сада. Какая-то болѣзненная дрожь пробѣжала по ея молодому тѣлу, голова кружилась и ее клонило ко сну.

— Бѣдный, бѣдный Іонка! шептала она, пробираясь по саду, и при этомъ языкъ ея еле ворочался во рту. Дома она тотчасъ же свалилась въ постель, а къ вечеру у ней открылся бредъ. Дѣвочку схватила горячка.

Старый преображенецъ весь тотъ день гдѣ-то пропадалъ. Онъ возвратился только поздно вечеромъ, и когда Ироида Яковлевна взглянула на мужа, то вскрикнула въ ужасъ, и спряталась въ своей комнатѣ. Она забыла даже сообщить мужу, что дочь неожиданно заболѣла.

Долго преображенецъ бродилъ по дому, какъ привидѣніе, иногда бормоталъ что-то, иногда смѣялся, иногда грозилъ кому-то кулакомъ. Ироида Яковлевна все это слышала, и трепетала въ своемъ уголѣ. Не было сомнѣнія, что старый преображенецъ помѣшался.

Ироида Яковлевна совсѣмъ растерялась, тихонько плакала, молилась, и не знала, что предпринять. Ей, однакожъ, не было еще извѣстно, что мужъ убилъ Іону Маркіаныча.

Старый преображенецъ бродилъ по дому до глубокой ночи. Утомленный, онъ хотѣлъ уже лечь спать, но вдругъ, какъ будто

что-то вспомнивъ, онъ вскочилъ съ постели, что-то пробормоталъ, и выбѣжалъ изъ дому. Ирида Яковлевна боялась его остановить.

Преображенецъ побѣжалъ въ садъ.

Глухая, осенняя ночь, давно уже окутала городъ. Москва спала. Раздавались только сторожевые трещетки, бой въ чугунныя доски, да выкрики: „караулю“!

Въ саду, темномъ и беззвучномъ, преображенецъ на минуту пріостановился, прислушался, и уже началъ пробираться въ глубину съ осторожностью кошки. Онъ пробирался прямо къ тому мѣсту, гдѣ днемъ совершилъ преступленіе. Вскорѣ онъ наткнулся на то, чего искалъ—онъ наткнулся на совсѣмъ уже окоченѣлый трупъ Іоны Маркіановича. Тихо и бережно, сперва ощупавъ трупъ онъ началъ приподнимать его, а, приподнявъ, взвалилъ его, точно какой-нибудь кулъ, на свои здоровыя плечи.

— Туда... туда... прошепталъ преображенецъ, и потащилъ свою страшную ношу въ помѣщавшуюся въ самомъ глухомъ мѣстѣ сада бесѣдку, старую, совсѣмъ почти развалившуюся.

Когда онъ приблизился къ ней, какая-то крупная ночная птица, забравшаяся туда на ночь, услыхавъ человѣка, завопила тамъ и захлопала крыльями. Преображенецъ вздрогнулъ и чуть было не уронилъ свою ношу. Но потомъ, догадавшись въ чемъ дѣло, и пробормотавъ: „ну, дура, молчи“,—твердою поступью вошелъ въ бесѣдку.

Тутъ онъ сбросилъ съ себя грузную ношу, высѣкъ огня и зажегъ заранѣе приготовленную восковую свѣчку. Слабый свѣтъ озарилъ внутренность бесѣдки, заваленной какимъ то деревяннымъ хламомъ—досками, ящиками, обломками колесъ и еще какихъ-то принадлежностей.

— Вотъ тутъ... тутъ... бормоталъ преображенецъ, оглядываясь... тутъ его никто не найдетъ... никто не увидитъ... Придутъ, поищутъ, и уйдутъ... Туда не залѣзутъ... нѣтъ... нѣтъ... я одинъ знаю мѣсто...

Съ этими словами, преображенецъ осторожно началъ разбирать доски, кладя ихъ къ сторонкѣ. Когда онъ ихъ разобралъ всѣ, подъ ними оказалась дверь съ кольцомъ. Онъ поднялъ дверь, которая нѣкоторое время туго поддавалась его усиліямъ, и за нею оказалось какое-то черное пространство въ землѣ.

— Ну, теперь все... продолжалъ бормотать старикъ... Туда—

и все... пусть тамъ лежитъ... никто не найдетъ... никто не увидитъ...

Онъ взялъ трупъ за ноги, и поволокъ его къ ямѣ. Въ одну минуту трупъ очутился въ отверстіи. Преображенецъ заглянулъ туда, со свѣчей въ рукахъ.

— Ага! тамъ ему хорошо!.. произнесъ онъ, загадочно улыбаясь искривленнымъ безуміемъ лицомъ. Да, хорошо... хорошо... Прости, ученая голова! вдругъ почти вскрикнулъ онъ, и торопливо спустилъ надъ ямой дверь. Затѣмъ, онъ завалилъ дверь досками, въ такомъ же родѣ, какъ онѣ лежали прежде, задулъ огонь, и вышелъ изъ бесѣдки.

Въ дверяхъ дома встрѣтила его Ироида Яковлевна.

— Николай, ты нездоровъ? спросила она тихо и участливо, боясь даже взглянуть на мужа.

— А! торопливо произнесъ мужъ, и остановилъ свой взглядъ на женѣ.

Онъ смотрѣлъ на нее такъ упорно и такъ страшно, что та перепугалась.

— Николай, ты легъ бы... еле-еле проговорила Ироида Яковлевна...

— Ну, да... всѣ заснемъ... всѣ... отвѣчалъ ей старикъ... всѣ... Іона Маркіанычъ ужъ заснулъ... и не встанетъ... И не пикнулъ, когда я его... вотъ такъ...

Старикъ сдѣлалъ неопредѣленный жестъ правой рукой.

— Вотъ такъ... и не пикнулъ... Ага, попался-таки! говорю я ему... Постой, постой, есть гостинчикъ и для тебя... и вотъ такъ...

Старикъ вдругъ, съ нѣкоторой пугливостью, началъ оглядываться.

— Ты смотри, Ирочка... никому, никому не говори... понизилъ онъ голосъ... чтобъ никто не прозналъ, никто... а то...

— Да про что ты говоришь-то? спросила жена въ мучительномъ страхѣ, рѣшительно ничего не понимая въ словахъ мужа.

— Молчи, молчи!.. А главное... Ахъ! вскрикнулъ вдругъ старикъ, хватаясь за голову, да не клади же мнѣ на голову топора!..

На утро старикъ слегъ, забредилъ, и ужъ болѣе не вставалъ. Ироида Яковлевна потеряла голову, очутившись неожиданно въ самомъ безпомощномъ состояніи. Но ее выручила нѣсколько ста-

руха Іоны Маркіаныча, явившаяся съ розысками своего сожителя. Іоны Маркіаныча она, разумѣется, не нашла, да и не особенно-то заботилась объ этомъ, а жить у Ироиды Яковлевны осталась. Старуха она была смѣтливая, проворная, и за дѣло сидѣлки возлѣ больныхъ принялась охотно. Особенно охотно она ухаживала за дочерью стараго преображенца, благоразумно рассуждая, что молодому жить надо, а ужъ старикамъ пора и въ могилушку. Ироида Яковлевна, напротивъ, сочувствовала больше своему старику, съ которымъ прожила столько счастливыхъ лѣтъ. Но дни старика были уже сочтены, и она напрасно бѣгала для него по всѣмъ закоулкамъ Москвы, отыскивая знахарокъ и лекарокъ, напрасно поила его всякаго рода настоями изъ травъ. Старикъ хирѣлъ все болѣе и болѣе. Онъ страшно исхудалъ, сѣдые волосы его повылѣзли всѣ, и онъ лежалъ на постели, какъ скелетъ. Почти все время бредъ не покидалъ старика. Онъ бредилъ битвами со Шведомъ, бредилъ тѣмъ, какъ, однажды, Великій Императоръ потрепалъ его подъ Нарвой по плечу, назвалъ молодцомъ, и наградилъ пятью рублями серебромъ. Эти пять рублей обогатили его: онъ на нихъ разжился—и, бѣдный, никому невѣдомый, сержантъ, купилъ себѣ такой хорошенькій домикъ на Сивцевомъ Вражкѣ. „Жонка, жонка! лепеталъ старикъ, — какъ намъ хорошо жилось! домикъ, садикъ, земли много, и всего-то вволю... гдѣ-жъ это все? гдѣ?... или я не хозяинъ здѣсь? Іонка хозяинъ?... Іонка?... Га!... А я ему — вотъ какъ... вотъ!... И старикъ махалъ исхудалой, какъ щепка, рукой...

Наканунѣ смерти, придя нѣсколько въ себя, онъ пожелалъ видѣть дочь.

— Сюда ее... ко мнѣ... ко мнѣ...

— Но и она хворааетъ, сообщила Ироида Яковлевна.

Старикъ помолчалъ, пожевалъ губами.

— Хворааетъ?

— Хворааетъ.

— Покажи мнѣ ее хворую.

Старику принесли начавшую уже поправляться дочь. Онъ долго смотрѣлъ на нее, и потомъ вдругъ зарыдалъ.

— Прощаю... прощаю... заговорилъ онъ сквозь слезы... снимаю проклятіе...

смотрѣла на отца, не проронила ни одного слова,

и ее унесли отъ старика, съ какимъ-то холоднымъ, упорнымъ выраженіемъ на блѣдномъ лицѣ.

— Пойдите... пойдите... силился вскрикнуть старикъ, когда уносили отъ него дочь... дайте мнѣ ее поцѣловать... дайте!...

— Не хочу! отвѣтила ему рѣзко и непріязненно уносимая дочь.

— А!... простоналъ старикъ, и откинулся головой на подушку.

Черезъ нѣсколько минутъ, комната наполнилась горькимъ женскимъ рыданіемъ. То рыдала Ироида Яковлевна надъ трупомъ своего дорогаго мужа.

И съ этого дня счастье унеслось изъ малиноваго домика куда-то далеко, далеко, какъ уносится оно отовсюду, гдѣ бы не побывало, гдѣ бы не свивало себѣ, на видъ кажущагося прочнаго гнѣзда. Унеслось—и позабыто все, и все утрачено, и послѣ утраченнаго кажущагося счастья несчастье кажется еще горше, еще тяжелѣе, раны горя кажутся еще больнѣе...

О, такъ будь же ты проклято наше непрочное, человѣческое счастье!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

СВОЯ ВОЛЯ.

Кости покойнаго, Преображенскаго полка сержанта, Николая Митрофановича Иванова, успокоились въ оградѣ церкви св. мученика Власія, что въ Старой Конюшенной.

Немного народу провожало покойнаго сержанта, и немного слезъ было пролито надъ его гробомъ. Плакала одна Ироида Яковлевна, и возвратившись домой, тотчасъ же слегла сама, да ужъ и не вставала болѣе: черезъ мѣсяць, не болѣе, не стало и ее—умерла и она, не въ силахъ будучи перенести потери горячо любившаго ея мужа,

Передъ смертью, она всетаки благословила дочь, постаралась, черезъ знакомыхъ подъячихъ, передать все имущество дочери, хотя и несовершеннолѣтней, но ужъ взрослой и благоразумной, какъ значилось въ передаточной бумагѣ. Дашутка, такъ въ послѣднее время называла ее мать,—не отходила отъ постели уми-

рающей, сидѣла возлѣ, по-долгу вглядывалась въ ея исхудалое, позеленѣлое лицо, и на глазахъ ея иногда наворачивались слезы.

— Умру... умру... еле слышно говорила больная женщина. Останешься одна... одна... сиротинкой... Охъ, Дашутка, трудно жить на свѣтѣ сиротинкой... всякій-то обидить... всякій-то слово скажетъ бранное...

— Може, кой-какъ и проживу, матушка, отвѣчала угрюмо дочь.

— Охъ, не проживешь одна-то... охъ, не проживешь... Не судилъ Господь мнѣ, матери, устроить тебя... Тогда бы ужъ и умереть легко... и умерла бы, устроивши-то тебя, дочурка...

— Не печалься, въ обиду себя не дамъ...

И точно, Дашутка себя, по смерти матери, въ обиду не давала. Диву дались сосѣди, какъ это такъ дѣвченка стала всѣмъ домомъ заправлять. Сперва находились, было, молодцы - парни, которые хотѣли втереться въ домъ, чтобы забрать вмѣстѣ съ молодой хозяйкой все въ руки, да получили отъ нее такой отпоръ, что не только сами отказались обмануть дѣвченку, но и другимъ заказали покушаться на это. Одного такого молодца она вымазала дегтемъ, обваляла въ перья и выгнала за ворота. Другого чуть не заморозила въ снѣгу. Съ третьимъ поступила еще проще: долго онъ помнилъ вѣники малиноваго домика и двѣ злорадныя фигуры какихъ-то злорадныхъ, здоровыхъ бабъ. Это были двѣ новыя, необыкновенно сильныя, жилицы малиноваго домика, которыхъ откуда-то добыла для услугъ въ домѣ бывшая сожительница Іоны Маркіяныча. Въ ихъ рукахъ все кипѣло, какъ у самыхъ заправскихъ мужиковъ. Одна изъ нихъ, высокая, краснощекая, дебелая, лѣтъ подъ тридцать, по имени Фива, исправляла даже обязанность кучера. Фива ловко правила красивенькой савраской барышни, и катала ее, барышню, вслучаѣ надобности по Москвѣ, одѣвшись въ кучерской кафтанъ. Другая занималась больше по хозяйству. Обѣихъ ихъ Дашутка очень любила, все имъ довѣряла, и не боялась съ ними ничего. Въ особенности же она любила Фиву. Безъ этой краснощекой обитательницы малиноваго домика, Дашутка не могла пробыть и часу. Она съ нею бесѣдовала, гуляла и даже спала вмѣстѣ.

Въ одно декабрьское утро взгрустнулось что-то Дашуткѣ. Позвала она Фиву, и завела съ нею рѣчь:

— Не по себѣ мнѣ чтой-то, Фива, сказала Дашутка.

— Ой ли? удивилась Фива.

— Право же.

— Ахъ! ахъ! заахала Фива, и закачала головой.

— Придумать бы что — развеселиться, погулять, надумалась Дашутка.

— Погулять хорошо, красавица моя, золотая моя, согласилась Фива. Повелишь — пойду, запрягу совраску-то, прокатимся по Москвѣ-то, по матушкѣ.

— Надоѣло мнѣ катанье, Фива. Хочу чего другаго.

— Чего-жъ такого, золотая моя?

— А ужъ и сама не додумаюсь.

Фива, склонивъ голову, задумалась, потомъ краснощекое лицо, ея озарилось загадочной улыбкой, и она тихо проговорила:

— Дѣло невѣдомое: однѣ да однѣ... хорошо бы и въ другой компаньи побывать...

— Въ какой такой?

— Вѣстимо, въ какой... въ мужской компаньи...

— Ужъ не къ себѣ-ль намъ, Фива, позвать мужиковъ-то? возразила Дашутка. Чай, сама знаешь, какъ мы отсюдова выпроводили молодцовъ-то, удалцовъ-то разудалыхъ. Больше не придутъ.

Фива искоса поглядѣла на Дашутку и, замѣтивъ, что та не прочь продолжать рѣчь въ начатомъ родѣ, съ нѣсколько иронической усмѣшкой на лицѣ, уклончиво говорила:

— Ужъ гдѣ придти, золотая моя! Не придутъ. Тутъ имъ пришлось не солоно хлебать, особливо послѣднему, тому-то рыжему, съ бородавкой на щекѣ.

Какъ будто припомнивъ что-то забавное, Фива захихикала въ кулакъ, потомъ вдругъ смолкла, и остановила взглядъ на своей повелительницѣ.

Та молчала, какъ будто что-то обдумывая, и глядѣла разсѣянно въ окно, выходившее въ садъ. Ей почему-то припомнился Іона Маркіянычъ, этотъ жалкій уродъ, погибшій на ея глазахъ. Она припомнила, какъ это поразило ее, какъ она заболѣла, и какъ во время болѣзни ей все грезился окровавленный трупъ ея учителя. Но куда-жъ подѣвался его трупъ? Вопросъ этотъ на нѣсколько минутъ занялъ ее. А между тѣмъ, Фива все стояла передъ ней, и все чего-то ждала, тихо и терпѣливо, не трогаясь съ мѣста.

— Чудно! вдругъ произнесла Дашутка, совсѣмъ тихо, какъ бы прислушиваясь къ своему голосу и не отрывая глазъ отъ окна, изъ котораго виднѣлись обрамленные снѣгомъ деревья.

Фива наострила уши.

— Что чудно, красавица моя?

— А то, продолжала Дашутка. Со мной нынче въ ночь, когда мы не спали вмѣстѣ, случилось такое, чего я доселѣ забыть не могу.

— Ну? подошла къ ней Фива.

— Среди ночи вдругъ проснулась я, Фива, не разбуженная никакимъ шумомъ, безпричинно, и чую, что есть кто-то въ комнатѣ...

— Ахъ, страсть какая! тихо и искренно воскликнула Фива.

— Что за страсть! Я ни чуточки не испугалась. Спросила только: кто тутъ?

— Ну? тревожилась Фива.

— Ну... кто-то и отвѣтилъ: я... И голосъ такой молодой, такой чистый...

— Ужли такъ и отвѣтилъ: я?

— Такъ и отвѣтилъ.

Фива закрестилась.

— Ахъ, Боже, Боже! какія дѣла-то бываютъ на свѣтѣ! Вѣдь, вотъ, и я припоминаю одно такое дѣло-то! начала она нѣсколько таинственно. Аль, рассказать, красавица моя, дорогая моя?

— Расскажи, Фива, я послушаю: може, и веселѣй станетъ. Ты вратъ мастерица.

— Зачѣмъ мнѣ вратъ, красавица! Вратъ мнѣ передъ тобой не слѣдъ—не врунья я, не болтунья, не какаянибудь трещотка деревянная. Говорю всегда правду-расправду. Вотъ умереть.

— Ну, говори свою правду-расправду.

— Ужъ скажу, скажу, коли начала. Дѣло-то было давно, и было оно у насъ, подъ Курскомъ, на селѣ, на Монастырскомъ, — изъ монастырскихъ, вѣдь, я, государыня моя. — Вотъ и была, чу, у насъ, подъ Курью, на селѣ, на Монастырскомъ дѣвка ражая, дѣвка пригожая, Павлюшка прозваньемъ. Ужъ такая-то была мастерица на все, на все затѣйница—любо-дорого! Мы, дѣвки, отъ нее ни на шагъ. Безъ нее ни пѣсенъ не поемъ, ни хоровадовъ не заводимъ, такъ и таскаемся за ней, словно дуры. Да и

смѣлая была дѣвка: ни одному парню, бывало, спуску не дастъ, обиды не снесетъ. Зубастая была дѣвка. Вотъ и захотѣлось разъ, о святкахъ, Павлюшкѣ, дѣвкѣ, погадать о своемъ суженомъ-ряженомъ. Забралась она въ баню-то, взяла съ собой зеркальцо, восковую свѣчечку пасхальную, да и засѣла тамъ. Мы, дѣвки, ищемъ Павлюшки—нѣтъ Павлюшки, точно въ воду канула наша веселая Павлюшка. Поискали, побѣгали мы, дѣвки, да и легли спать. А Павлюшку-то только за-утро нашли въ банѣ-то, да нашли, чу, еле живую...

— Что-жъ было съ ней, съ вашей Павлюшкой-то? спросила какъ-то безучастно Дашутка.

— А то было съ ней, продолжала рассказчица. Пришелъ къ ней, чу, паренекъ, сталъ сзади да и говорить: „Я твой суженый-ряженный, да только не быть тебѣ за мной, дѣвка, безъ того, чтобъ ты меня съ бою, съ драчіи, не сыскала. Я говорить, молодецъ, кулачный боецъ, да тутъ же и стукнулъ ее кулачищемъ въ бокъ.“

— Экъ, ты вратъ мастерица, Фива! не утерпѣла, чтобъ не замѣтить, Дашутка.

— Ей-ей! такъ кулачищемъ въ бокъ и саданулъ!

— Вѣстимо, парень живой затесался, да такую шутку надъ вашей Павлюшкой и сшутилъ.

— Совсѣмъ не живой. Павлюшка съ нимъ опосля только встрѣнулась, и былъ онъ, чу, совсѣмъ изъ другаго села, изъ далекаго. А какъ встрѣнулась—тутъ-то, красавица моя, и загадочка мудреная.

— А ну, повѣдай свою загадочку мудреную? заинтересовалась нѣсколько Дашутка.

— А встрѣнулась она такъ. Хотя Павлюшка и не знала парня, и впервой его видѣла, да и кулакъ парень имѣлъ здоровой, — все-жъ онъ пришелся ей по душѣ, по сердцу, и затосковала по немъ дѣвка съ той же ночи. А, затасковавши, искать его начала. Ищетъ тамъ, ищетъ сямъ, всюду своимъ дѣвичьимъ глазкомъ приглядывается, своимъ дѣвичьимъ ушкомъ прислушивается, своимъ дѣвичьимъ язычкомъ выпытываетъ, — нѣтъ нигдѣ такого парня, да и только. Смѣемся мы, дѣвки, надъ Павлюшкой, шутимъ: „Парень, молъ, заморской, не простой, говоримъ. Поди, за тридевять земель живетъ-поживаетъ, тебя, Павлюшка, поджи-

даетъ. Поѣзжай туда, дѣвка, за тредевять земель-отъ!“ А Павлюшка сама смѣется: „Нѣтъ, говоритъ, парень таковской есть, и я его сыщу, говоритъ. И что-жъ, сыскала вѣдь.

— А какъ? ужъ совсѣмъ заинтересовалась Дашутка.

— А такъ. Надѣла разъ дѣвка кафтанъ молодецкой, подпоясалась кушакомъ, шапку на бекрень надвинула, рукавицы взяла, да и пошла на Тускару-рѣку, на бой на кулачной.

— Вона, дѣвка какая! воскликнула Дашутка, все болѣе и болѣе заинтересовываясь рассказомъ Фивы.

— Дѣвка бѣдовая! подтвердила Фива, и продолжала: тамъ ужъ было, на Тускарѣ-то, на рѣкѣ, народу много-премного. Все больше парни молодые, здоровые. Побѣжали и мы, дѣвки, хохочучи, за Павлюшкой-то. Что, молъ, думаемъ, будетъ дѣлать Павлюшка? А Павлюшка... чтожъ бы ты думала, красавица моя?... Павлюшка то-жъ на кулачки биться пошла. Такъ и пошла.

— Ну, далѣ? встала изъ-подъ окна Дашутка, и подошла къ Фивѣ.

— А далѣ... далѣ-то—сперва хорошо, потомъ плохо. Павлюшка-то, вѣдь, парня свою нашла. Глядь,—а онъ бѣжить прямо на нее, и точь въ точь такой, каковъ приходилъ къ ней въ баню. Видѣли мы, что Павлюшка вскрикнула, да такъ и стала на мѣстѣ. А парень на нее: „Бережись, кричить, а то зашибу!“ А дѣвка ни съ мѣста. Глядитъ, глаза выпуча, да рдѣетъ вся лицомъ, что ягодка. Тутъ парень и угодилъ ей „подъ хряшки въ бока.“ Покачалась дѣвка маленечко, прошептала тихохонько: „милый, милый,“ да и свалилась на снѣгъ. Мы кричатъ, плакать, парня укорять. А онъ: „не зналъ, не вѣдалъ, дѣвицы красавицы, простите!“ А самъ наклонился надъ ней, да и взвылъ: „Да вѣдь я-то тебя, дорогая, во снѣ видѣлъ, тобою, удалой молодецъ, бредилъ! Очнись! очнись!“ Очнулась Павлюшка, точно, что очнулась, да только для того, чтобъ вздохнуть на послѣдяхъ, да Богу душу отдать. Померла наша Павлюшка. Слышно, потомъ, и парень съ собой покончилъ: топоромъ въ груди́ну хлестанулъ. И ужъ были мы, дѣвки, тогда! ахъ, какъ много были мы тогда! заключила свой рассказъ Фива, и удивилась, глядя на Дашутку, стоявшую передъ ней съ пылающимъ лицомъ и со сверкающими удальствомъ глазами.

— Фивка! сейчасъ мнѣ кафтанъ, кушакъ, шапку, рукавицы!

приказала взволнованная дѣвушка. Хочу и я на кулачный бой, на Москву-рѣку! Хочу! У меня теперь своя воля!

Дашутка притопнула ногой.

Не болѣе какъ черезъ часъ, изъ воротъ малиноваго домика, скрипя полозьями, выѣхалъ возокъ. Бодрый савраска фыркалъ и порывался впередъ. Имъ правила, въ темномъ кафтанѣ, съ бараньей шапкой на головѣ, не узнаваемая теперь Фива. Въ возкѣ сидѣла Дашутка. Она была въ собольей шубкѣ, крытой зеленымъ бархатомъ и въ собольей же шапочкѣ съ зеленымъ же верхомъ.

— Ну, трогай! крикнула она. Сперва по Троицкой, потомъ на Москву-рѣку!

Конекъ вдругъ взмахнулъ головой, раза два сильно рванулся впередъ, перебилъ ногами и подхватилъ, несясь опрометью вдоль по длинной и гладкой, бѣлой улицѣ. Морозный воздухъ свистѣлъ мимо, и у Дашутки духъ захватывало, и все кругомъ и несло, и кружилось, и металось, какъ будто пересыпалось и падало.

— Пѣсню; Фивка! приказала удалая дѣвушка, когда возокъ, проскакавъ ямскую, мѣщанскую слободку, очутился на Троицкой дорогѣ.

И Фива, попридержавъ нѣсколько савраску, заорола дико модную въ то время въ Москвѣ пѣсню:

На селѣ, селѣ Покровскомъ,
Среди улицы большой,
Разыгралась, расплясалась,
Красна дѣвица душа!

Прохожіе только сторонились, заслышавъ эти здоровенные, вылетавшіе изъ здоровенной груди, звуки...

А звуки пѣсни все неслись, все неслись и таяли въ морозномъ воздухѣ и, казалось, имъ не будетъ конца. Здоровая была орать краснощекая, дебелая Фива-кучеръ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

М о л о д ц ы - у д а л ь ц ы.

Ярко-огненное, но холодное, зимнее солнце, низко стояло надъ обрамленными снѣгомъ садами Замоскворѣчья, когда бойкая савраска Душатки, вся въ инеѣ, подкатила къ церкви Николая Чудотворца на Берсеновкѣ.

Напротивъ этой церкви, на Москвѣ-рѣкѣ, на льду, почти во все прошлое столѣтіе, обыкновенно, происходили кулачные бои. Со всѣхъ сторонъ Москвы, въ полдень, послѣ обѣда, по воскресеньямъ и праздникамъ, а нерѣдко и въ будни, собирались удалые молодцы, чтобы потѣшить себя кулачнымъ боемъ, поразмять свои косточки да и чужихъ не пожалѣть.

Собирались для бою удалые молодцы, старые и молодые, да и подростки, какъ будто нечаянно, какъ будто мимоходомъ, на скорую руку. „Иду, молъ, Москвой-рѣкой, вижу народъ сволочился, грѣться собирается: отчего, молъ, и мнѣ не побаловать маленько, не погрѣться тожъ?“ И для подобнаго грѣтья, собиралось иногда народу тысячи по три, по пяти, при чемъ не мало было и просто глазѣющихъ людей, и людей изъ высшаго круга, да не мало и женщинъ, любовавшихся боемъ большею частію изъ своихъ закрытыхъ, ковровыхъ возковъ съ медвѣжьими полостями. Не упускали случая побывать „на бояхъ“ и молодые дѣвушки. Вообще, кулачный бой былъ для всѣхъ самой обыкновенной и при томъ самой любимой забавой.

Нѣсколько ранѣе, до Петра Великаго и при Петрѣ, кулачные бои имѣли даже довольно мрачный характеръ. Въ то время, охотники, обыкновенно, собирались въ партіи, лѣтомъ на широкихъ перекресткахъ, а то и просто на обширныхъ дворахъ домовъ, зимой — непременно на льду, и, такимъ образомъ, составлялись двѣ враждебныя стороны. По данному знаку свисткомъ, обѣ стороны бросались одна на другую съ криками: „бережись!“ и начиналась общая свалка, при чемъ, для возбужденія храбрости въ охотникахъ, особенные охотники-музыканты громко били въ бубны, и лихо играли на дудкахъ и свирѣляхъ. Бойцы поражали другъ

друга въ грудь, въ лицо, въ животъ, поражали неистово и жестоко, и очень часто многіе уходили съ боя калѣками, а другихъ выносили мертвыми.

Нерѣдко, вмѣсто кулаковъ, начинали драться палками, и эти бои имѣли подобіе какихъ-то своеобразныхъ турнировъ, сопровождавшихся, еще чаще кулачныхъ боевъ, убійствами. Не быть хоть разъ въ жизни хорошенько битымъ, считалось даже для „добра молодца“ своего рода позоромъ.

И въ самомъ дѣлѣ, могли ли быть срамомъ побои въ тѣ времена, когда все дралось съ верху до низу, и хвалилось дракой, какъ доблестью, и хвалилось крѣпостью своихъ боковъ съ синими пятнами, какъ природнымъ панцыремъ! Всякому мужчинѣ, со здоровымъ тѣломъ и здоровымъ кулакомъ, хотѣлось быть богатыремъ своей земли, и онъ не боялся ничего, ни передъ чѣмъ не падалъ духомъ, не клонилъ своей удалой башки, и народныя сказанія о мощности богатырскихъ ударовъ и о богатырской устойчивости въ перенесеніи тѣхъ ударовъ, являлись съ двумя вѣнками: одинъ надѣвался на нападающаго, который сразу ломалъ ребра и разбивалъ челюсти супротивника, другой вѣнокъ надѣвался на того, кто, молча, безъ стона, выносилъ подобныя увѣчья. Русское молодечество уже съ дѣтскаго возраста было помѣщено на такихъ картинахъ, на картинахъ беззавѣтнаго отчаянья и славы. Безраздумные удалцы, если не вѣрили въ свои сверхъестественные удары—разбей, молъ, черепъ,—за то крѣпко вѣрили въ молчаливое перенесеніе тяжкихъ побоевъ, да и смерть имъ геройской казалась. Они знали, что ежели кому изъ нихъ суждено лечь на смерть въ честномъ бою, гдѣ онъ пробовалъ свою желѣзную силу и свое желѣзное терпѣніе, то на похороны его будутъ смотрѣть изъ своихъ слюдовыхъ оконъ боярыни съ любовью, красныя дѣвицы съ грустью, горожанки изъ калитокъ съ печалью, и всѣ на разныя голоса промолвятъ: „Ай-да ясный соколъ! и стоялъ не пятился, и упалъ—не кручинился, и идетъ на смертный одръ—не охаетъ!“

Такъ бывало послѣ кулачныхъ боевъ, въ сумерки. А вечеромъ, у каждой, можетъ быть, зажженной лучины, или у свѣчки воска яраго, молва веда рѣчь о такихъ чудесахъ на бою, какихъ чудесъ и въ бою не бывало, но молвъ вѣрили на слово, и не смѣли ей не вѣрить. Не боялся такой молодецъ, коли прови-

нится, и кнута жгучаго не боялся, коли не былъ виновенъ, стать и передъ грозныя очи царицы, не боялся и дерзко упорствовать, коли не хотѣлъ выдать своихъ воровъ-товарищей.

Понятно, что такой молодецъ-удалецъ — и жить хотѣлъ, умереть былъ не прочь, да и семью свою любилъ особою богатырскою любовью. Но въ день казни что же ему напоминала его кровная, дорогая семья? какія картины пробѣгали въ его головѣ по дорогѣ на плаху? А несомнѣнно: грезилось ему его младенчество, когда онъ сидѣлъ на колѣняхъ у матери и смотрѣлъ въ окно слюдовое. А мимо несли подъ руки на-смерть убитаго молодца съ боя кулачнаго. А родимая его матушка словно теперь кричитъ ему на-ухо, какъ тогда кричала, въ окошечко: „Ай-да ясный соколъ, боецъ-сорванецъ! и стоялъ онъ — не пятился, и упалъ — не кручинился, и идетъ на смертный одръ, да не охаетъ!“ Въ отрочествѣ тоже участливое восклицаніе онъ слышалъ у калитки. Возмужавъ, онъ самъ ломалъ ребра товарищамъ. Въ зрѣломъ возрастѣ, за чаркой меда или браги, онъ слушалъ подобныя же рѣчи: „не бойся, молъ, пытки — бойся измѣны товарищамъ! не жалѣй тѣла — жалѣй слова! да и знай, что у молодца жизнь — копѣйка, а голова — дѣло найденное!“

Подъ вліяніемъ такого молодчества, среди мужчинъ, молодчествовали и женщины, не взирая на свое затворничество. Въ древней Руси многіе женщины и дѣвицы всю жизнь носили мужскіе кафтаны, да и стояли на ряду съ мужчинами. Когда было нужно, и женщина умѣла постоять за себя. Мы тому видимъ не мало примѣровъ въ пословицахъ и былинахъ. Говорилось: „Женина родня идетъ въ ворота, а мужняя въ прикалитокъ.“ Или: „Женина родня — отворяй ворота, мужнина — запирай ворота.“ Поговорки подтверждаютъ тоже. Забубенный парень-женихъ говоритъ своей удалой невѣстѣ: „Не тужи, красавица, что за насъ пошла: за нами живучи, не улыбнешься!“ И бой-дѣвка отвѣчаетъ: „Да и насъ возьмешь — не пѣсни запоешь.“ Потомъ такой же сорванецъ говоритъ такой же буйной головущкѣ: «Красна дѣвица! за нами живучи, за пустой столъ не сядешь, а всегда со слезами!» И дѣвка отрѣзываетъ отвѣтомъ: „За такую услугу и отъ нашей стряпни каждый медовой кусъ и вашего брата поперегъ горла станетъ!“ Мужья били своихъ женъ, били за вся-

кую малую вину, но и жоны умѣли мстить по своему. Не даромъ распѣвалась пѣсенка:

Ты жена, змѣя—скоропѣя лютая:
Изъ норы ползешь—озираешься,
По песку ползешь—извиваешься,
По травѣ ползешь—всю траву сушишь,
Изсушила ты въ полѣ травуныку.
Всѣ цвѣточки лазоревы!
Ты жена, змѣя подколотная!
Изсушила ты меня, молодца,
Какъ былинку на камешкѣ!

Пѣла и жена послѣ мужниной расправы:

У меня, молодой, строченые бока!
А и всѣмъ я не потѣшу дурака—
Я свою ли простофилю-муженька!
Поведу я домъ по своему уму.

И точно: она вела домъ по своему уму, и дурачила, какъ хотѣла, мужа, и эта нравственная пытка была для мужа болѣе побоевъ.

Есть указанія, что дѣвицы, въ борьбѣ, частенько побѣждали добрыхъ молодцовъ. Въ одной пѣснѣ парень подошелъ къ дѣвичьему хороводу, и хвастливо вызываетъ дѣвицу, которая бы могла съ нимъ погулять. Дѣвица такая отыскалась. Вышла, и говоритъ парню:

Стой-ка, молодецъ, обостойся,
Со мной, дѣвицей, пораздорься,
Пораздоривши, поборемся!
Дѣвка молодца поборола,
На немъ синь кафтанъ замарала,
Шелковый кушакъ изорвала,
Въ рукахъ тросточку изломала,
Пухову шляпу долой сбила,
Всѣ кудерочки столочила!

Такова-то была—и женщина, и дѣвушка, въ тѣ далекія, могучія времена, когда у всѣхъ, ради удовольствія, трескали бока и сворачивались на бокъ „салазки?!...“ Добродушное было время!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Б о е ц ъ.

Зеленая шубка Дашутки, въ родѣ кафтана-однорядки, и ея на бекрень надѣтая бобровая шапочка, сразу обратили на себя вниманіе одного силача, какъ только она выскочила изъ возка.

— Гей зеленъ кафтанъ безъ изъянь! крикнулъ онъ, оскаливъ зубы. Не бока-ль погрѣть, съ нами попрѣть, сюда прикатилъ? Коли къ намъ, такъ, стало, „изъ носу клюковный квасокъ пустить захотѣлъ!“ Ха-ха-ха!

Силачъ разразился грубымъ смѣхомъ, и сталъ поворачивать во всѣ стороны довольно пьяное и потому красное лицо свое, надѣясь найти въ окружающихъ сочувствіе своему остроумію.

Толпа вокругъ была велика. Но никто не обратилъ вниманія на шутку силача; всѣ наблюдали за двумя стѣнками мальчугановъ, которые дѣлали „починъ“, и съ гамомъ быстро кидались другъ на дружку и такъ же быстро отступали. Съ берега они казались налѣтающими другъ на дружку, чернымъ роемъ, мухами.

Кто-то въ толпѣ, съ берега, громко, но хрипло одобрялъ и подзадоривалъ мальчугановъ:

— Не робъ, не робъ, ребята! кричалъ онъ. Вали валомъ—будетъ ломъ!

Въ толпѣ слышались смѣхъ, шутки, замѣчанія:

— Дробны севодня чтой-то ребятки!

— Ребятки—мякина!

— Дрянъ ребята!

— Ономедни не въ примѣръ ходовитѣе были.

— Тѣ были ходовитѣе!

Со стороны „стѣнокъ“ слышался шумъ и визгъ. Ребятишки, воодушевленные и холодомъ и насмѣшками, съ ожесточеніемъ бросились другъ на дружку. Въ одно мгновеніе все смѣшалось и перепуталось. Обѣ враждующія стороны представляли ужъ теперь одну громадную кучу, изъ которой какъ-то странно мелькали головы и руки борющихся. Общаго шума и визга уже не было.

Слышались одни только одиночные, точно молящіе о пощаде, выкрики. Затѣмъ, всѣ враждующіе, какъ бы по командѣ, стали разсыпаться и бѣжать другъ отъ друга. На льду, однакожъ, осталось нѣсколько борющихся, которые медленно приподнимались и очищали съ кафтанишекъ снѣгъ.

Среди нихъ вдругъ очутился низенькій, толстенный мужичекъ, махая руками въ рукавицахъ, и крича во все горло:

— Ребятки! разбѣгайтесь! долой, ребятки!

Ребятки торопливо улепетывали по сторонамъ, нѣкоторые хныча, нѣкоторые прихрамывая, и вскорѣ мѣсто, гдѣ они боролись, совсѣмъ очистилось. Остался на немъ одинъ мужичекъ, къ которому мгновенно, точно выскочившій изъ-подо льду, росту нѣсколько повыше, но все же невзрачнаго вида, подбѣжалъ другой мужикъ, и хлопнулъ его по плечу:

— Дядя Ефремъ! пора и намъ! сказалъ онъ.

— Пора! было ему отвѣтомъ.

Дядя Ефремъ отскочилъ въ сторону, и пронзительно засвисталъ. На его свистъ отвѣтило со всѣхъ сторонъ еще нѣсколько свистковъ, и на ледъ, съ берега, быстро хлынула большая толпа бойцовъ, которые, точно хорошо обученные солдаты, торопливо раздѣлились на двѣ партіи и стали плотной стѣной другъ противъ друга. Нѣсколько мгновений прошло въ какомъ-то молчаніи. Потомъ, съ обѣихъ сторонъ, одновременно, слышались выкрики, похожіе на лошадиное ржаніе, и обѣ толпы ринулись другъ ко другу, и все мгновенно смѣшалось въ этомъ хаосѣ криковъ, возгласовъ, стоновъ, брани и какого-то необыкновеннаго пыхтѣнья и храпа...

Кулачный бой начался по всѣмъ правиламъ, какія были созданы только для этого рода потѣхи...

Нѣсколько минутъ Дашутка не трогалась съ мѣста, стоя на берегу, въ сторонкѣ. Но ее подмывало бѣжать туда, гдѣ происходила борьба, и она не выдержала, наконецъ: крикнула Фивѣ беречь савраску, и бросилась на ледъ. На льду, она, не помня себя отъ какого-то дикаго упоенія при видѣ этихъ падающихъ и кричащихъ людей, съ жаромъ бросилась на перваго попавшагося борца, и ударила его кулакомъ прямо въ грудь. Тотъ пріостановился, измѣрилъ соперника ровнымъ холоднымъ взглядомъ, и

также ровно и холодно шагнулъ къ нему. Дашутка почувствовала боль въ боку, и зашаталась.

— Голова дутова! кто-то проговорилъ надъ ней. И усишки еще не показались, а туда же—въ драку лѣзетъ!

Когда Дашутка очнулась отъ жгучаго холода на головѣ, то ее поддерживалъ тотъ самый боецъ, котораго она ударила въ грудь. Онъ теперь ласково смотрѣлъ ей въ глаза, и тихо спрашивалъ:

— Говори: гдѣ ты живешь? я отвезу тебя домой...

— Тамъ... тамъ...

Дашутка указала, гдѣ стояла ея савраска.

— Ахъ, дурочка, дурочка! шепталъ ласково боецъ, не переставая заглядывать ей въ глаза.

И Дашуткѣ почему-то хорошо было отъ этого взгляда, и она невольно прижималась къ тому, кто ее несъ, какъ ребенка, къ возку.

Въ возкѣ она опять позабылась, и только, какъ будто сквозь сонъ, помнила, что кто-то говорилъ возлѣ нее, и изъ всего этого разговора она почему-то запомнила одно слово, и оно одно наполнило весь ея больной мозгъ, и слово это было—Салтыковъ...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Подъ волчій вой.

Дашутка очнулась у себя только на постели, совсѣмъ раздѣтая. Возлѣ нее сидѣла вѣрная Фива, ахала, что-то шептала и прикладывала ей къ лѣвому боку какія то тряпки. Бокъ у ней тупо нылъ, но ей почему-то чувствовалось хорошо. Ее кидало въ тотъ жаръ, который такъ обыкновененъ послѣ обмороковъ.

— Экъ его, чортъ, саданулъ! какъ были ея первыя слова, когда она очнулась.

Фива заахала еще сильнѣе, и начала уговаривать дѣвушку успокоиться.

— Онъ былъ тутъ? спросила Дашутка послѣ нѣкотораго молчанія.

— Былъ, былъ, какъ же, былъ золотая моя! отвѣтила Фива. И какой добрый баринъ! ахъ, какой добрый баринъ! заключила она, припомнивъ нѣсколько золотыхъ монетъ, сунутыхъ ей въ руку добрымъ бариномъ.

— Кто онъ?

— Изъ военныхъ.

— Зовутъ какъ?

— Салтыковымъ зовутъ, Глѣбъ Алексѣевичъ по имени отчеству.

— Вишь, чорта понесло куда—на кулачный бой! произнесла дѣвушка, и задумалась.

— Что бочекъ-то? бочекъ-то? беспокоилась Фива.

— Пройдетъ бочекъ-отъ, не всегда-жъ ему болѣть! А ты скажи: долго онъ тутъ былъ? что дѣлалъ?

— Все сокрушался, золотая моя, все сокрушался! докладывала Фива. Ахъ, какъ сокрушался! «Злодѣй я, говоритъ, злодѣй! какъ я могъ не разобрать, что передо мною дѣвушка, и такая молоденькая, хорошенькая дѣвушка! Буду просить, говоритъ, прощенья, на колѣняхъ буду просить, буду цѣловать руки, ноги. Такъ говорилъ, золотая моя. А самъ нѣтъ-нѣтъ, да и посмотритъ на тебя. Я ему: „уйдите, баринъ, не хорошо такъ-то возлѣ дѣвочки быть!“ А онъ: „простите, простите, я совсѣмъ потерялъ голову!“ И все волосы ерошитъ, и все руки ломаетъ, и изъ угла въ уголъ мечется. Такая жалость было глядѣть на него, на бѣдненькаго!

— Вишь, толсторылый чортъ, тожъ на баръ заглядываться начала! прервала краснорѣчіе Фивы Дашутка.

— Ахъ, ахъ! заахала Фива. Чтой-то я за дура такая, чтобъ на важныхъ баръ заглядываться! Баре не про насъ. Мы народъ деревенскій, простой.

— А придетъ онъ опять?

Вечеромъ пріѣхалъ присланный Салтыковымъ докторъ. Это былъ сухой, какъ щепка, и длинный, какъ жердь, нѣмецъ, еле говорившій по-русски. Дашутка больного бока ему не показала и безъ церемоніи выгнала вонъ, когда онъ сталъ настаивать, чтобъ она показала больное мѣсто. Она даже такъ толкнула доктора въ грудь ногой, что тотъ еле удержался на мѣстѣ.

Обругавъ дѣвушку «русской свинья», докторъ уѣхалъ и, само собою разумѣется, болѣе не появлялся.

На другой день, съ утра, Дашутка поднялась, какъ ни въ чемъ не бывало. Она даже собралась было ѣхать отыскивать бойца, но тотъ предупредилъ ее: пріѣхалъ самъ.

— Ну, что? что? влетѣлъ къ ней Салтыковъ. Неужто боль прошла?

— Породы не великой—кулакомъ въ магилу не вгонишь, отвѣтила дѣвушка.

— Какъ я радъ! какъ я радъ! восклицалъ Салтыковъ, пожимая руку дѣвушки.

— Да рада и я, что вижу тебя, молодецъ! было ему откровеннымъ отвѣтомъ со стороны Дашутки. И право, ты молодецъ не на шутку, добавила она, любуясь на статную фигуру ротмистра и на его красивый гвардейскій мундиръ.

Какъ не былъ молодцовать и смѣлъ гвардіи ротмистръ, но такая откровенность со стороны дѣвушки сильно смутила его.

Онъ позамялся и бормоталъ:

— Точно... точно... у насъ мундиръ красивый... прекрасный у насъ мундиръ...

— Да не объ мундирѣ рѣчь. Рѣчь о тебѣ. На чучелу и золото надѣнь—все дрянъ будетъ.

— Точно... точно...

— Да ты не стыдись меня, молодецъ! Чай, красная-то дѣвица я, а не ты! смѣло говорила дѣвушка. Вишь какой! На кулачномъ бою стоялъ, не пятился, кулакомъ лихо работалъ, а тутъ передо мной въ конфузъ пришелъ! Не бойся, не кусаюсь, а коли и укушу такого молодца, какъ ты, такъ не больно!

— Все это такъ ново для меня, такъ неожиданно, объяснялся молодой ротмистръ, что, право, на моемъ мѣстѣ всякій бы растерялся!

— А еще ротмистръ! замѣтила дѣвушка, — и мундиръ надѣлъ такой красивой!

Она засмѣялась, и вдругъ схватила ротмистра за руку.

— Ну, ты, молодецъ-удалецъ! чего насупился? Будь веселей! Не по сердцу мнѣ тѣ, кто насупливается, да рѣчи съ бабой держать не умѣетъ!

Ротмистръ дрогнулъ. Прикосновеніе горячей руки молодой дѣ-

вушки къ его рукѣ обдало его какимъ-то жаромъ. А она стояла возлѣ него близко, совсѣмъ близко, такъ-что онъ слышалъ даже ея дыханье и чуть ли не бѣенье сердца.

Такъ прошло нѣсколько мгновений, въ которыя дѣвушка прямо и дерзко смотрѣла въ глаза молодого ротмистра, а тотъ и не зналъ, что сказать ей при такой „неожиданной оказіи.“

Затѣмъ, она потрянула головой.

— Пой! сказала она. Я кой-что надумала!

— Ну? вырвалось у ротмистра съ такимъ добродушіемъ, какъ будто онъ знакомъ былъ съ дѣвушкой давно и привыкъ держать себя просто и откровенно.

Дашутка поняла это.

— Вотъ и хорошо, что заговорилъ по человѣчьи! А то на-кось — стоитъ да глазами хлопаетъ, будто у него и языка нѣтъ! А надумала я вотъ что: нукося, молодецъ-удалецъ! прокати куда подалѣе свою кралечку, дѣвицу-красавицу, потѣшь ея сердечко-неразумное! Люблю я, молодецъ, ѣзду бойкую, отчаянную! Ой, какъ люблю!

— Га, да я и самъ охочъ до сего! отвѣчалъ ей ротмистръ.

— А коли охочъ, такъ и катимъ! У тебя своя лошадь-то?

— Левъ, а не лошадь.

— Съ кучеромъ, чай?

— Несомнѣнно.

— Ну, такъ ты кучера-то съ передка по-шеямъ. Онъ при насъ будетъ лишній. Самъ возжи возьми!

— Хорошо придумано.

Ротмистръ быстро вышелъ и отправилъ кучера домой. Возвратившись, онъ засталъ дѣвушку совсѣмъ уже одѣтой.

— Я готова, сообщила она.

— Любо! отвѣтилъ ей ротмистръ, и въ самомъ дѣлѣ залюбовался хорошенькой фигуркой дѣвушки. Въ своей собольей шубкѣ и собольей шапочкѣ она была просто восхитительна.

На дворѣ быстро темнѣло. И когда они выѣхали и проѣхали нѣсколько улицъ, наступила уже морозная и мѣсячная ночь. Но мѣсяцъ какъ-то тускло свѣтилъ въ туманномъ небѣ. Улицы были пусты. Слышались только изрѣдка звонкіе шаги торопившихся домой пѣшеходовъ, да по дворамъ лаяли неугомонныя собаки.

Сидя рядомъ съ дѣвушкой, ротмистръ, въ шитыхъ теплыхъ

перчаткахъ на рукахъ, ловко правилъ своимъ гнѣдымъ жеребцомъ, то и дѣло порывавшимся впередъ.

— Что Москвой-то валандаться! валяй куда подалѣе — за рогатки! предложила дѣвушка, увлеченная и скорой ѣздой и близостью молодого, красиваго человѣка.

— Куда-жъ? спросилъ ротмистръ.

— А куда самъ знаешь, только подалѣе... на большую дорогу... а то и въ лѣсъ... Эхъ, хорошо бы теперь въ лѣсу-то побывать, волковъ послушать!

— Можно и въ лѣсъ!

Ротмистръ повелъ возжами. Жеребецъ точно ждалъ этого — дрогнулъ всей своей статной фигурой, вытянулъ морду впередъ и засѣменилъ ногами.

Они быстро домчались до какихъ-то рогатокъ. Тутъ, было остановилъ ихъ караулъ. Но ротмистръ шепнулъ нѣсколько словъ дежурному сержанту, и тотъ, подобострастно отдавъ честь, самолично поднялъ рогатки, и гнѣдой помчался уже по широкой, загородной, проѣзжей дорогѣ.

— Гдѣ мы?

— За Крестомъ! отвѣчалъ ротмистръ.

— А... я это мѣсто люблю... я тутъ вчера ѣздила, да недалеко... ты теперь подалѣе... въ лѣсъ...

Гнѣдой быстро домчалъ молодыхъ людей до Алексѣевского. Село стояло темно и тихо, но нѣкоторые окна еще свѣтились яркими, лучинными огоньками. За Ростокинымъ, ротмистръ повернулъ гнѣдого въ лѣво, и они очутились на узкой, лѣсной дорожкѣ. Гнѣдой пошелъ тише, громко похрапывая и поводя ушами.

— Волковъ слышитъ, замѣтилъ ротмистръ.

— Гдѣ-жъ они? спросила дѣвушка. Покажъ мнѣ ихъ. Я еще ни разу не видала волка.

— Нѣтъ, они гдѣ нибудь далеко... тутъ ихъ нѣтъ...

— А придутъ они?

— Могутъ и придти.

— А страшно?

— Кому какъ. Мнѣ не страшно. У меня для нихъ есть хорошій гостинецъ.

— Ахъ, и я съ тобой ничего не боюсь! да я и такъ, одна, ничего не боюсь. Ты не знаешь, вдругъ начала дѣвушка какимъ-

то тихимъ, задушевымъ голосомъ, что про меня въ нашей округѣ нехорошо говорятъ.

— Что-жъ говорятъ?

— А называютъ меня „чортовой сержанткой.“

— Какое названье забавное! засмѣялся ротмистръ, стараясь заглянуть въ лицо дѣвушки, которое, чудилось ему, въ настоящую минуту было необыкновенно привлекательно.

И оно было дѣйствительно таково. Дашутка радостно пылала и темныя глаза ея горѣли подъ собольей шапочкой. Она все ближе и ближе прижималась къ молодому человѣку, и тому быстро и горячо передавался ея дѣвственный порывъ. Сердце его ныло сладостью, и онъ сознавалъ, что эта сладость не временная, не обманчивая, и что сидящая рядомъ съ нимъ красавица чувствуетъ тоже самое. „Она будетъ моя, рѣшилъ онъ про себя, — женюсь!“

Какъ бы угадавъ его мысль, дѣвушка спросила:

— А ты женатъ, аль нѣтъ?

— Нѣтъ, я не женатъ.

Дѣвушка помолчала, какъ-бы собираясь съ какими-то мыслями, и потомъ вдругъ начала:

— Э, коли такъ, такъ я, можетъ, тебѣ и подъ пару буду! Ты богатъ?

— Богатъ! произнесъ молодой человѣкъ. Но лучшаго богатства, какъ ты, я и не желалъ бы въ мірѣ!

— Не врешь?

Вмѣсто отвѣта, ротмистръ безцеремонно, отыскавъ губы дѣвушки, горячо впился въ нихъ поцѣлуемъ. Дѣвушка отвѣтила ему тѣмъ же, и когда слишкомъ продолжительный поцѣлуй прервался, сказала:

— Вотъ люблю молодца за обычай: беретъ дѣвицу сразу, въ дальній ящикъ дѣла не откладываетъ!

Не успѣла дѣвушка проговорить это, какъ вблизи, казалось въ нѣсколькихъ шагахъ, послышался протяжный волчій вой. Это было такъ неожиданно, что молодые люди невольно вздрогнули, какъ-то плотнѣе прижались другъ къ другу, а гнѣдой вдругъ рванулся впередъ.

Ротмистръ сдержалъ его порывъ. Гнѣдой сильно захрапѣлъ, наклонилъ голову, и пошелъ судорожнымъ шагомъ. Молодой че-

ловѣкъ началъ что-то вытаскивать изъ-подъ шубы. Но волчій вой раздавался уже въ сторонѣ и медленно удалялся.

— Стало, волкъ-отъ ушелъ? спросила дѣвушка.

— Ушелъ... испугался...

— А я, было, хотѣла посмотрѣть на него.

— Звѣрь не особливо занимательный, сказалъ ротмистръ, внутренно радуясь, что сѣрый непріятель отступилъ, и въ его душѣ зашевелилось смутное чувство какого-то предразсудка. Волчій вой, раздавшійся въ моментъ страстнаго поцѣлуя, вдругъ показался ему какимъ-то не особенно хорошимъ предзнаменованіемъ. Но это было мимолетное чувство. Чувство привязанности, чувство чужь возлѣ себя хорошенькое существо, которое только-что подарило его можетъ быть первымъ своимъ поцѣлуемъ, взяло верхъ. Онъ даже забылъ и о томъ, что отчасти ему сперва не нравилось въ ней— онъ забылъ ея довольно грубую рѣчь и грубое обращеніе. Какъ человѣку, хорошо по тогдашнему времени воспитанному и вращавшемуся въ высшемъ кругу московскаго общества, ему не могло это особенно нравиться.

Но—чего не забываетъ молодость, чего она не прощаетъ за свою первую любовь, когда чувства кипятъ, кровь волнуется и все окружающее дышетъ радостью и привѣтомъ!

Онъ молча обнялъ дѣвушку, и застылъ въ этомъ положеніи, и задумался, счастливый, о томъ, какъ все въ мірѣ совершается случайно и неожиданно. Думалъ ли онъ, гадалъ ли онъ, отправляясь на кулачный бой, которымъ онъ нерѣдко, надѣвъ тулупъ и рукавицы, позволялъ себя забавлять, что онъ тамъ встрѣтитъ бойца— дѣвушку, которая, не смотря на свое темное происхожденіе, такъ быстро очаруетъ его, московскаго богача, аристократа и красавца, и такъ быстро приблизитъ его къ женитьбѣ. И все это совершилось въ теченіе какого нибудь дня! Онъ думалъ еще и о томъ, что скажутъ по поводу этого аристократическіе родственники, и не произойдетъ ли изъ всего этого, чего нибудь такого, что испортитъ всю его жизнь...

Дѣвушка, между тѣмъ, думала совсѣмъ иное.

— „Экъ, думала она, облапилъ, словно мѣдвѣдь лѣсной! А хорошо такъ-то сидѣть съ нимъ, съ молодцомъ“. И больше ничего.

А успокоившійся гнѣдой шелъ и шелъ все шагомъ. А мѣсяцъ

на небѣ свѣтилъ ярко, очень ярко, и было кругомъ свѣтло, и казалось иногда, что по деревьямъ и по кустамъ перебѣгаютъ какіе-то странные шорохи и тѣни...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Грозная домоводка.

Родственники Глѣба Алексѣевича Салтыкова, дѣйствительно, горячо возстали противъ его женитьбы на дочери какого-то сержанта. Они составили между собою совѣтъ, разузнали хорошенько, кто такая была Дарья Николаевна Иванова, и пришли въ неописанный ужасъ отъ полученныхъ свѣдѣній. Но Глѣбъ Алексѣевичъ былъ человѣкъ независимый, имѣлъ независимое, громадное состояніе, и вліять на него было трудновато. Рѣшено было повліять на дѣвушку. Съ этою цѣлью, одинъ изъ родственниковъ, человѣкъ пожилой, рѣшительный и холодный, какъ ледъ, явился къ Ивановой, и заявилъ ей, что если она не откажется отъ Глѣба Алексѣича, то ей въ Москвѣ не сдобровать.

Дѣвушку это возмутило.

— Черти вы мазаные! загорячилась она. Да на кой мнѣ чортъ вашъ баринъ! Я и безъ него проживу, какъ захочу! А коль онъ самъ ко мнѣ навязывается, такъ мнѣ не стать же гнать его по шеямъ, какъ мошенника какого! Возьмите сами, да и не пускайте его ко мнѣ!

Пожилой и рѣшительный человѣкъ, находившійся, однакожъ, ужъ нѣсколько лѣтъ подъ вліяніемъ своей супруги, нѣсколько мгновений смотрѣлъ на дѣвушку испытующимъ, любопытнымъ взглядомъ, и почему то сравнивалъ свою супругу съ сидѣвшей передъ нимъ дѣвушкой.

А та не выдержала и вдругъ брякнула:

— Что бѣлмы-то выпучилъ? Аль, думаешь, не правду говорю? Дальнѣйшія объясненія были бесполезны, и потому рѣшительный человѣкъ поторопился уйдти. Совѣту родственниковъ онъ прямо и точно заявилъ, что Глѣбу быть женатымъ на такой чер-

товѣ и что, по его мнѣнію, даже бесполезно отговаривать его отъ подобнаго супружества: пожалуй, можетъ случиться съ нимъ что нибудь и похуже женитьбы.

Глѣбъ Алексѣичъ, между тѣмъ, ежедневно посѣщалъ свою дорогую Доню, какъ онъ началъ называть Дарью Николаевну, и съ каждымъ днемъ привязывался къ ней все болѣе и болѣе. Ему даже особенно начала нравиться эта безшабашность въ ней и это совсѣмъ не женское удалство. Уже его не смущали болѣе тѣ слова и тѣ выраженія, которыя нерѣдко сыпались изъ ея хорошенькаго ротика. Онъ находилъ въ этомъ своеобразную оригинальность, простоту, и ея звучныя и рѣзкія слова казались его слуху чѣмъ-то весьма очаровательнымъ. Нравились ему и ея манеры, размашистыя, мужскія манеры, съ примѣсью грубости. Въ особенности же онъ находилъ прелесть въ ея глазахъ. А между тѣмъ, ни одной мысли не свѣтилось въ ея бархатистыхъ, темныхъ глазахъ, тонувшихъ какъ будто въ безконечномъ созерцаніи. Они живоотно блестѣли спокойствіемъ хорошаго пищеваренія, отраженіемъ счастливаго дня, и только. При всемъ этомъ, идеаль Глѣба Алексѣича былъ страшно грубъ и отъ малѣйшаго сопротивленія приходилъ въ ярость.

Говорятъ, что крайности въ жизни сходятся. Въ отношеніи Ивановой и Салтыкова это подтверждалось какъ нельзя болѣе. Самъ Салтыковъ, молодой человѣкъ, хорошо воспитанный, былъ при томъ же и человѣкъ хорошей души, деликатный, уступчивый, всегда сдержанный.

Свиданія ихъ всякій разъ имѣли довольно своеобразный характеръ. Въ то время, какъ деликатный Глѣбъ Алексѣичъ меланхолически предавался наслажденію быть наединѣ съ милой дѣвушкой, — эта милая дѣвушка часто являлась къ нему изъ кухни съ засученными рукавами, простоволосая, красная, и рассказывала о томъ, какъ она только-что выругала Фиву, которая не умѣетъ хорошенько поджарить баранины, и при этомъ — тутъ же распространялась о качествахъ и о цѣнахъ на этотъ мясной продуктъ. Затѣмъ, она при женихѣ начинала одѣваться и чесать свои волосы, нисколько не стѣсняясь его присутствіемъ и перекидываясь съ нимъ кое-какими фразами. Женихъ, при этомъ, имѣлъ удовольствіе видѣть вполне развившуюся и здоровую фигуру невѣ-

сты, ея здоровый станъ и здоровую шею. Онъ, изъ деликатности, отворачивался, но невеста прикрикивала:

— Чего отвернулся? Аль на дворъ-отъ веселей глядѣть, чѣмъ на меня? Чай мы теперь не чужіе!

Глѣбъ Алексѣичъ слушался своей невесты, и все время при ней находился въ какомъ-то опьяненіи. Она поражала, она изумляла его, она производила его въ какой-то одуряющій восторгъ.

По вечерамъ, при огнѣ, когда они сидѣли вдвоемъ, она дѣлалась нѣжнѣе, но и въ этой нѣжности слышалась, вмѣстѣ со страстью, и какая-то дикая необузданность.

Обниметъ она жениха, поцѣлуетъ его крѣпко, чуть не укуситъ, и спрашиваетъ:

— Ну, что—ладно такъ-то, чортъ этакой?

— Ахъ! вздохнетъ женихъ, и примется шептать ей тѣ рѣчи, тѣ горячія, безтолковыя слова, которыя такъ хорошо извѣстны всѣмъ влюбленнымъ, и при этомъ онъ болѣе всего повторяетъ: Ахъ, Доня! ахъ, милая Доня! какъ ты мнѣ стала дорога! какъ обожаю я тебя!

— Все-то ты врешь, Глѣбка! вдругъ обрѣжетъ его милая Доня и захохочетъ во все горло.

Глѣбъ Алексѣичъ растеряется, молчитъ, и думаетъ: „гибну, гибну...“

И точно: въ свое время онъ погибъ. Онъ сдѣлался мужемъ женщины, которая, съ первыхъ же дней замужества, явилась передъ нимъ въ такомъ видѣ, что онъ пришелъ въ ужасъ.

Поселились они въ собственномъ домѣ Салтыкова, на Лубянкѣ, въ приходѣ церкви Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы. Домъ этотъ для своей молодой жены Салтыковъ отдѣлалъ со всей роскошью тогдашней моды, но сразу оказалось, что та, для кого все это дѣлалось, вовсе не поклонница прихотей. Она, захвативъ весь домъ въ свои руки, быстро уничтожила роскошь и обратила все свое вниманіе на кухню и на прачечную. По всему дому, съ утра до вечера, началъ раздаваться ея звонкій, рѣзкій голосъ, и въ тоже время начали по всѣмъ угламъ дома раздаваться и звонкія пощечины, а на конюшнѣ крики и вопли. Весь домъ, наполненный мужской и женской прислугой, вдругъ притихъ, присмирѣлъ, и все вдругъ зашептало и начало прятаться по темнымъ уголкамъ, боясь встрѣчи съ той, которая такъ грозно начала царить въ домѣ.

Робѣлъ передъ нею даже самъ мужъ и, богатый, блестящій московскій аристократъ, превратился въ подобіе какой-то угнетенной овцы. Все родство его покинуло, дома его никто не посѣщалъ, и онъ быстро осунулся и началъ сѣдѣть, самъ не понимая, какъ все это могло совершиться, и совершиться такъ быстро, такъ печально. Передъ женой онъ даже боялся пикнуть и не смѣлъ даже заступиться за своихъ любимыхъ слугъ, которыхъ жена часто, безъ всякой причины, подвергала наказаніямъ.

На лѣто супруги перебрались въ сельцо Троицкое, Подольскаго уѣзда. Въ сельцѣ Дарья Николаевна завела тѣ же порядки. Пошла та же строгость, тотъ же крикъ, тотъ же гамъ, тѣ же пощечины и побои слугъ, чѣмъ попало. Глѣбъ Алексѣичъ захирѣлъ еще болѣе. Не унывала одна героиня всей этой кутерьмы. Она, по прежнему, была здорова, весела, хорошо ѣла, хорошо пила, спала превосходно, и весело бесѣдовала со своей прежней любимцей, Фивой, которая стала теперь у ней правой рукой и безъ ея участія не обходилась ни одна расправа. Слава о жестокостяхъ новой помѣщицы быстро начала распространяться въ окрестностяхъ, и она въ устахъ народа получила названіе не помѣщицы, не барыни, а просто—Салтычихи, и это названіе такъ упрочилось за ней, что иначе ее нигдѣ и никакъ не называли, какъ Салтычихой. Слухи о ея жестокостяхъ дошли, конечно, и до подобающихъ властей. Сдѣлано было негласное разслѣдованіе, но результатъ, благодаря ея богатству и предупредительности, получился весьма благопріятный. Всѣ дворовые въ одинъ голосъ отзывались, что никакихъ жестокостей отъ барыни они не видятъ, а, ежели она иногда и наказываетъ ихъ, то наказываетъ матерински и за что слѣдуетъ. Одинъ изъ дворовыхъ, по недомыслію, заикнулся, было, о чемъ-то, но за то онъ долго потомъ помнилъ и кулаки и скалку Салтычихи.

Природа, между тѣмъ, дѣлала свое дѣло: въ свое время Салтычиха родила сына. Это нисколько не обрадовало захирѣвшаго отца, и онъ съ грустью встрѣтилъ появленіе на свѣтъ первенца. Не особенно была рада первенцу и сама мать, Салтычиха.

— Экъ, поросенокъ-то какой вышелъ! смѣялась она съ Фивой, когда показали ей ея дѣтище.

Однакожъ, мать сама кормила „поросенка,“ а Фива отъ „поросенка“ была просто безъ ума.

„Поросенка“ назвали Федоромъ.

Грустный, усталый, всѣми позабытый, а родственниками просто презираемый, Глѣбъ Алексѣичъ нашелъ себѣ наконецъ маленькое утѣшеніе. Въ числѣ его дворни была простая дѣвушка, дочь кучера, по имени Хрисія. Маленькая, румяная, тихая, она обратила на себя вниманіе Глѣба Алексѣича, и онъ привязался къ дѣвушкѣ, какъ привязался когда-то къ настоящей женѣ своей, Дарьѣ Николаевнѣ.

Само собою разумѣется, что это не укрылось отъ зоркаго взгляда Салтычихи, но по какому-то странному капризу, она не преслѣдовала за это мужа и даже какъ-будто поощряла его въ его привязанности.

— Ты, Глѣбушка, не стѣсняйся, говорила она ему наединѣ, живи себѣ съ Хриськой, потѣшайся, только, смотри, чтобъ она не стала у тебя за барыню! тогда и ей и тебѣ плохо придется!

— Ахъ, Доня! что ты, что ты! какъ могъ, оправдывался Глѣбъ Алексѣичъ. Ты видишь мое здоровье... мнѣ вовсе не до шалостей...

— Да за то до дѣвичьяго личика румянаго! Все, дружокъ мой, знаю, не оправдывайся. Только еще тебѣ скажу: не забывай, подь часъ, и меня, старуху — все-жъ я жена тебѣ, не чужая.

Хрисія была до того безъ всякихъ претензій, что о желаніи ея „стать барыней“ не могло быть и рѣчи.

Все-жъ, Салтычиха нашла нужнымъ предупредить и ее:

— Ты, съ косами русыми, на шеѣ съ бусами! позвала она къ себѣ дѣвушку. Ты у меня шали, да не зашаливайся, а не то и съ лозою спознаешься! Вонъ у меня ея сколько по рѣчкѣ растетъ: хватить на твою спину-то на дѣвичью.

Дѣвушка бухнулась Салтычихѣ въ ноги:

— Барыня!.. да за что!.. на все твоя барская воля... что повелишь, то и сдѣлаю...

— То-то! пригрозила милостиво Салтычиха.

Однакожъ, не прошло и трехъ мѣсяцевъ послѣ того, какъ Глѣбъ Алексѣичъ обратилъ вниманіе на Хрисію, а ужъ Хрисія начала отчего-то быстро вянуть, и наконецъ увяла совсѣмъ.

Глѣба Алексѣевича это сразило, какъ ножомъ: онъ самъ слегъ въ постель. А супруга въ тихомолку посмѣивалась съ Фивой.

— Вотъ такъ-то, Фивка, лучше будетъ.

— Вѣстимо, золотая моя, поддакивала Фива. Безъ шуму, безъ гаму завсегда лучше.

Четыре года надъ домомъ Салтыковыхъ прошли, какъ проходили они ранѣе. Грозная правительница оставалась тою же, какою была. Самъ Глѣбъ Алѣксѣичъ нѣсколько поправился, и даже сдѣлался снова отцомъ: Салтычиха снова родила, и родила опять мальчика, котораго назвали Николаемъ, и который почему-то пришелся по душѣ и отцу и матери. Старшій сынъ, уже подросшій и уже бойко бѣгавшій по саду, попрежнему оставался любимцемъ Фивы, которая какъ-то не старѣла, но за то сильно сохла и превращалась въ типъ настоящей вѣдьмы. Да вѣдьмой ее и звали всѣ дворовые.

Но дни Глѣба Алѣксѣича были уже сочтены: ровно черезъ два года послѣ появленія на свѣтъ втораго сына, онъ тихо угасъ въ своемъ домѣ, на Лубянкѣ, и похороненъ въ родовомъ склепѣ, въ Донскомъ монастырѣ.

Молодая вдова не проронила ни одной слезинки надъ могилой своего мужа, надъ могилой того, чью жизнь она загубила безвременно и безправно и кто оставилъ ей все-таки все свое громадное состояніе.

Сдѣлавшись богатой, независимой и при томъ же молодой вдовой, Салтычиха еще болѣе дала простору своей необузданной, дикой натурѣ, и ужъ не знала удержа тѣмъ кровавымъ, безчеловѣчнымъ поступкамъ, которые, съ ужасающими подробностями, занесли ея имя въ уголовныя хроники, и которая своими злодѣйствами надъ крѣпостными людьми ужаснула XVIII столѣтіе, и въ концѣ концовъ—слово Салтычиха сдѣлалось словомъ почти браннымъ.

CERCLE RUSSE

VILLE DE MONTREAL

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Дикая натура.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Оскорбленный дворянинъ.

Никогда еще домъ Салтычихи въ ея сельцѣ, въ Троицкомъ, не былъ такъ шуменъ и безпокоенъ, какъ въ тотъ осенній вечеръ, когда сама Салтычиха возвратилась изъ сторожки Никонора, въ сопровожденіи молодого инженера, Тютчева.

Прежде всего, во всю дорогу, она, на чемъ свѣтъ стоитъ, со свойственною ей грубостью, бранила молодого инженера, называя его самыми поносными именами.

На оправданія же его, она кричала одно:

— Не ври, не ври, падалъ московская! я все видѣла, и все замѣтила, чортовъ огузокъ!

— Фи, Доротъ, какъ ты выражаешься! брезгливо, но уступчиво отвѣчалъ на это „чортовъ огузокъ.“

— Сто разъ тебѣ твержу: что я тебѣ за Доротъ такая далась! Дарьей зовутъ—зови Дарьей и ты! Экъ, словцо отыскалъ, и ты-чется имъ, какъ мужикъ съ коломъ за скотиной! Доротъ, Доротъ, Доротъ! да песья нога тебѣ въ ротъ, коли я Доротъ!

— Фи! фи! фи! могъ только отвѣтить на это порицаемый инженеръ.

Не успокоилась обозленная Салтычиха и дома. Когда они вдвоемъ сѣли за ужинъ, она замѣтила:

— Тебѣ бы и жрать не надо, Тютченька! Люди говорятъ: на голодное брюхо дурь въ голову не лѣзетъ!

Какъ не привыкъ молодой инженеръ къ выходкамъ Салтычихи, но теперешняя придирчивость ея начала злить и его.

— Государыня моя! сказалъ онъ сухимъ тономъ. Пора бы и уважить меня хоть сколько бы то ни было, изъ уваженія къ тому, что я всетаки такой же дворянинъ, какъ и вы! Прошу!

— Чего ты просишь-то, оглашенная башка?

— Того прошу, чтобы вы меня уважили нѣсколько, государыня моя!

— Ну, чтожъ, и уважу! отвѣчала, помолчавъ съ минуту, Салтычиха! А теперь, вотъ,—кушай-ка щи! Говорятъ: безъ щей — будешь кашей! Не люблю я, Тютченька, кашеевъ-то!

— И въ сихъ словахъ, государыня моя, поднялся съ мѣста Тютчевъ, я вижу тоже обиду своей особѣ!

— Эва, особа какая нашлась! Много такихъ-то особъ по Москвѣ ходить, Христа ради просить. Таковскій и ты молодецъ.

Тютчевъ вспыхнулъ.

— Я служащій человѣкъ, я имѣю занятіе, и Христа ради по Москвѣ не хожу!

— А не ходишь — пойдешь! продолжала злорадствовать Салтычиха.

— Не правда-съ! вскрикнулъ Тютчевъ, и нервно зашагалъ по комнатѣ.

Потомъ онъ остановился передъ Салтычихой, которая уже медленно и съ аппетитомъ ѣла щи деревянной ложкой, остановился — и съ укоромъ заговорилъ:

— Государыня! для того ли я знакомился съ вами, чтобы вы меня такъ позорить изволили! Скажите мнѣ?

— И скажу! отвѣчала Салтычиха, медленно пережевывая кусокъ чернаго хлѣба.

— Что скажете?

— Скажу: сама не знаю, не вѣдаю, для какого чорта я встрѣтила тебя, такого удалца-молодца!

— Немного-съ сказали!

— Да немного и времени-то мы съ тобой изъ одной миски щи хлебаемъ!

Дѣйствительно, Салтычиха познакомилась съ Тютчевымъ весьма

недавно, всего только мѣсяцевъ пять тому назадъ. Это было въ маѣ. Охотница до прогулокъ на чистомъ воздухѣ, Салтычиха вздумала какъ-то прокатиться вмѣстѣ съ Фивой по опушкѣ своего лѣса. Въ то самое время, какъ телѣжка Салтычихи медленно и безшумно катилась по мягкой проселочной дорожкѣ, въ лѣсу, не въ далекомъ отъ нихъ разстояніи, раздался выстрѣлъ изъ ружья.

— Это у меня откуда стрѣлки-то показались? пріостановивъ лошадь, крикнула Салтычиха.

— Може, Никоноръ, полѣсовщикъ, скромно замѣтила Фива.

— Совсѣмъ не Никонорово ружье, я чую... сказала Салтычиха. Да тотъ и не посмѣлъ бы стрѣлять, зная, что я ѣду.

— Это точно-съ, выстрѣлъ быдто господскій, согласилась Фива.

— Такъ, подь-ка, узнай, кто таковъ стрѣлокъ-отъ удалый?

Фива соскочила съ телѣжки, и быстро скрылась въ лѣсу.

Не болѣе какъ минутъ черезъ пять, она вышла изъ лѣсу уже не одна. Впереди ея шель молодой человѣкъ въ какомъ-то странномъ, изъ сѣраго грубаго сукна, охотничьемъ костюмѣ, съ длинностволымъ ружьемъ черезъ плечо.

— А! такъ это ты стрѣлокъ-отъ? встрѣтила молодого человѣка Салтычиха.

Стрѣлокъ нѣсколько сконфузился, но тотчасъ же оправился, и учтиво подошелъ къ сидѣвшей въ телѣжкѣ Салтычихѣ.

— Прошу прощенія, началъ онъ, что позволилъ себѣ охоту въ вашихъ владѣніяхъ.

— А ты кто? уставилась на него Салтычиха.

— Тютчевъ, Николай Афанасьевичъ.

— Сосѣдъ мнѣ?

— Не имѣю чести.

— То-то, не помню никакого Тютчева-то по сосѣдству. Помѣщикъ?

— И того нѣтъ.

— Такъ кто-жъ ты?

— Инженеръ.

— Ну, стало быть, птица невелика.

— Но, позвольте, государыня моя, надумался наконецъ Тютчевъ, съ кѣмъ же я имѣю честь говорить?

— Салтыкова, молодчикъ, Салтыкова, Дарья Николаевна.

— Салтычиха! невольно сорвалось съ языка молодого человѣка, и онъ даже отступилъ на шагъ назадъ.

Салтычиха вдругъ разразилась хриплымъ смѣхомъ.

— Вона и тебѣ я, молодцу, вѣдома!

Тютчевъ растерялся.

— Вѣдома... точно-съ... точно-съ. Но... простите, государыня, мою нескромность, ошибку... Мнѣ вовсе не было извѣстно, что вы, государыня моя...

— Буде болтать-то! перебила его Салтычиха. Чай, не звѣря передъ собой видишь-то—человѣка. Я, молодецъ, баба простая, хорошая. А что про меня худо говорятъ, такъ чортъ съ ними! На чужой ротокъ не накинешь платокъ!

— Это точно-съ... точно-съ... бормоталъ, все еще не оправившійся отъ смущенія, Тютчевъ.

— Да чего тебя такъ проняло-то, молодчикъ? Поуспокойся!

— Я ничего-съ... Но... позвольте мнѣ, государыня моя, вамъ низко и почтенно откланяться.

— Не торопись. Пожалуй ко мнѣ сперва на миску щей, а потомъ и уходи.

Тютчевъ согласился, хотя отчасти и нехотя. И ему были извѣстны продѣлки Салтычихи. Въ домъ ея вошелъ онъ даже съ нѣкоторымъ трепетомъ. Но вскорѣ какъ-то освоился, пріободрился и, подвыпивъ порядочно салтычихинскихъ наливокъ, разболтался, и имѣлъ счастье понравиться самой хозяйкѣ. Къ вечеру они уже были своеобразными друзьями. Съ этого дня Тютчевъ почти каждый день пріѣзжалъ изъ Подольска, гдѣ онъ жилъ, въ Троицкое, и проводилъ пріятно время въ сообществѣ Салтычихи.

Такъ время шло до того октябрьскаго вечера, въ который между ними началась ссора.

Ссора эта теперь не прекращалась, и готова была превратиться въ настоящую бурю.

Такъ и случилось.

Выслушавъ обидныя для себя слова, Тютчевъ, въ угрожающей позѣ, остановился передъ Салтычихой.

— Чего всталъ? чего бѣльмы выпучилъ? въ свою очередь, угрожающе произнесла Салтычиха.

— Наконецъ... наконецъ... наконецъ... заговорилъ Тютчевъ вдругъ презрительнымъ, взволнованнымъ голосомъ...

И остановился.

— Чего наконецъ? чего? впилась въ него глазами Салтычиха, и стала ждать, что онъ скажетъ.

Тютчевъ, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ по комнатѣ, сталъ глядѣть въ упоръ на Салтычиху.

— То, государыня моя, наконецъ, что такъ поступать не позволительно! выпалилъ молодой инженеръ, и отступилъ на шагъ назадъ отъ Салтычихи.

— Ты это чего же взѣлся, чортовъ огородникъ? было вопросомъ разгорячившемуся молодому человѣку.

— Того, государыня моя, что вы, наконецъ, и со мной хотите поступать, какъ со своими дворовыми! Но это несуразно и совсѣмъ не по дворянски!

— Го, го, какой дворянинъ отыскался новой! злорадно засмѣялась прямо молодому человѣку въ глаза Салтычиха.

— Точно-съ, дворянинъ-съ!

— Оно и видно!

— Смѣю васъ увѣрить!

— Не увѣрай! Сама вижу — дворянинъ! Тѣльце прикрыто, а рыло глядитъ въ карыто!

— Отъ васъ, государыня моя, только такія несуразности и слышать можно!

— Ты больно суразенъ! Языкомъ, что вѣникомъ: только и знаетъ, что соръ заметаешь.

— Да-съ, это точно-съ! заходилъ Тютчевъ нервными шагами по комнатѣ. У васъ сору-съ много! очень много сору-съ! Пора бы этотъ соръ и со двора долой!

— Ужъ не пора ли тебя самого со двора! уязвила молодого человѣка Салтычиха.

— Я и самъ уйду! А я — не соръ-съ, государыня моя! Вамъ доподлинно самой извѣстно-съ, и извѣстно хорошо-съ, что я васъ не искалъ, не навязывался на вашу благосклонность, — вы сами нашли меня, сами первая искать моего знакомства изволили! Вѣдь, такъ-съ, государыня моя?

— Запamтовала чтой-то, молодецъ! А вотъ про то хорошо помню, какъ я тебя, оболтуса голаго, одѣла да обула! Про то помню хорошо!

— А про то забыли, какъ я о васъ хлопоталъ въ юстицъ-кол-

легин, бѣгалъ, просилъ, и добился оправданія въ томъ, за что бы васъ, государыня моя, слѣдовало... знаете, куда?

Салтычиха вскочила.

— Молчи! зашипѣла она, какъ змѣя. Молчи, щенокъ безхвостый!... не то...

Тютчевъ, взволнованный, покраснѣвшійся, смѣло стоялъ передъ лютой, взбѣлѣннвшею женщиной.

— Что — не то?

— Лозой попотчую!

— Дворянина-то?

— Дворянина!

— Не смѣешь того сдѣлать, мерзавца!

— Не смѣю?!

— Не смѣешь!

Салтычиха захлопала въ ладони, и закричала, что было силъ:

— Акимка!... Сидорка!... сюда!... скорѣйча!...

Черезъ минуту, въ дверяхъ появились безмолвные лица нашихъ старыхъ знакомыхъ: кучера Акима, и двороваго, Сидорки, возлюбленнаго молодца Никоноровой Галины.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Волчья погребница.

Подъ такимъ своеобразнымъ названіемъ, „волчья погребница“, у Салтычихи, въ ея сельцѣ, Троицкомъ, было извѣстно всѣмъ и дворовымъ и всѣмъ крѣпостнымъ, длинное, низкое зданіе, родъ свлада, сложенное изъ громадныхъ булыжныхъ камней и крытое красной черепицей. Совсѣмъ отдѣльное, безъ всякихъ украшеній, оно стояло далеко и отъ барскаго дома и отъ другихъ жилыхъ и нежилыхъ построекъ. Съ маленькой дубовой дверью и съ какими-то отверстіями, въ родѣ отдушникъ, которыя, однакожъ, считались окнами, зданіе это производило необыкновенно тяжелое впечатлѣніе. Громадные булыжники, сѣрые и темные, скрѣпленные бѣловатымъ цементомъ, казались иногда, при закатѣ солнца, когда

красные лучи его ярко ударяли въ стѣну, какими-то гигантскими глазами, выглядывающими изъ огненного переплета. Во время дождей и хмурой погоды, оно выглядывало много сѣрѣе и много печальнѣе всего окружающаго, и было такъ уныло и непривѣтливо, что даже вороны и тѣ почему-то не всегда и неохотно садились на его черепичную, щетинистую крышу, почернѣвшую отъ времени и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ заросшую темнозеленымъ мохомъ. Открытое со всѣхъ сторонъ, оно заносилось зимой снѣгомъ, и только въ крайнемъ случаѣ къ нему протаптывали тропинку. Лѣтомъ, въ хорошіе, ясные дни, оно какъ будто нѣсколько оживало, принимало болѣе пріятный видъ, и подъ его стѣны, всегда холодныя, охотно шли лежать, томимые жаромъ, и свиньи, и козы, и коровы, и собаки. Въ лунныя ночи, когда луна, блѣдная, стояло высоко на небѣ, или висѣла, красная, низко на горизонтѣ, „волчья погребница“ представляла изъ себя нѣчто чисто фантастическое: игра луннаго свѣта на стѣнахъ и на крышѣ погребницы дѣлала изъ нее нѣчто сказачное, хотя, въ сущности, это было наипрозаичнѣйшее строеніе и назначеніе его; было довольно мрачное. Это былъ своего рода острогъ, созданный Салтычихой для своихъ, сильно провинившихся, дворовыхъ и крѣпостныхъ. Туда запирали несчастныхъ на хлѣбъ и на воду, и держали иногда по нѣскольку недѣль въ сообществѣ съ волкомъ, который въ одномъ изъ угловъ былъ привязанъ на цѣпи. Вотъ почему и постройка получила названіе „волчьей погребницы.“ Эта была выдумка самой Салтычихи, и очень много забавляла ее.

— Ты волкъ, говорила она провинившемуся, ну, такъ и посиди съ волкомъ: все веселѣй, чѣмъ одному-то.

Волкъ попалъ въ погребницу совершенно случайно, и попалъ по милости полѣсовщика Никонора.

Какъ-то онъ высмотрѣлъ волчье гнѣздо; волчицу онъ оставилъ въ покоѣ, а волченка притащилъ къ себѣ въ сторожку, не имѣя духу покончить съ хищнымъ дѣтенышемъ сразу. Нѣсколько дней подрядъ осиротѣвшая волчица пробиралась къ сторожкѣ, и унылымъ воемъ напоминала полѣсовщику о своемъ одиночествѣ.

— Кини же ты его, батъка, за дверь, предлагала Галина. А то, что за охота слушать этотъ самый вой-то.

Никоноръ увѣрялъ дочь, что этого сдѣлать невозможно, такъ-какъ барыня приказала ему строго-настрого, ежели попадетъ

какой-либо звѣрь, то живого или мертвого, но непременно приносить или приводить къ ней.

— Такъ и отведи, посовѣтовала дочь. А то, вѣдь, у насъ-то и ѣсть ему нечего: гдѣ мы для него наберемся мяса-то. А молокомъ однимъ онъ сытъ не будетъ.

Никоноръ привелъ волченка къ барынѣ. Маленькій, сѣренькій хищникъ понравился Салтычихѣ, и она стала держать его въ комнатахъ, кормила изъ своихъ рукъ, но волчьей наклонности, когда онъ подросъ, проявились въ немъ во всей своей силѣ: онъ началъ драть куръ, поросять, трепать дворовыхъ собакъ. Сперва, было, Салтычиха приказала застрѣлить его, но потомъ отдумала, и велѣла привязать на цѣпь въ погребицѣ.

Въ тотъ же день одинъ изъ дворовыхъ парней, уличенный въ воровствѣ, былъ брошенъ въ погребицу. Парень былъ трусъ страшный, и волкъ пугалъ его болѣе, чѣмъ само заключеніе въ погребицѣ. Голодный, не привыкшій къ цѣпи, волченокъ рвался на цѣпи, лаялъ, вылъ, щелкалъ отъ злости зубами и грызъ цѣпь. Все это такъ напугало парня, что онъ и самъ взвылъ волкомъ. Салтычиху это забавляло, и она долго томила парня въ погребицѣ. Бѣднякъ на столько былъ трусливъ, что, выйдя изъ погребицы, сталъ худъ, какъ щепка и даже посѣдѣлъ. Салтычиха думала, что присутствіе волка въ погребицѣ будетъ и на другихъ заключенныхъ имѣть то же вліяніе, какое оно имѣло на воришку парня. Но этого не случилось. Другіе вовсе не трусили волка, и даже находили своего рода удовольствіе въ его присутствіи—все-таки живое существо. Нѣкоторые даже умѣли какъ-то заигрывать съ сѣрымъ пріятелемъ. Волка, наконецъ, съ цѣпи спустили, но онъ такъ освоился со своей сытой неволей, что ужъ и не покушался бѣжать, а очень спокойно лежалъ въ своемъ уголкѣ, или меланхолически бродилъ взадъ и впередъ у стѣны.

Съ годами, волкъ состарѣлся, но все еще жилъ, не покидая своего угла. Дворня съ нимъ такъ освоилась, что считала его за обыкновенную собаку.

Въ эту-то погребицу, въ сосѣдство къ волку, неожиданно попалъ и Николай Афанасьевичъ Тютчевъ, благодаря злой взбаломошности Салтычихи.

Какъ только лица Акимки и Сидорки появились у дверей, Салтычиха крикнула имъ:

— Засадите-ка этого молодца въ погребницу!

Акимба и Сидорка съ недоумѣніемъ смотрѣли то на барыню, то на Тютчева и не рѣшались приступить къ исполненію ея приказанія.

— Что-жъ стоите-то, оболтусы?! Скорѣйча!

Оба молодца ловко подхватили молодого инженера, и черезъ минутъ пять онъ былъ уже въ погребницѣ, въ совершенной темнотѣ, охваченный съ ногъ до головы сыростью. Все происшедшее съ нимъ такъ поразило его, что онъ не кричалъ и почти не понималъ, какъ все это произошло и почему именно. Придя нѣсколько въ себя, онъ понялъ всю безвыходность своего положенія и сталъ обдумывать планъ спасенія, давая десятки клятвъ довести все это до свѣдѣнія высшаго начальства. Какъ, его, дворянина, служащаго инженера, и засадить въ какой-то холодный сарай! О, нѣтъ, онъ никогда не проститъ этого злой женщины! Онъ поѣдетъ въ Петербургъ, онъ подастъ прошеніе самой императрицѣ, и взбалмошная, своевольная помѣщица будетъ наказана примѣрно!

— Да, да, все сіе будетъ! вель онъ рѣчь самъ съ собою. Всего сего я добьюсь непременно, непременно все сіе устрою! Какъ, меня, дворянина! восклицалъ онъ далѣе, и тысячу разъ сожалѣлъ о томъ, что связался съ подобной женщиной. И какъ я могъ! и какъ я повѣрилъ! О, нѣтъ, погоди же, змѣя, погоди! придетъ бѣда и на твою голову! Все открою, все докажу, всѣ твои ужасныя дѣла на чистую воду выведу! Осудятъ! въ Сибирь сошлютъ! въ кандалы закуютъ!... казнятъ смертию лютой!...

Между тѣмъ, та, на голову которой сыпалось столько ужасовъ, спокойно сидѣла въ своей комнатѣ, и вела бесѣду съ Фивой, сидѣвшей на полу, у ея ногъ:

— Пусть маленьчко похолодаеть тамъ-отъ, въ погребницѣ-то, говорила она. Авось, не такъ сердчишко-то его дурацкое стукотню поднимать будетъ: авось, поуймется маленьчко.

— Ахъ, поуймется, сладость моя, поуймется! вторила, скромно опустивъ глаза, Фива.

— А потаскушѣ ту тожъ надо бы проучить, какъ слѣдуетъ.

— Галинку-то?

— Кого-жъ больше! Ее, лѣсную пташечку!

— Ахъ, слѣдуетъ, золотая моя барыня, слѣдуетъ!

— Ты придумай-ка, Фивка, что либо такое, чтобъ этой дѣвчкѣ-чернавукѣ, этой шитой рожицѣ-то, довелось расхлебать то, чего ей и во снѣ не снилось никогда, дурѣ!

— Подумаю, золотая моя, подумаю! отвѣчала Фива. Ужъ такая-то дѣвченка непокорная—бѣда съ ней просто! Какъ-то мнѣ пришлость побывать по веснѣ-отъ въ сторожкѣ-то Никоноровой. Сидить, словно барыня какая, и глаза этакъ чортомъ скосила. Такъ и скосила глаза чортомъ—ей-ей, не лгу!

— А ты бы ей палкой, въ эти въ глаза-то чортовы! сказала Салтычиха, и зѣвнула во весь ротъ.

— Постелюшка готова, заявила торопливо Фива.

— А готова—уложи, еще разъ зѣвнула барыня.

Вскорѣ Салтычиха была уже въ постели. Фива сидѣла у ея ногъ, осторожно чесала ей пятки, и рассказывала какую-то длинную, монотонную сказку, подъ которую, наконецъ, барыня мирно и заснула. Вѣрная раба улеглась на полу, и тоже вскорѣ чутко задремала.

Узнавъ, что барыня опочиваетъ, разбрелась по своимъ угламъ и вся дворня, и тоже позаснула.

Не спалъ одинъ бѣдный заключенникъ, Тютчевъ. Какъ онъ не храбрился, какъ не стращалъ кандалами Салтычиху, но холодъ и сырость погребницы давали себя знать: онъ примолкъ, и сталъ искать мѣста, гдѣ бы поудобнѣе и потеплѣе прилечь. Въ одномъ углу онъ нащупалъ солому и какой-то тулупъ. Этой находкѣ онъ обрадовался необыкновенно: тотчасъ же забрался подъ тулупъ, повалился на солому, и мертвецки уснулъ, позабывъ и свое заключеніе, и Салтычиху, и всѣ тѣ проклятія, которыя онъ посылалъ на ея голову. Разбудилъ его, въ самую полночь, какой-то странный вой. Высунувъ голову изъ-подъ тулупа, онъ чутко сталъ прислушиваться, и разобралъ, что вой раздается у самыхъ его ногъ. Объятый паническимъ ужасомъ, онъ мгновенно вскочилъ на ноги, и тутъ же увидалъ два сверкнувшіе передъ нимъ огонька. Онъ, ничего не соображая, моментально шарахнулся въ противоположную сторону, и прижался спиной къ холодной стѣнѣ погребницы.

— Что это? что это? лепеталъ онъ, вперивъ глаза на огоньки.

Вой со стороны огоньковъ слышался явственнѣе, и тутъ

только Тютчевъ сообразилъ, что онъ находится въ сообществѣ сѣраго хищника.

Что было дѣлать? какъ поступить? Молодому человѣку вовсе не было извѣстно, что волкъ безвреденъ и что онъ самъ испугался присутствія человѣка, и потому завылъ.

Совершенно машинально, двигаясь у стѣны, Тютчевъ началъ искать чего-либо, чѣмъ бы можно было защититься отъ столь непріятнаго сотоварища. Подъ руки ничего не попадалось. Между тѣмъ, онъ дошелъ до угла, и тутъ остановился, рѣшивъ, что поiski его бесполезны. Огоньки засверкали въ противоположномъ углу: видимо, волкъ усѣлся на корточки, и тоже выжидалъ, какъ поступить съ нимъ тотъ, кого онъ видитъ передъ собой. Такъ прошло съ полчаса, но эти полчаса показались Тютчеву вѣчностью. Чего-чего только онъ не передумалъ въ эти полчаса!

Родился онъ, Тютчевъ, недалеко отъ Троицы-Сергія, близъ села Радонежа, въ маленькой деревенькѣ отца, весьма бѣднаго, неслужащаго дворянина, жившаго у своего тестя. Первые, нѣжные годы дѣтства, онъ провелъ въ деревенькѣ, нисколько и ничѣмъ не отличаясь отъ крестьянскихъ дѣтей, съ которыми онъ и игралъ въ одной рубашенкѣ. До десяти лѣтъ его ничему не учили, и онъ готовъ уже былъ остаться „недорослемъ“. Но судьба, однакожь, распорядилась иначе. Какъ-то заѣхалъ въ деревеньку дальній родственникъ его отца, восхитился способностями маленькаго Кольки, увезъ его въ Петербургъ, сдалъ въ одно изъ инженерныхъ училищъ, и совершенно о немъ забылъ. Да забыли о немъ и сами родители. Когда Тютчевъ двадцатилѣтнимъ молодымъ человѣкомъ вышелъ изъ школы и попытался узнать кое-что о своихъ родителяхъ, то онъ узналъ только одно: узналъ онъ, что они умерли. Сиротливо потянулись дни молодого человѣка—сперва въ Петербургѣ, потомъ въ Москвѣ. Молодой человѣкъ считался на службѣ при московскомъ главнокомандующемъ, какъ называли тогда теперешнихъ генераль-губернаторовъ, получалъ скромное жалованье и жилъ тоже весьма скромно. Въ концѣ царствованія Императрицы Елизаветы Петровны задуманы были какія-то постройки близъ города Подольска—и вотъ молодого инженера отправили на житье въ этотъ городъ, гдѣ онъ и жилъ не удѣлъ, ожидая приказаній изъ столицы. Приказанія что-то не шли, дни тянулись скучно, и молодой человѣкъ, ради развлече-

нія, занялся охотой по сосѣднимъ полямъ и лѣсамъ. Дичи онъ убилъ мало, но за то наскочилъ на такого звѣря, какъ Салтычиха. Грозная барыня произвела на него своеобразное впечатлѣніе и такъ же своеобразно понравилась. Онъ сошелся съ нею близко—и вотъ эта близость довела его до того, что онъ теперь мерзнетъ и дрожитъ въ какой-то погребницѣ въ сообществѣ зачѣмъ-то туда попавшаго волка.

Гнѣвъ и стыдъ душили Тютчева, и волновали его страшно. Онъ былъ молодъ, здоровъ, и хотя ничто еще не улыбалось ему въ жизни, но умереть подъ зубами хищника ему все-таки не хотѣлось, да и смерть такая позорная.

„Неужто, думалъ онъ, она рѣшилась сыграть со мной такую подлую штуку! О, это звѣрь, а не женщина! звѣрь, звѣрь!.. И отчего я самъ не убилъ сію кровожадную тигрицу“!..

Вдругъ онъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ и брезгливо схватился за шею: что-то холодное и скользкое ползло по шеѣ. Онъ поймалъ какого-то мокрого червяка, и бросилъ его на полъ, и въ то же время услышалъ за стѣной, снаружи, какой-то шорохъ: казалось, что кто-то пробирался по стѣнѣ, шаркая по ней руками.

Тютчевъ насторожилъ ухо, и слышалъ явственно, что шорохъ идетъ къ двери. Онъ хорошо помнилъ, гдѣ находилась дверь. Онъ началъ пробираться къ ней, не спуская, однакожъ, глазъ съ огоньковъ, которые неподвижно и попрежнему свѣтились въ томъ же углу, въ которомъ свѣтились и ранѣе.

Добравшись до двери, Тютчевъ прильнулъ къ ней ухомъ, и вдругъ отчетливо услышалъ вопросъ, произнесенный незнакомымъ ему, мужскимъ, голосомъ:

— Баринъ, ты живъ?

— Живъ, живъ! почти вскрикнулъ Тютчевъ.

Огоньки въ углу моментально исчезли. Испуганный голосомъ Тютчева, волкъ заметался въ своемъ углу и громко всхрапывалъ.

Замокъ за дверью лязгнулъ: чья-то осторожная рука возилась съ замкомъ, отпирая его. Наконецъ, тихо заскрипѣвъ на ржавыхъ петляхъ, отперлась и самая дверь. Струя, хотя холодного, но свѣжаго воздуха, шибанула прямо въ лицо заключеннику—и заключенникъ зашатался на ногахъ. Онъ чуть не уналъ. Но чья-то дружеская рука поддержала его...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Освобожденный узникъ.

Рука, такъ во время и встати поддерживавшая Тютчева, была рука двороваго Сидорки, который нѣсколько часовъ тому назадъ, вмѣстѣ съ кучеромъ Акимкой, бросилъ того же Тютчева въ волчью погребницу.

— Кто тутъ?... кто пришелъ?... былъ первый вопросъ, очнувшись и прислонившагося къ стѣнѣ, Тютчева.

— Погодь, баринъ... помолчи... отвѣчалъ шопотомъ Сидорка.

— Но кто ты? настаивалъ Тютчевъ, уже предполагая почему-то, что къ нему явился кто-то съ недоброй цѣлью.

— А вотъ сейчасъ узнаешь, баринъ.

Сидорка осторожно притворилъ дверь, и ужъ тогда только рѣшился вытащить изъ-подъ полы полушубка маленькій фонарикъ.

Тускло и угрюмо сверкнулъ маленькій огонекъ фонарика въ волчьей погребницѣ—и показалъ всю суровую неприглядность салтычихинскаго острога. Стѣны были черны и мокры. Потолокъ низокъ, съ какими-то ржавыми желѣзными перекладинами. Но все было прочно, здорово, и бѣдному узнику не представлялось никакой возможности выбраться изъ этой своеобразной ямы.

Тютчевъ невольно повелъ глазами вокругъ, и вздрогнулъ.

— Что, баринъ: хороша наша погребница-то? какъ бы угадавъ его мысль, спросилъ Сидорка.

— Да... да... произнесъ Тютчевъ, и теперь уже взглянулъ на Сидорку.

— А, ты! воскликнулъ онъ, узнавъ сразу же въ лицѣ Сидорки одного изъ своихъ вечернихъ палачей.

— Я, баринъ, я... Только ты не бойся, баринъ... началъ шопотомъ Сидорка. Я не затѣмъ, чтобъ обижать тебя, баринъ... я совсѣмъ за другимъ...

— Зачѣмъ? вырвалось у Тютчева.

— Я хочу тебя, баринъ, выпустить.

— А... стало быть, Салтычиха приказала?

— Совсѣмъ нѣтъ... и не думала... Она не таковская, чтобъ

продержать кого надо въ погребицѣ часокъ-другой... Ты бы тутъ долго просидѣлъ...

— Вее ты врешь, братецъ! уже съ нѣкоторой смѣлостью сказалъ Тютчевъ.

— Совсѣмъ не вру. А коли хочешь, баринъ, оставаться, такъ и оставайся: я опять дверь запру.

— Зачѣмъ? зачѣмъ? не надо! заговорилъ торопливо Тютчевъ, вдругъ понявъ всю неумѣстность своего сомнѣнія. Выпусти, братецъ, выпусти. Я за сіе заплачу: въ долгу у тебя, братецъ, не останусь.

— Ненадобно мнѣ платы, баринъ: на кой мнѣ ладъ твоя плата! А ты сдѣлай для меня, баринъ, другое.

— Что? что? говори, братецъ!

— Не хочу я жить у Салтычихи, баринъ,

— Ну, и что-жъ?

— Прими ты меня къ себѣ, коли я убѣгу отъ Салтычихи.

— Какъ такъ?

— Да такъ ужъ—прими! въ родѣ какъ бы крѣпостнаго, а то и такъ—въ услугу.

— Но вѣдь сіе невозможно, братъ! воскликнулъ Тютчевъ.

— Да, вѣдь, берутъ же другіе господа всяческихъ бѣглыхъ, увѣрялъ Сидорка.

— Но у нихъ деревни, свои крѣпостные... а у меня, братецъ, ни кола, ни двора. Я только службой и живу.

— Да ужъ какъ ни-на-есть обдумай, баринъ, просилъ Сидорка, и поклонился низко Тютчеву.

— Что-жъ, я пожалуй... я не прочь... тронулся просьбой молодой инженеръ.

— Только я не одинъ... произнесъ робко Сидорка, и потомъ улыбнулся во все свое лицо.

— Съ кѣмъ же еще?

— Съ дѣвченкой...

— Съ какой?

— Да ты видѣлъ ее, баринъ... Галиной зовутъ... дочь лѣсника... Бѣдовая такая дѣвченка, работающая.

— А!.. протянулъ Тютчевъ, и, помолчавъ, спросилъ:

— Ты что-жъ съ ней?.. невѣста она тебѣ, или такъ?..

— Такъ, покуда, баринъ... началъ объяснять Сидорка. Только

мнѣ безъ нее все равно не житье на бѣломъ свѣтѣ... А Салтычиха, знаю, ни за что ее за меня не отдастъ... Такъ ужъ лучше бѣжать... А потомъ и повѣнчаемся, коли милость твоя барская на то будетъ...

— Да... да... сіе все возможно... возможно, братецъ мой... заговорилъ съ какой-то торопливостью Тютчевъ... Ты можешь ко мнѣ придти... и съ ней... Возможно!..

— Баринъ, спасибо тебѣ за такую милость! поклонился еще разъ Тютчеву въ ноги Сидорка.

— Хорошо... хорошо... А только... фу, какъ здѣсь холодно!.. а я все еще въ одной венгеркѣ... вздрогнулъ вдругъ отъ холода всѣмъ тѣломъ Тютчевъ.

— А я, баринъ, вотъ полушубочекъ припасъ: не побрезгуй, — накинь на свои плечики...

— А, сіе хорошо, хорошо! дай-ка, братъ, дай.

Сидорка быстро снялъ съ себя полушубокъ и накинулъ на плечи Тютчева, оставшись самъ въ сѣромъ субонномъ кафтанѣ...

— Ну, баринъ, теперь тебѣ надо на—утекъ—бѣжать надо, по-совѣтовалъ Сидорка. Не проснулась бы Салтычиха, да не спросила бы тебя: бѣда тогда! Такая пойдетъ перепалка—на все Троицкое!

— Бѣжать! непременно бѣжать! согласился Тютчевъ, кутаясь въ Сидоркинъ полушубокъ.

— Къ утру-то въ Подольскъ и доберешься. А теперь я тебя задворками провожу, чтобъ не заблудился, да чтобъ собаки не подняли лаю.

— Спасибо, спасибо, молодецъ! благодарилъ Тютчевъ. Услуги твои не забуду.

— Ужъ не забудь, баринъ. Одного того и прошу, чего просилъ: А ужъ мы тебѣ служить съ Галинкой будемъ, какъ слѣдуетъ — по христіански служить будемъ, не то что этому аспиду, Салтычихѣ.

— Подлинно, что аспидъ! добавилъ и Тютчевъ.

Вдругъ волкъ зашевелился въ своемъ углу и началъ тихонько взвывать.

— Тише ты, чо-ортъ: сѣрой! прикрикнулъ на него Сидорка.

И волкъ смолкъ.

— А поди, баринъ, напугалъ тебя нашъ Сѣрко? полюбопытствовать Сидорка.

— Глупое животное!

— Ничего, онъ тихонькой. Иная собака злѣй. Да и прирученый совсѣмъ. Эй, ты, Сѣрко! подь сюда! позвалъ Сидорка волка.

Волкъ прилегъ на брюхо и, словно провинившаяся собака, началъ подползать къ Сидоркѣ. Сидорка на полдорогѣ самъ подошелъ къ подползающему хищнику, потрепалъ его по спинѣ и отошелъ.

— Настоящая собака! замѣтилъ онъ, и добавилъ: вотъ и лѣсной звѣрь, и дикой, а все лучше нашей барыни. Вотъ наша барыня волчиха настоящая. А это что за волкъ!

Черезъ минуту, Сидорка и Тютчевъ пробирались уже задворками барскихъ хоромъ къ лѣсу. Сидорка хорошо зналъ дорогу, и потому они пробирались смѣло и торопливо. Вскорѣ они были уже въ лѣсу, на самой той дорогѣ, которая вела къ сторожкѣ Никонора.

— Ну, баринъ, теперь я тебя покину, сказалъ Сидорка, остановившись. Самъ ужъ теперь пробирайся на Подоль. А коль боязно пробираться въ такую-то пору, иди на-прямки къ Никонору: онъ до утра, до разсвѣту, пріютитъ тебя у себя въ сторожкѣ. Такъ и скажи Галинѣ: отъ Сидорки, молъ, такъ и такъ, молъ... Самъ ужъ знаешь, что сказать... Она дѣвка добрая...

Въ сотый разъ Тютчевъ благодарилъ своего избавителя, и, разставшись съ нимъ, бредя по дорогѣ, долго думалъ о томъ, какъ трудолюбивъ, какъ послушенъ, и, наконецъ, какъ добръ простой русскій человѣкъ. „Возможно-ли, думалъ онъ, чтобы въ простомъ мужикѣ было столько доблести! А между тѣмъ, это такъ, это неоспоримо дѣло на лицо!“

Продолжая думать на эту тему, въ глухую осеннюю ночь, среди лѣса, безмолвнаго, какъ гробъ, Тютчевъ добрелъ до сторожки Никонора.

— Я переночую здѣсь, рѣшилъ онъ, и постучался въ окошечко. Дверь ему отперъ, съ лучиной въ рукахъ, самъ Никоноръ. Старикъ былъ удивленъ необыкновенно.

— Баринъ! да какъ же вы ко мнѣ-то?

Тютчевъ коротко рассказалъ въ чемъ дѣло, и просилъ пріюта до разсвѣта.

Никоноръ заторопился, разбудилъ дочь, и вскорѣ недавній узникъ, прикрытый чѣмъ попало, заснулъ на теплой печкѣ сторожки съ такимъ наслажденіемъ, съ какимъ онъ не спалъ нигдѣ и никогда.

Плохо за то въ ту ночь спалось Салтычихѣ. Поступокъ ея съ возлюбленнымъ всетаки не мало тревожилъ ее. При всей своей грубости и жестокости, она всетаки чувствовала, что поступила съ человѣкомъ несправедливо и что эта несправедливость можетъ имѣть дурныя послѣдствія, не относительно того, что Тютчевъ можетъ жаловаться—она этого не боялась, — а просто относительно ея самой, ея личныхъ отношеній къ Тютчеву. Сны ея были тревожны и тяжелы. Снились ей какіе-то люди съ окровавленными шеями, съ разбитыми головами, которые подходили къ ней — то всею толпой, то поочередно, и хмуро заглядывали ей въ глаза. Отъ этихъ взглядовъ ей становилось и холодно и жутко. То слышала она какое-то похоронное пѣнье, какой-то похоронный звонъ. То бродила она по какому-то невѣдомому кладбищу, гдѣ изъ всякой могилы слышались глухіе голоса и такіе же глухіе стоны. причемъ съ какими-то страшными проклятіями упоминалось ими и ея имя. То видѣла она вьющихся надъ ея головой, съ кусками мяса въ клювахъ, зловѣщихъ вороновъ, которые каркали и будто выговаривали своимъ карканьемъ: „ѣшь, ѣшь, ѣшь!“ Являлся ей во снѣ и смутный обликъ Хрисіи, той самой тихой и кроткой дѣвушки, которую полюбилъ ея покойный мужъ и которая такъ рано умерла. Дѣвушка тихо склонялась къ ней и тихо шептала: „Ты, ты погубила меня, злая женщина! За что ты меня погубила? за что ты отравила меня? Зла я тебѣ никакого не сдѣлала: я была бѣдная, бѣдная дѣвушка. Я всѣхъ слушалась, я всѣхъ любила... Ахъ, тяжело въ могилѣ, барыня! вздыхала покойная надъ самымъ ея ухомъ, — ахъ, тяжело! Погоди, сама узнаешь — сама въ могилѣ будешь!..“ Дѣвушка растаяла, но какъ будто оставила послѣ себя холодный, тяжелый могильный запахъ, такой тяжелый, что Салтычиха почти задыхалась. Она хотѣла крикнуть, но не могла. Вдругъ вокругъ нея начала выростать громадная толпа народа—все больше, больше, и наконецъ—она совсѣмъ очутилась среди такого множества людей, что ей стало страшно, хотя она и стояла выше всѣхъ головой, на какомъ-то каменномъ помостѣ, но со связанными руками и у столба. Народъ молчитъ, и кругомъ тихо, какъ въ могилѣ. Говорить одинъ только чѣловѣкъ, но что говоритъ—она не понимаетъ. И сердце ея сжимается болью, и грудь ея ноетъ, и голова ея кружится. „Начинай!“ вдругъ слышится чей-то глухой голосъ, и вслѣдъ за этимъ голосомъ—передъ глазами ея появляется вы-

сокій, бородатый, краснолицый и въ красной рубашкѣ, человѣкъ, съ большимъ топоромъ въ рукахъ. „Руби!“ слышится тотъ же глухой голосъ—и надъ головой ея сверкнулъ тотъ топоръ, который она видѣла въ рукахъ краснолицаго и въ красной рубашкѣ человѣка...

— Охъ! охъ! охъ! вскрикнула страшно-неестественнымъ голосомъ Салтычиха, хватая себя обѣими руками за голову...

И—проснулась...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Несвоевременный поцѣлуй.

Проснувшаяся Салтычиха, въ испугѣ отъ страшныхъ сновидѣній, первымъ долгомъ закричала:

— Фивка!

Но вѣрной Фивы въ спальнѣ уже не было: она хлопотала по хозяйству, вовсе не подозрѣвая, какъ мучилась во снѣ ея барыня и повелительница.

Это еще болѣе обозлило Салтычиху.

— Гдѣ Фивка?... Фивка! позвала она озлобленно.

Фива появилась немедленно.

— Гдѣ пропадала?

— Ахъ! ахъ! захала Фива. Я чаяла, что ты почиваешь, золотая моя, потому и ушла.

— Ну, что тотъ-то? не кричить тамъ? спросила Салтычиха, тотчасъ же успокоившись.

— Молчить. Я ужъ бѣгала къ погребницѣ-то. Прислушалась — ни-гу-гу. Знать, заснулъ, сердечненькой.

— Сердечненькой? Вишь, жалость на тебя какая напала! замѣтила Салтычиха, но безъ злорадства, а даже со своего рода удовольствіемъ, такъ-какъ соболѣзнованіе Фивы объ участи Тютчева, о которомъ шла рѣчь, ей понравилось.

Прозорливая въ такихъ дѣлахъ Фива, сразу поняла это, и немедленно повела своеобразную рѣчь.

— Какъ же не сердечненькой! съ грустью въ голосѣ заговорила она. Совсѣмъ-таки сердечненькой! Такой холодище на дворѣ, осень-осенью, слякоть-слякотью, а онъ въ такой, дорогая моя, зябкой погребѣ! Она для мужиковъ, и то для воровъ-мошенниковъ, а не для такихъ молодыхъ и, можно сказать, ученыхъ и благородныхъ господъ.

— Вишь, какая ты у меня, Фивка, на язычокъ-отъ краснымъ-красна! что твой франтъ-масонъ какой! И гдѣ успѣла выучиться!

— Все по твоей милости, государыня-матушка!

— Экъ, нашла ученую!

— Ахъ, барыня, барыня! кормилица ты наша! воскликнула Фива, слегка наклонившись къ лежащей Салтычихѣ и отыскивая ея руку, чтобы поцѣловать. Да гдѣ-жъ намъ и жить-то, какъ не у такихъ добрыхъ господъ, да гдѣ-жъ намъ и учиться-то!

— Учись у добрыхъ, а я злая!

— Ты-то, родимущка! ты-то! всплеснула руками Фива.

— Вѣстимо, я!

— Ахъ, вотъ ужъ неправда! вотъ ужъ неправда!

— Ну, а коли я добрая, такъ чего бы ты, Фивка, отъ меня хотѣла? спросила Салтычиха, чувствуя въ себѣ неожиданно наплывъ искренней доброты.

— Ничего, матушка-барыня! совсѣмъ-таки ничего!

— Не ври, Фивка! Ты скаредъ!

— Ахъ! могла только воскликнуть Фива, и невинно опустила голову.

— Денегъ, что-ль? добивалась Салтычиха.

— На что онѣ мнѣ, старухѣ.

— Ну, землицы, что-ль?

— Ахъ, много-ль намъ земли-то надобно!

Салтычиха разсмѣялась.

— И впрямь, ты какая-то франтъ-масонка.

— Раба! раба твоя на всю жизнь!

— А говорю—проси, такъ и проси! сказала ужъ съ нѣкоторой строгостью Салтычиха.

— Что-жъ, коли велишь, такъ попрошу.

— Ну?

— Выпусти нашего барины-то, Николая Афанасьевича-то, изъ

погребницы. Вотъ, матушка-барыня, вся моя просьба къ тебѣ. Чего онъ тамъ, нашъ сердечненькой-то, валяется!

Салтычиха съ минуту помолчала, пытливо глядя на свою вѣрную рабу, потомъ немного приподнялась, и приказала:

— Наклонись!

Фива наклонилась къ барынѣ.

— Цѣлуй меня въ щеку-то, сказала Салтычиха.

— Не стою, не стою! съ какимъ-то неестественнымъ подобострастіемъ произнесла Фива.

— Цѣлуй! былъ новый приказъ Салтычихи.

Фива ахнула, тихо, съ покорностью, и слегка прикоснулась своими холодными, тонкими губами къ пухлой щекѣ Салтычихи, послѣ чего Салтычиха замѣтила:

— Ну, и бестія же ты, Фивка! Такимъ подлымъ и въ Сибири мѣста мало!

— Барыня! матушка наша! вскрикнула Фива, поймала руку Салтычихи, и начала съ жаромъ цѣловать ее.

— Ну, будетъ, будетъ тебѣ! остановила ее порывъ Салтычиха. Ты подь-ка лучше, да и впрямь выпусти изъ погребницы-ты нашего плѣнника. Авось, онъ меня послаще твоего-то поцѣлуетъ.

Фива выскочила изъ спальни салтычихинской перепелочкой, и въ минуту очутилась съ ключемъ у погребницы. Ей было весьма пріятно, что она будетъ первой вѣстницей освобожденія. Вмигъ замокъ былъ отпертъ и дверь распахнута.

— Баринъ, пожалуйста-съ въ хоромы! позвала она съ подобающимъ подобострастіемъ Тютчева.

Отвѣта не было. Но волкъ зашевелился и захрипѣлъ.

— Баринъ! баринъ!

Волкъ завылъ.

— Тише ты, чо-ортъ! крикнула Фива на волка, и снова позвала: баринъ, да гдѣ же вы?

Отвѣта опять не было.

„Ужъ не убѣжалъ ли?“ мелькнуло въ головѣ вѣрной салтычихинской рабы.

Само собою разумѣется, что догадка ей оправдалась.

Фива испуганно взвизгнула, и чуть было не упала въ погребницу.

— Что скажу... что скажу барынѣ-то? безсмысленно шептала она.

Затѣмъ, она побѣжала въ людскія, и подняла на ноги всѣхъ

дворовыхъ. Поднялся крикъ и гамъ невообразимый. Всѣ бѣгали, всѣ искали чего-то, спрашивали, бранились, толкались. Фива кричала болѣе всѣхъ, но крикъ дѣлу нисколько не помогалъ. Плѣнникъ словно сквозь землю провалился. Кто-то надоумилъ, что виной всему собаки: „отчего, молъ, не лаяли, когда человѣкъ убѣгалъ?“ Начали лупить палками собакъ. Собаки визжали, лаяли, и наконецъ одна изъ нихъ нестерпѣвши, вѣроятно, напраслины, а то, можетъ быть, и изъ ненависти, кинулась на Фиву, и довольно здорово укусила ее за икру. Гамъ и визгъ увеличились вслѣдствіе этого еще болѣе.

Шумъ наконецъ дошелъ до слуха Салтычихи. Она сама наскоро одѣлась, вышла на крыльцо, и, понятное дѣло, тотчасъ же узнала въ чемъ дѣло.

— Быть того не можетъ! вскричала она бѣшенно, и самолично отправилась въ погребицу.

Единственный теперь обитатель погребицы, волкъ, испуганный необыкновеннымъ собачьимъ лаемъ, встрѣтилъ и ее, какъ и Фиву, воемъ.

— Нѣтъ! нѣтъ! вижу, что нѣтъ! только и могла прохрипѣть она, тщательно оглядѣвъ всѣ углы погребицы.

Была немедленно созвана вся дворня. Начались распросы и допросы. Никто, оказывалось, ничего не зналъ и не вѣдалъ. Оглядѣли замокъ—замокъ былъ цѣлъ. Оглядѣли дверь, стѣны—все было въ цѣлости.

— Кто нибудь да выпустилъ! догадалась Салтычиха. Но кто? кто посмѣлъ это сдѣлать?

Началась расправа съ дворней въ томъ вкусѣ, какой практиковался въ Троицкомъ.

А виновникъ всей этой кутерьмы спалъ, между тѣмъ, въ сторожѣ Никонора безмятежнѣйшимъ сномъ. Сны его были легки и прекрасны. Все время ему грезилась лѣсникова дочка, Галина, которая все куда-то манила его, улыбалась, и потомъ, аукая, пряталась въ зелень дремучаго лѣса.

Только голосъ самой Галины и разбудилъ его:

— Вставай, баринъ, пора! тронула она его слегка за плечо.

Тютчевъ открылъ глаза, нѣсколько мгновений смотрѣлъ на прекрасное видѣніе и, предполагая, что это все еще продолженіе сонной

трезы, сильными, молодыми руками привлечь къ себѣ дѣвушку, и напечатлѣть на ея щекѣ такой же сильный и молодой поцѣлуй.

Въ то же мгновеніе онъ почувствовалъ, что такая же сильная и молодая рука схватила его за воротъ венгерки, и со всего размаха бросила на глиняный, хорошо утоптаный полъ сторожки полѣсовщика.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Л у ч и н а в ы д а л а.

Тютчевъ вовсе не ожидалъ того, что съ нимъ случилось. Самый простой поцѣлуй, данный самой простой дѣвушкѣ—и вдругъ такое непріятное послѣдствіе!

Молодому человѣку было и больно, и стыдно.

Неловко приподнявшись съ полу, онъ только и могъ кисло улыбнуться, косо поглядывая на стоявшую передъ нимъ въ нѣкоторомъ изумленіи Галину.

— Ахъ, право, что-жъ сіе все означаетъ!.. какъ бы извинялся Тютчевъ передъ дѣвушкой. Я съ просонья никакъ все сіе... во снѣ я видѣлъ такое... такое все несообразное...

— Съ просонья всяко бываетъ... отозвалась съ плутоватой, добродушной улыбкой Галина. Ужъ ты, баринъ, и меня не обезсудь, что я толкнула тебя маленечко—ненарокомъ рука размахнулась дурацкая, дѣвичья... привыкла съ парнями я этакъ-то... Вѣдь тѣ охальники...

— Пустяки... пустяки... бормоталъ, оправляясь, Тютчевъ, и уже чувствовалъ нѣкоторую робость передъ этой лѣсной недотрогой, полной и своеобразныхъ силъ и своеобразной чести: эта простая дѣвушка показалась ему теперь опаснѣе даже самой Салтычихи.

„Ну, по всѣмъ вѣроятіямъ, мелькало въ его головѣ, и изъ сей лѣснушки выйдетъ своего рода Салтычиха: такая же злая и такъ же на все способна. Хотя, впрочемъ... она дѣвочка премиленькая, и, право, мнѣ весьма по нраву. Вотъ бы пріобрѣсть такую у Салтычихи...“

Тутъ молодой человѣкъ вспомнилъ о предложеніи Сидорки — перебѣжать къ нему, и это предложеніе показалось ему теперь весьма подходящимъ, и мысли его закружились на эту тему.

Вошелъ Никоноръ.

— Проснулись, баринъ?

— Какъ видишь, добрый человѣкъ. Собираюсь теперь въ Подольскъ.

И пора бы. Неравенъ часъ — Салтычиха, ищущи васъ, можетъ нагрянуть и сюда. Она глазастая — всюду заглянетъ.

Догадка Никонора имѣла свое основаніе.

Салтычиха, дѣйствительно, собиралась самолично въ Подольскъ для отысканія бѣжавшаго, и такъ-какъ путь въ Подольскъ лежалъ черезъ лѣсъ, то она рѣшила побывать и въ сторожкѣ Никонора, чтобы увидать Галину и переговорить съ нею по-своему.

Въ то самое время, какъ Тютчевъ пробирался пѣшкомъ къ ближайшей деревенькѣ, съ намѣреніемъ нанять тамъ какого-нибудь мужичка довести до Подольска, телѣжка Салтычихи уже мчалась лѣсной дорожкой къ сторожкѣ Никонора.

На этотъ разъ, вмѣстѣ съ кучеромъ Акимомъ, сопровождалъ ее и Сидорка, въ которомъ грозная барыня вовсе и не подозрѣвала виновника всего случившагося.

Сидорка глядѣлъ такой невинной овечкой, такъ былъ преданъ барынѣ и такое принималъ рьяное участіе въ отысканіи бѣжавшаго, что не подозрѣвали въ немъ виновника ни дворовые, ни даже самъ подозрительный кучеръ Акимка, настойчиво почему-то слѣдившій за всѣми дѣйствіями Сидорки и теперь неохотно раздѣлявшій съ нимъ сосѣдство на передкѣ телѣжки.

— Ну, здравствуй опять, ягодка лѣсная, малинка! засмѣялась Салтычиха вышедшей ей на встрѣчу съ поклономъ Галинѣ. Гдѣ отецъ, — въ сторожкѣ?

— Въ лѣсъ ушелъ.

— Ну, побесѣдую съ тобой и одной. Веди въ сторожку-то.

Салтычиха вылѣзла изъ телѣжки, и въ сопровожденіи Акима и Сидорки вошла въ сторожку Никонора.

Въ сторожкѣ было тускло, какъ въ погребѣ.

— Зажги лучину-то, приказала Салтычиха.

Галина торопливо исполняла ея приказаніе.

Когда неровный, красный свѣтъ лучины освѣтилъ почернѣв-

шія стѣны сторожки, Салтычиха зорко оглядѣлась по сторонамъ, и вдругъ спросила:

— Гдѣ же онъ, кавалеръ-то твой новой?

— Какой, барыня? глухо произнесла Галина, и поблѣднѣла во все лицо, и дрогнула всѣмъ тѣломъ.

Лицо Салтычихи мгновенно исказилось злорадной радостью. Она сразу узнала то, что ей было нужно: для нея не было уже сомнѣнія, что Тютчевъ—или былъ въ сторожкѣ, или скрывается въ ней и по настоящее время. Благодаря своей природной смѣтливости, Салтычиха всегда умѣла очень ловко и очень тонко поймать провинившагося, хотя явныхъ уликъ на лицо часто и не было. Въ данномъ случаѣ, она задала вопросъ просто на угадъ, просто потому, что знала хорошо: ежели дѣвушка виновна, то непременно чѣмъ нибудь себя да выдастъ. Поблѣднѣвшее лицо у Галины было явнымъ признакомъ того, что Салтычиха права.

Понятно, что этого было достаточно для Салтычихи, чтобы начать допросъ по-своему.

Она и начала его.

— Какъ—какой? развѣ ты не знаешь, ягодка моя, о комъ я рѣчь-то веду? заговорила Салтычиха съ такимъ озлобленіемъ, что лицо ея пожелтѣло, кулаки судорожно сжались, а ротъ гнѣвно исказился.

При видѣ подобнаго гнѣва, глаза у Галины пламенно засверкали, но тотчасъ же и потухли при мысли, что Салтычиха права и что она передъ барыней завѣдомо лжетъ. Но такъ-какъ ложь была уже произнесена, то она и рѣшилась, во чтобы то ни стало, скрывать о томъ, что въ сторожкѣ ночевалъ Тютчевъ, тѣмъ болѣе, что въ дѣло замѣшанъ Сидорка, котораго она вовсе не желала выдавать. Выдача эта могла имѣть такія послѣдствія, которыя для дѣвушки были страшнѣе всѣхъ Салтычихинскихъ наказаній и заранѣе приводили ее въ ужасъ.

Сидорка какъ бы понялъ эту жертву для него молодой дѣвушки, и боялся даже взглянуть на нее. Онъ, потупившись, стоялъ за спиной Салтычихи, съ лихорадочнымъ любопытствомъ ждалъ, что будетъ далѣе, и находился какъ бы во снѣ, и при этомъ сердце его болѣзненно сжималось и кровь прилиwała къ вискамъ.

Совсѣмъ иное думалъ кучеръ Акимъ, спокойно стоя у дверей сторожки.

„Чего она лѣзетъ къ ней? думалъ онъ, — что ей надобно? какъ-такъ это — такой дворянинъ, какъ Николай Афансевичъ, заберется въ такую дрянъ-дрянь хибарку!“

При всемъ спокойствіи Акима, въ глубинѣ души его все-жъ таки таилось какое-то чувство ненависти къ Сидоркѣ. Онъ сознавалъ, хотя и смутно, что между Сидоркой и Галиной что-то есть такое, чего онъ, покуда, не понимаетъ, но что существуетъ непременно. Онъ очень хорошо помнитъ, какъ обрадовался его пріятель, Сидорка, когда барыня приказала закладывать лошадей для поѣздки къ Никонору. Чего Сидорка радовался? не тому же, что увидитъ лѣсъ и сторожку. Еще болѣе онъ помнитъ другой случай. Когда барыня, усаживаясь въ телѣжку, упомянула имя Галины, Сидорка, уже сидѣвшій рядомъ съ нимъ, съ Акимомъ, на передкѣ, такъ заерзалъ на немъ, что чуть было не столкнулъ его, кучера. Все это показалось Акимѣ подозрительнымъ, и онъ сталъ слѣдить за Сидоркой. Ужъ не завелъ ли Сидорка шашней съ Галиной?..

„О, коли завелъ, подумалось вдругъ Акимѣ, — то...“

И онъ чуть было не вскрикнулъ: „Смотри, Сидорка, смотри! не сдобровать тебѣ! Я за Галинку тебѣ горло перерву!“

И точно: кучеръ Акимъ былъ на это спосособенъ. Это была злая, необыкновенно грубая натура, съ кровожадными инстинктами, безъ жалости, безъ сердца. Онъ былъ однимъ изъ ближайшихъ приспѣшниковъ Салтычихи, и лучшаго исполнителя своихъ грозныхъ расправъ ей трудно было сыскать. Онъ исполнялъ ея приказанія скоро, охотно и безжалостно. Кнутъ его былъ всегда на готовѣ, на готовѣ были всегда и здоровыя руки. Дворянъ его чуждалась, ненавидѣла, но въ тоже время заискивала въ немъ: всякому было извѣстно, что Акимова кнута ему не миновать. Акимъ держалъ себя со всѣми недовѣрчиво и мрачно. Казалось, ничего дорогаго для него въ жизни не было, кромѣ конюшни и кнута. Однакожъ, на дѣлѣ было не то. Этотъ человѣкъ любилъ, и любилъ горячо и неизмѣнно. Онъ Галиной бредилъ, онъ за Галину готовъ былъ на все. Любовь его къ Галинѣ зародилась слишкомъ рано, зародилась еще тогда, когда онъ, жалкій, безродный подкидышъ, жилъ у Никонора и игривалъ съ ней посреди приволья лѣснаго. Не угасла эта привязанность и тогда, когда онъ попалъ въ число дворни салтычихинской и сдѣлался ея лю-

бимымъ кучеромъ. Онъ чуялъ, что Галина ему не сочувствуетъ. Но онъ терпѣлъ, и ожидалъ только случая попросить у барыни отдать за него Галину, и былъ почти увѣренъ, что барыня не откажетъ ему въ томъ. Онъ понималъ для нея значеніе своихъ кровавыхъ услугъ. Рѣдкія свиданія съ любимой дѣвушкой доставляли ему большое наслажденіе.

Наслаждался Акимъ свиданіемъ и теперь. Но всетаки видъ Сидорки тревожилъ его.

Само собой разумѣется, что Салтычихѣ было и не въ домекъ, что стоящая передъ ней дѣвушка служитъ предметомъ спора и любви для двухъ ея лучшихъ приспѣшниковъ.

— Ну, что-жъ стоишь-то, какъ чучело на огородѣ? отвѣчай, что спрашиваютъ? продолжала гнѣвно Салтычиха.

— Что отвѣчать, барыня, я не знаю! отвѣчала со сдержанной твердостью дѣвушка.

— А, не знаешь! еще разъ сжала кулаки Салтычиха, и приблизилась на шагъ къ Галинѣ.

— Не знаю! такъ же твердо отвѣчала Галина.

— Это, стало быть: не учи козу—сама стянетъ съ возу! Ты и стянула! А, бестія!

Салтычиха подняла руку.

— Барыня! глухо произнесла Галина.

— Молчи, шельма, молчи! все знаю! вскричала Салтычиха, опуская, однакожъ, поднятую надъ головой дѣвушки руку, и продолжала: скажи все! скажи, шельма—пальцемъ не трону! Ну? ну? стала она наступать на дѣвушку.

Та молчала и не трогалась съ мѣста. Горѣвшая въ высокомъ свѣтцѣ лучина, затрещала въ это время, и нагорѣвшій край ея, свернувшись полукольцомъ, упалъ на полъ. Лучина горѣла прямо передъ лицомъ Салтычихи, и Салтычиха, въ злости, машинально, кинула на упавшій нагаръ свой взглядъ, и вдругъ засмѣялась такъ неестественно, такъ ужасно, что всѣ трое—и Акимъ, и Сидорка, и Галина,—въ невольномъ страхѣ вздрогнули.

— Подними! сказала затѣмъ Салтычиха, обращаясь къ Галинѣ и указывая на нагаръ лучины.

Галина, наклонясь, взяла въ руки еще тлѣвшій огарокъ лучины.

— Не то! Пуговицу подними! приказала Салтычиха.

Тутъ только Галина замѣтила, что возлѣ тлѣвшаго огарка лучины, лежала большая, шелкомъ обтянутая, пуговица отъ венгерки Тютчева. Дѣвушка дрожащей рукой взяла пуговицу, и подала ее Салтычихѣ.

— Вещь знакомая! начала злорадно Салтычиха. Пуговица-то отъ венгерки Тютченьки! Откуда она у тебя, красавица? Скажи-ко-ся?

Галина молчала и смотрѣла въ пространство. Щеки ея нервно дрожали.

— Молчишь? И то хорошо! Только для молчанокъ у меня есть вещица, коя путемъ говорить умѣетъ заставить! Сидорка! обратилась Салтычиха къ своему второму приспѣшнику: сбѣгай-ка въ лѣсокъ-отъ, да наломай поболѣ бѣлой березынки! Хотя теперь и не Семикъ, а все-жъ мы съ березынкой, съ бѣлой-отъ, поиграемъ, повеселимся, пѣсенъ попоемъ веселыхъ, дѣвичьихъ!..

Сидорка съ мѣста не трогался.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

П о с л ѣ д с т в і я .

То, что случилось въ лѣсной сторожке Никонора во время посѣщенія ея Салтычихой, имѣло послѣдствія довольно мрачнаго характера.

Никоноръ, обходившій дозоромъ лѣсныя чащи, возвратился въ сторожку только тогда, когда тамъ Салтычихи уже не было.

Салтычиха, расправившись по-своему съ Галиной, въ сопровожденіи тѣхъ же своихъ приспѣшниковъ, Акима и Сидорки, поехала уже въ Подольскъ съ намѣреніемъ, во что бы то ни стало, отыскать Тютчева.

Тютчева она тамъ не нашла.

По дорогѣ въ Подольскъ, молодой человѣкъ весьма благоразумно разсудилъ, что Салтычиха въ покоѣ его не оставитъ, будетъ преслѣдовать и, чего добраго, снова заберетъ его въ свои руки. Во избѣжаніе чего-либо подобнаго, вмѣсто Подольска, онъ направился прямо въ Москву, и во всю дорогу обдумывалъ планъ,

какъ-бы ловчѣе, не попавшись самому въ просакъ, сдѣлать доносъ на Салтычиху.

Въ сущности, Тютчевъ довольно порядочно побаивался Салтычихи, и доносъ его на нее могъ имѣть для него, маленькаго человека, весьма непріятныя послѣдствія. Салтычиха была богата, ей уже многое сходило съ рукъ, и, кромѣ этого, у нея были, по родству и связямъ покойнаго мужа, сильные покровители. Родной племянникъ ея мужа, Николай Ивановичъ Салтыковъ, впослѣдствіи свѣтлѣйшій графъ и знаменитый главнокомандующій Москвы, на служебномъ поприщѣ подымался уже въ гору и имѣлъ всюду значеніе. Родная племянница покойнаго Глѣба Алексѣича Салтыкова была замужемъ за А. П. Мельгуновымъ, очень сильнымъ лицомъ того времени, другомъ знаменитаго Ив. Ив. Шувалова. Тютчеву хорошо было извѣстно, что хотя эти родственники и съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ относились не къ родовой Салтычихѣ, но, тѣмъ не менѣе, ради ея богатства и ради дѣтей ея, вели съ ней переписку, посѣщали ее изрѣдка въ ея лубянскомъ домѣ, и, во всякомъ случаѣ, не прочь будутъ за нее вступиться. Все это молодой инженеръ зналъ по опыту, такъ-какъ ему уже раза два приходилось отстаивать передъ московской полиціей темныя дѣла Салтычихи: какія-нибудь маленькія записочки ея родственниковъ были лучше всякихъ доказательствъ и выводовъ. Не безъизвѣстно было Тютчеву и то, чѣмъ расплачивались доносчики: ихъ били кнутомъ и ссылали въ Сибирь. Положимъ, это были крѣпостные Салтычихи, которымъ въ такомъ случаѣ не довѣрялось. Но вѣдь и онъ птица не велика, хотя и дворянинъ—въ то время съ такими дворянами, какъ онъ, не особенно-то церемонились. Въ виду такихъ обстоятельствъ, доносъ его, Тютчева, могъ быть мечь обоюдоострымъ. Взволнованный молодой человекъ склонялся то въ одну сторону, то въ другую: то ему хотѣлось проучить Салтычиху на страхъ всѣмъ подобнымъ помѣщицамъ, то грозная Салтычиха являлась передъ нимъ какимъ-то неуязвимымъ никѣмъ и ничѣмъ звѣремъ. Въ концѣ концовъ, онъ остановился на доносѣ.

„Что будетъ, то будетъ, а донесу... разсуждалъ онъ. Не сошлютъ же меня въ Сибирь, кнутомъ не побьютъ, пытать не будутъ, хотя я и не докажу всѣхъ ея звѣрствъ—все таки я дворянинъ и человекъ служащій, меня кто-кто и изъ высокопоставленныхъ особъ знаетъ, и я приношу пользу своему отечеству. Въ семъ дѣлѣ,

можетъ статья, поможетъ мнѣ и сей мужиченко молодой, и сія дѣвица.“

Вспомнивъ о Галинѣ, Тютчевъ забылъ уже все остальное и остановился мыслью на образѣ этой дикой, прекрасной дѣвушки. „И какая смѣлая! дворянина—и за шиворотъ! да и сильная какая здоровая, словно кобылка молодая, такъ вся и пышетъ кровью! Удивительно у мужика, у какого-то грубаго полѣсовщика — и такая прекрасная дочь, такая, можно сказать, красивая особа во всѣхъ отношеніяхъ! Еще удивительнѣе, что этакой дрянной мужиченка, дворовый какой-то, Сидорка тамъ, что-ль, его звать, — и имѣетъ счастье быть любимымъ такой красавицей! Фи, какъ все въ жизни сей несообразно! и какъ все несообразно распредѣляется! Я вотъ, примѣрно, я... я самый, примѣрно, неудачливый человекъ! Ищу, какъ говорятъ люди, ложки, а попадаютъ мнѣ однѣ плошки!.. Несуразно!..“

Обдумывая и разсуждая такимъ образомъ, Тютчевъ въѣзжалъ въ Серпуховскую заставу. Хмуро и уныло глядѣлъ на городъ осенній полдень. Накрапывалъ дождикъ, и все подъ его частой, туманной сѣткой казалось сѣрымъ и непривѣтливымъ: особенно печально выглядѣли пригородныя хибарки мѣщанъ и огородниковъ, всѣ мокрыя, всѣ облѣзлыя. Двѣ поджарыя, худыя собаки сиротливо рылись и вынюхивали что-то въ навозной кучѣ у самой заставы. Штукъ пять вороватыхъ воронъ и галокъ прыгали тутъ же, въ надеждѣ поживиться на ихъ счетъ. Собаки не обращали на пернатыхъ вниманія, хотя тѣ подскакивали почти къ самому ихъ носу. Въѣзжая въ заставу, Тютчевъ почему-то, бокомъ, заглядѣлся, на этихъ воронъ—и ему какъ-то сразу стало грустно. Какая-то давнишняя, беспомощная тоска охватила его сердце, смутила въ конецъ его душевный покой.

Въ тотъ же день, однакожъ, поселившись близъ Самотеки, Тютчевъ занялся кое-какими предварительными справками относительно задуманнаго. Прежде всего, онъ побывалъ у отца Вореоломея, священника церкви Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы, надѣясь найти въ немъ надежнаго союзника по доносу. Но молодой человекъ въ этомъ отношеніи горько ошибся. Отецъ Вореоломей, человекъ относительно умный, старый, разсудительный, сдержанный, много мирволившій Салтычихѣ и поэтому щедро получавшій отъ нее даянія, былъ, понятное дѣло, на сторонѣ своей

благодѣтельницы-прихожанки, и очень былъ удивленъ и пораженъ, даже испуганъ, предложеніемъ Тютчева.

— Нѣтъ, нѣтъ, вьюноша, нѣтъ, дѣло твое неправое, дѣло твое кривое! говорилъ онъ серьезно и сосредоточенно Тютчеву.

— Почему-жъ, отецъ мой, неправое? какимъ образомъ? спрашивалъ Тютчевъ.

— А потому—ты младъ еще, сынъ мой... и по младости лѣтъ дѣло такое затѣваешь, затѣваешь по злости...

— Но вѣдь все то правда, что я сказалъ.

— Неправда, неправда, и великая неправда! замахалъ отецъ Вореоломей руками. Добродѣтели Дарьи Николаевны, ея посильныя жертвы для храма, ея благодѣянія для бѣдныхъ прихожанъ—мнѣ доподлинно извѣстны... злыхъ же дѣлъ за ней я никакихъ не видывалъ, не слыхивалъ, и, думаю такъ, по простотѣ своей, по своему разуму стариковскому, не увижу и не услышу. Бросьте, бросьте все сіе, вьюноша! бросьте! совѣтую вамъ! По младости, можете сами бѣдствія испытать, и не малые.

— За что же, отецъ? наивно спрашивалъ молодой человѣкъ.

— За тщету, за суету мірскую.

— Стало быть, злыя дѣла надо скрывать, потакать имъ?

— Не говорю сего, вьюноша, не говорю! отдѣлывался отецъ Вореоломей отъ навязчиваго посѣтителя. Злыя дѣла всегда будутъ наказуемы—всякому воздастся по грѣхамъ его, всякій получитъ свое: злой—злое, добрый—доброе. Будетъ испытаніе въ помыслахъ нечестиваго, и слухъ словъ его возойдетъ ко Господу въ обличеніе беззаконій его.

— Такъ вотъ, отецъ, намъ бы и слѣдовало указать беззаконія Салтычихи, ухватился за библейское выраженіе отца Вореоломея Тютчевъ.

— Берегись злорѣчія языка, вьюноша: клеветущія уста убиваютъ душу, продолжалъ поучительнымъ тономъ отецъ Вореоломей.

— Но вѣдь я не клевету, доказывалъ свое Тютчевъ.

— Клеветешь! сурово произнесъ надъ нимъ отецъ Вореоломей, и еще разъ посовѣтывалъ „бросить сіе дѣло“, непременно бросить, и въ концѣ концовъ намекнулъ даже о томъ, что онъ можетъ примирить его съ Дарьей Николаевной, отчего ему, Тютчеву, будетъ не въ примѣръ большая прибыль.

Тютчевъ ушелъ отъ отца Вореоломея злой, разстроенный, и

бранилъ себя за то, что позволилъ себѣ обратиться къ нему съ такимъ щекотливымъ вопросомъ, какъ борьба съ Салтычихой. Бесѣдуя съ отцомъ Вореоломеемъ, Тютчевъ пришелъ къ заключенію, что почтенный старецъ большой защитникъ Салтычихи, и что онъ даже сообщить ей о задуманномъ имъ, Тютчевымъ, доносѣ.

Тютчевъ въ этомъ отношеніи не ошибся. Всю наступившую ночь, отецъ Вореоломей, не безгрѣшный въ дѣлахъ съ Салтычихой относительно умиравшихъ въ ея домѣ людей, не могъ заснуть и не могъ забыть того, что затѣваетъ Тютчевъ. Старику, человѣку совсѣмъ не злому, миролюбивому, вовсе не хотѣлось, чтобы дѣла Салтычихи, о которыхъ ему хорошо было извѣстно, выплыли наружу. Вмѣстѣ съ обнаруженіемъ своевольтвъ Салтычихи, само собою разумѣется, обнаружатся и тѣ „умалчиванія,“ которыя допускалъ старикъ относительно Салтычихи. Не минуетъ, понятно, кара закона и его, хотя онъ и умалчивалъ о дѣлахъ Салтычихи, какъ человѣкъ по тому времени весьма незначительный, изъ боязни къ ея силѣ и значенію. Да и чтобы значилъ передъ Салтычихой какой-либо протестъ какого-то никому неизвѣстнаго, бѣднаго священника! Она бы его просто стерла съ лица земли, уничтожила бы, какъ пылинку. Отцу Вореоломею очень хорошо было извѣстно, какъ поступала и поступаетъ грозная барыня и не съ такими людьми, какъ онъ, маленькій и беззащитный. Скрѣпя сердце, онъ долженъ былъ ладить съ своей богатой, страшной прихожанкой, и долженъ былъ дѣлать то, что ей угодно. Старикъ признавалъ, что Тютчевъ правъ, что онъ долженъ сдѣлать то, что хочетъ сдѣлать, что это будетъ справедливо, но въ то же время и не хотѣлъ, чтобы Тютчевъ такъ поступилъ, и сердце у старика ныло и болѣло, что онъ, по необходимости, долженъ стоять головой за Салтычиху. Много отецъ Вореоломей прожилъ на свѣтѣ, ему уже лѣтъ около семидесяти, много онъ бѣдъ перенесъ, много горя пронеслось надъ его головой, пока онъ не попалъ священникомъ въ церковь Введенія. Не хотѣлось ему кривить душой на старости лѣтъ, а необходимость являлась—покривить. Не суда боялся старикъ—боялся позора. Къ утру отецъ Вореоломей немного вздремнулъ. Но скоро проснулся, и тотчасъ же принялся составлять письмо къ Салтычихѣ. Какъ на доносчика на Тютчева старикъ не указывалъ, совѣсть не позволяла ему клеветать на человѣка. Онъ просто-напросто сообщалъ ей, что въ Москвѣ слухи о ея дѣяніяхъ усили-

ваются и что ей поэтому нужно быть на сторожѣ. Въ тотъ же день письмо съ нарочнымъ было отправлено въ сельцо Троицкое. Но письмо Салтычиху въ сельцѣ не застало.

Салтычиха весь тотъ день сновала по Подольску, отыскивая бѣжавшаго инженера. Разумѣется, она его тамъ не нашла, и возвратилась къ ночи въ сельцо, страшно утомленная и разбитая. Письмо отца Вореоломея еще болѣе разстроило ее: она снова принялась было за допросы, потомъ допросы бросила, и начала совѣтываться съ Фивой, какъ бы ей поймать Тютченьку, и проучить его такъ, чтобы онъ долго помнилъ ея науку. Фива весьма благоразумно замѣтила, что Тютчевъ непременно удралъ въ Москву, непременно что-нибудь противъ нее, барыни, затѣваетъ, и что поэтому ей самой надо поторопиться въ Москву, и тамъ уже ловить „злодѣя и измѣнщика“.

— Быть такъ! рѣшила Салтычиха. Завтра-жъ съ утра мы и выберемся въ Москву. Только, Фивка, не забудь захватить съ собой и Никонорову потаскушку, Галинку. Я у этой приворожницы, въ Москвѣ, попытаю еще разъ распросить кое-что объ Тютченкѣ: какъ онъ къ ней попалъ, и еще зачѣмъ? А то она въ сторожкѣ-то своей не больно много поразсказала про свои и про Тютченкины проказы.

— Захвачу, золотая моя, захвачу! отвѣчала Фива.

Въ сторожкѣ, между тѣмъ, и наканунѣ и въ этотъ вечеръ, происходило совсѣмъ иное. Когда Никоноръ возвратился въ сторожку, то засталъ дочь блѣдною, страшно взволнованною, дрожащею, но не плачущею.

— Галя!.. только и могъ произнести онъ, взглянувъ на дочь.

— Была барыня... тутъ... сегодня... какимъ-то тихимъ, хрипящимъ голосомъ сообщила Галина, не глядя на отца.

— Чево ей?

— Барина все того ищетъ, что ночевалъ у насъ.

— Ну?

— Не нашла... вѣстимо... уныло постаралась улыбнуться Галина.

— А спрашивала... о немъ... о баринѣ-то?..

— Вѣстимо... спрашивала... по-своему... отвѣчала дочь цоупляясь.

Старикъ поблѣднѣлъ и дрогнулъ. Онъ зналъ, какъ Салтычиха распрашиваетъ по-своему, какъ она справляется.

— Кто-жъ былъ съ нею... Акимка?... спросилъ Никоноръ дрожащимъ голосомъ.

— Двое были: Акимка и Сидорка... отвѣчала дочь, и вдругъ начала истерически хохотать.

Никонора этотъ смѣхъ рѣзнулъ по сердцу, какъ ножомъ.

— Галя! Галя!.. чего ты?

— Да ужъ больно чудно, батюшка! говорила дѣвушка, не переставая хохотать. Сперва меня Сидорка... да тихо, жалѣючи... парень добрый... А потомъ его Акимъ, а онъ Акима... Такіе чудные!.. А Салтычиха-то реветъ, а Салтычиха-та гогочетъ... „Породнились, говорить, всѣ! кумовья, не кумовья, говорить, а кашу одной ложкой черпали“.

Дѣвушка залилась хохотомъ еще болѣе... Но за то Никоноръ, отецъ, стоялъ передъ нею словно къ смерти приговоренный, и тупо глядѣлъ на валявшіеся всюду по полу какіе-то длинные прутья...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

На „Майданѣ“.

Черезъ часъ, Никонора въ сторожкѣ уже не было. Онъ для чего-то пробирался лѣсомъ на „майданъ“ т. е. на мѣсто, гдѣ когда нибудь гнали деготь.

Никонору хорошо была извѣстна пустынность этого мѣста, и тамъ на него всегда производила впечатлѣніе одна высокая, необыкновенно кудрявая сосна.

На это у него была своего рода причина.

Не мало лѣтъ тому назадъ, когда Галина еще была ребенкомъ, онъ, Никоноръ, подъ той кудреватой сосной навсегда распрощался со своей дорогой женой, Василисой, кровной цыганкой, выданной за него по какимъ-то видамъ покойнымъ Троицкимъ бариномъ, Глѣбомъ Алексѣвичемъ Салтыковымъ. Какъ она, Ва-

сились, попала къ покойному барину, откуда она, почему баринъ выдалъ красивую Василису за него именно, а не за кого либо другого, — Никонору не было извѣстно, и онъ въ теченіе трехъ лѣтъ, которыя прожилъ съ Василисой, никогда не старался объ этомъ разузнавать ни отъ самой Василисы, ни отъ дворовыхъ. Василиса почему-то и сама умалчивала обо всемъ этомъ, да и вообще была на всякую рѣчь скупа, держала себя съ Никоноромъ хотя и не холодно, но довольно сурово. Часто куда-то отлучалась изъ сторожки, а иногда и пропадала по цѣлымъ днямъ. Только одинъ разъ, всего только одинъ разъ, Никоноръ какъ-то позволилъ себѣ спросить у нее:

— Васена! ты была гдѣ-то? Аль у меня нудно?

— Нудно не нудно, отвѣчала спокойно Василиса, а только о томъ, гдѣ я бываю, ты у меня, муженекъ, вдругорядь не спрашивай: тебѣ того знать не надобно.

— Отчего бы такъ, Васена?

— Не скажу! А хочешь слѣдить—слѣди.

— Слѣдить мнѣ нечего! нахмурился Никоноръ, и съ тѣхъ поръ уже ни разу не начиналъ подобной рѣчи съ Василисой, да и слѣдить за ней не думалъ.

Въ этомъ Василиса была увѣрена. Никонору же какое-то странное чувство подсказывало, что въ отлучкахъ Василисы ничего нѣтъ дурного.

Василиса не переставала пропадать по-часту, когда родилась у нее и дочка. Въ это время она уже уходила съ малюткой на рукахъ, съ нею же на рукахъ и возвращалась, и при этомъ нянчилась съ нею по цѣлымъ днямъ. Видимо, она любила малютку горячо и страстно.

Одинъ случай подтвердилъ это Никонору, какъ нельзя болѣе.

Василиса ушла какъ-то съ утра, по обыкновенію—съ Галиной на рукахъ.

Скучно стало Никонору безъ молодой жены—вышелъ изъ сторожки и онъ, и побрелъ по лѣсу, скучая и тоскуя. Вдругъ, въ небольшомъ березнячкѣ, разросшемся на довольно обширной полянкѣ, онъ услышалъ какой-то странный голосъ. Прислушался—голосъ его жены. Любопытство взяло верхъ надъ благоразуміемъ и Никоноръ сталъ осторожно пробираться къ тому мѣсту, откуда слышался голосъ жены. Когда онъ приблизился, то увидѣлъ слѣ-

дующее: Василиса сидѣла на травѣ съ вѣнкомъ на головѣ изъ березовыхъ прутьевъ съ листьями, качалась изъ стороны въ сторону, съ ребенкомъ на рукахъ, и дикимъ, заунывнымъ голосомъ пѣла чисто-цыганскую пѣсню и на чисто-цыганскомъ нарѣчїи.

Затаивъ дыханіе, Никоноръ слушалъ, и не отводилъ глазъ съ красиваго лица Василисы и съ качающейся, видимой ему только сзади, головки его дочери.

Василиса пѣла что-то чисто цыганское, дикое.

Послѣ своей пѣсни, она быстро встала и, не выпуская малютки изъ рукъ, закружилась съ нею, точно въ пляскѣ, направо и налево, прикрикивая гортанно: „ага! ага! ага! ага-ага! гопъ! гопъ!“

Малютка, довольная такой продѣлкой матери, смѣялась во все свое дѣтское горлышко и махала въ воздухъ своими пухлыми рученками, какъ бы подражая движеніямъ матери. Мать и дочь, видимо, наслаждались этой незамысловатой забавой, полной наивности и чарующей прелести посреди окружающей ихъ массы зелени, подъ куполомъ этого яснаго, знойнаго неба.

При видѣ всей этой картины, отцовское сердце Никонора дрогнуло радостью—и онъ, совершенно забывшись, шагнулъ къ своей женѣ и дочери, шумно раздвинувъ чапыжникъ, въ которомъ онъ прятался.

Лицо Василисы вдругъ стало сурово, когда она увидала мужа. Она нахмурила брови, сжала губы, и вытаращила глаза на приближавшуюся къ ней фигуру дюжаго Никонора.

— Ты! сказала она внезапно охрипшимъ голосомъ.

— Аль помѣшалъ? отвѣчалъ Никоноръ, останавливаясь предъ ней шага за два.

— Ни, ни! произнесла жена. А только—иди, куда шель, не трогай насъ, иди отъ насъ... Иди, иди!

Никоноръ постоялъ съ минуту, молча, глядя изъ-подъ лобья на пылающее отъ зноя лицо жены, и побрелъ далѣе, полный смутнаго чувства—и безотчетной радости и безотчетной грусти. Онъ теперь былъ увѣренъ, куда именно уходитъ его жена и что дѣлаетъ. Для него не было сомнѣнія, что ея дикая, привыкшая можетъ быть съ дѣтства къ бродячей жизни, натура, требовала въ извѣстное время своеобразной воли и своеобразнаго веселья.

Вскорѣ послѣ этого случая, Салтычихъ почему-то вздумалось

взять Василису снова на барскій дворъ. Это повелѣніе было передано Никонору чрезъ управляющаго, и Василисѣ приказано было явиться черезъ день.

— Ладно, приду... сказала на это Василиса посланному, а мужу шепнула: пойдѣмъ на „майданъ“—я кой-что скажу тебѣ тамъ... надо мнѣ...

Когда посланный ушелъ, Василиса взяла на руки Галю, нѣкоторое время няньчилась съ ней, ласкала, цѣловала, потомъ уложила ее спать.

— Спи, сказала она, пока не приду. А приду—припаси для Салтычихи камень: она отняла у тебя мамку...

Никоноръ не слыхалъ этихъ загадочныхъ словъ: онъ искалъ чего-то въ сѣняхъ, роясь тамъ въ хламѣ.

На „майданѣ“ Василиса немного сказала мужу.

Ну, прощай, дядя, сказала она, не поминай лихомъ, не кори, не брани.

Никоноръ удивился:

— Не на вѣкъ же мы расстаемся съ тобой, Васена.

— Какъ знать! може, и на вѣкъ. У Салтычихи жить—съ огнемъ дружить. Прощай.

Мужъ и жена поцѣловались. Затѣмъ Василиса, низко нагнувъ на глаза платокъ, быстро исчезла въ частомъ соснякѣ, начинавшемся на окраинѣ „майдана.“

Никоноръ долго стоялъ подъ той кудрявой сосной, гдѣ онъ распрощался съ Василисой, стоялъ угрюмый, недовольный, потомъ тихо побрелъ въ сторожку, и только тутъ, дорогою, началъ соображать: „какъ же такъ она одна, безъ дочки, ушла на барскій дворъ? кто-жъ будетъ ходить за дочкой?“

У самой же сторожки, онъ рѣшилъ, что, вѣроятно, Василиса еще возвратится къ нему и возьметъ съ собой Галю, свою дочку, и будетъ съ нею жить на барскомъ дворѣ.

Василиса, однакожъ, не возвращалась—не возвращалась день, не возвращалась другой. Никоноръ, какъ умѣлъ, возился съ малюткой—кормилъ ее, убаюкивалъ, игралъ. На третій день отъ Салтычихи пришелъ посланный съ грознымъ приказомъ, чтобъ Василиса немедленно явилась на барскій дворъ.

— Да она ушла, заявилъ Никоноръ.

— На барскомъ дворѣ ея нѣтъ, сообщилъ посланный, и замѣ-

тилъ, подумавъ: да ужъ не ушла-ль она у тебя, Никоноръ, совсѣмъ... куда нинаестъ... А?

Тутъ только Никоноръ понялъ загадочность прощанія съ женой, на которую онъ тогда не обратилъ вниманія.

— И то—не ушла-ль... сказалъ онъ глухо, послѣ долгаго молчанья.

И сердце его защемило страхомъ неизвѣстнаго будущаго, и сильно заныло...

Когда все объяснилось, Никонора, за „недосмотръ за женой“ сводили на конюшню, и затѣмъ оставили его въ покоѣ. Относительно же сироты-дѣвочки, его дочери, Салтычиха сказала:

— Пусть кормить, какъ знаетъ... не околѣетъ, чай: цыганское отродье живуче... они, что кошки... убей, перетащи на другое мѣсто—и оживетъ...

Дѣвочка, въ самомъ дѣлѣ, пережила всѣ тѣ невзгоды, какія только пали на ея дѣтскую головку. Богъ ужъ вѣсть какимъ путемъ, но Никоноръ завелъ у себя козу, и ея молокомъ вскормилъ свою дочку. Когда дѣвочка подросла и стала ходить, то нашлись сердобольныя дворовыя дѣвушки, которыя нѣтъ-нѣтъ да и притаскивали что нибудь для малютки съ барскаго двора.

Вспомнила, наконецъ, о дѣвочкѣ и сама Салтычиха:

— Жива, что-ль, еще эта цыганская замарашка? спросила она какъ-то у Фивы.

Та справилась, и дала утвердительный отвѣтъ.

— Ну, вотъ, я говорила, что не околѣетъ, переживетъ.

По этому поводу, Никонору кое-чего прибавили „на харчи“.

Въ это же время какая-то нищенка оставила въ Троицкомъ четырехлѣтняго мальчика. Мальчика взяли на барскій дворъ, но тамъ онъ никому не понравился, и поэтому рѣшено было отдать его для воспитанія въ Никонорову сторожку.

„Коль съумѣлъ взростить дѣвчурку, мальченку взростить и по-давно“, рѣшено было на барскомъ дворѣ,—и маленькій Акимка очутился у Никонора, котораго появленіе въ сторожкѣ новаго живого существа весьма обрадовало, тѣмъ болѣе, что и на долю Акимки было прибавлено кое-что „на харчи“. Была рада появленію въ сторожкѣ Акимки и маленькая Галя.

И вотъ, дѣти зажили вмѣстѣ, пока не выросли и пока Акима не взяли на барскій дворъ и не сдѣлали изъ него извѣстнаго уже

намъ любимаго кучера Салтычихи, и любимаго ея приспѣшника Акима-живодера—по выраженію дворовыхъ.

Все это, пережитое и передуманное въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, пронеслось въ головѣ Никонора на пути къ „майдану“, хотя онъ и шелъ туда въ какомъ-то странномъ полузабытіи. Чѣмъ болѣе онъ приближался къ „майдану“, тѣмъ болѣе ему становилось тяжеле и тяжеле. Онъ шелъ и ужъ чуть не падалъ на землю. Подобно человѣку, ошеломленному ударомъ по головѣ и устоявшему на ногахъ, онъ находился въ состояніи какого-то умственного оцѣпенѣнія, мѣшавшаго ему и здраво чувствовать и здраво разсуждать...

Но вотъ и „майданъ“, вотъ и знакомая ему кудрявая сосна, высокая, печальная въ своемъ одиночествѣ. Онъ подошелъ къ соснѣ, остановился, посмотрѣлъ мутными глазами вокругъ. Все то же, что онъ давно зналъ и видѣлъ. Вонъ груды лежатъ остатки сухихъ кореньевъ. Вонъ нѣсколько выкорчеванныхъ сухихъ пней, оказавшихся непригодными къ дѣлу, съ сѣрыми боками и длинными, тонкими и крючковатыми кореньями, похожими на какія-то гигантскія ноги паука. Вонъ яма, покрытая дерномъ, съ чернымъ отверстіемъ, заросшая теперь изумрудно-зеленой, плотной травкой. Вонъ какіе-то разбитые кирпичи, вонъ мусоръ, остатки костровъ, вонъ покинутый срубикъ рабочихъ... А вокругъ, на довольно большое пространство, все пни, пни и пни...

Зачѣмъ онъ здѣсь?... Зачѣмъ оставлена эта одинокая сосна, свидѣтельница его давняго горя?..

Никоноръ какъ-будто что-то вспомнилъ, началъ что-то вытаскивать изъ-подъ полы, что развивалось и падало на землю и что онъ торопливо подбиралъ, какъ-будто боялся потерять...

Зачѣмъ онъ здѣсь?... Онъ не знаетъ, онъ не помнитъ, зачѣмъ онъ здѣсь, на этомъ пустынномъ „майданѣ“, подъ этой одинокой сосной... Онъ помнитъ только одно—онъ помнитъ однѣ только тѣ слова, которыя онъ говорилъ дочери, Галинѣ. Онъ говорилъ: „удерживай меня, Галя! удерживай!“ Но Галя не слушала его, все хохотала... И онъ ушелъ...

Вскорѣ тишина лѣса нарушилась хриплымъ крикомъ стараго ворона, который зоркимъ, хищнымъ окомъ своимъ видѣлъ что-то качающееся на суку старой, одинокой, среди „майдана“, сосны...

Затѣмъ прибавился еще крикъ, и еще, и еще... Хищники нашли добычу, хищники ожидали пира...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Л и с т ь я ш е л е с т я т ь .

Долго, въ какомъ-то жгучемъ озлобленіи, мало что думая, мало что соображая, ходила изъ угла въ уголъ по сторожкѣ Галина. Слезы душили ее: ей хотѣлось плакать, но въ тоже время нервическій хохоть подступалъ къ ея горлу — и у нее вырывалось болѣе хохочущихъ звуковъ изъ гортани, чѣмъ горючихъ слезъ изъ глазъ.

Первый позоръ подѣйствовалъ на бѣдную дѣвушку ошеломляющимъ образомъ. Она была зла необыкновенно. Что-то недоброе, враждебное ко всему окружающему, зародилось въ ней, подобное тому, что заставляетъ лошадь, о которой выражаются, что она „зла къ человѣку“, становиться на дыбы и кусаться. И Галина, дѣйствительно, готова была теперь кусаться со всѣми, со всѣми вступать въ борьбу, враждовать, драться. По временамъ, пальцы ея судорожно сжимались, и для нихъ недостовало только предмета, который бы она могла въ озлобленіи терзать или душить. При всемъ этомъ, замѣчательнѣе всего было то, что дѣвушка не столько чувствовала озлобленія къ виновницѣ ея позора, Салтычихѣ, сколько къ ея двумъ приспѣшникамъ, къ Акимѣ и къ Сидорѣ,—къ послѣднему въ особенности.

Сидорка сталъ для Галины теперь человѣкомъ вполнѣ ненавистнымъ, и она теперь никакъ понять не могла, почему этотъ человѣкъ былъ ею избранъ, почему она его любила.

Съ невыразимымъ отвращеніемъ она вспоминала теперь тотъ моментъ, когда Сидорка, по приказанію Салтычихи, принесъ въ сторожку пукъ березовыхъ прутьевъ и затѣмъ отдѣлилъ отъ него одинъ пучекъ, нѣсколько поменьше.

Сидорка въ это время глядѣлъ потупленно, морщился, поднималъ какъ-то странно плечи, и какъ будто силился что-то сдѣлать смѣлое и рѣшительное.

Одно время чего-то рѣшительнаго и ждала отъ него Галина. Но потомъ лицо любимаго человѣка изобразило нѣчто тупое, жалостливое, дураковатое, что собственно какъ-то вдругъ и стало омерзительно дѣвушкѣ. Потомъ кровь прилила ей въ голову, и она, какъ въ тяжеломъ снѣ, помнитъ только, что чьи-то холодныя, дрожащія руки коснулись ея стана и задержали ея сарафанъ. Сарафанъ она, затѣмъ, порвала сама на себѣ, и, вся въ жару, въ отчаянномъ ожесточеніи, что-то выкрикивая, не то угрозу, не то жалобу, отдалась рѣшенной для нея Салтычихой расправѣ.

Затѣмъ, уже съ подробностями, она вспоминала ту смѣшную сцену, о которой она передавала отцу...

Но гдѣ же отецъ? куда ушелъ онъ? что она говорила ему такое?..

На дворѣ уже смеркалось. Пора бы ему и возвратиться, ежели онъ пошелъ оглядывать лѣсъ. Кто теперь, въ такую пору, проберется въ такую чащу? кому надо?.. Она опять посмотрѣла въ оконце, опять прошла, и какъ-то вдругъ почувствовала во всемъ своемъ тѣлѣ усталость. Ее клонило ко сну. Какъ бы разбитая и изнеможенная, она уже еле двигалась, напоминая и всей своей сѣроватовой фигурой и всѣми своими усталыми движеніями раненую летучую мышъ, хлопающую крыломъ. Не выдержавъ, наконецъ, охватившей ее истомы, Галина склонилась ничкомъ на лавку, и заснула тяжелымъ, крѣпкимъ сномъ преступника, ожидающаго за-утро казни.

Странны, иногда очаровательны, иногда смутны и томительны, были видѣнія дѣвушки.

Первый весенній воздухъ ворвался сегодня въ маленькое оконце сторожки. Отца въ сторожкѣ нѣтъ: онъ по дѣлу ушелъ на барскій дворъ, въ Троицкое, и возвратится только къ вечеру. А теперь на дворѣ утро, ясное, улыбающееся — улыбающееся той непонятно-очаровательной прелестью, которая свойственна только одной веснѣ. Скучно ей одной въ сторожкѣ, дѣлать нечего, скучно ждать и отца. Покрытая свѣжей листвою березки, которыя она видитъ изъ оконца и которыя Богъ вѣсть почему похожи теперь на улыбающихся въ своемъ нарядѣ цѣломудрія невѣстъ, такъ и манятъ подъ свои кудрявыя вѣтки, и словно шепчутъ промежъ себя что-то такое, что только можетъ понять одно юное дѣвичье сердце. Дѣвушка захлопываетъ оконце, запираетъ сторожку, и медленной, точно лѣнивой, походкой, свойственной однѣмъ только физически

формирующимся дѣвушкамъ, идетъ къ березкамъ. „А, здравствуй, дѣвушка-лебедушка!“ словно шелестятъ онѣ красавицѣ на встрѣчу. Но вотъ она и среди березокъ. Идетъ, оглядывается, прислушивается. Ничего не слышно, кромѣ шелеста, да гдѣ-то пѣночка стонетъ свою однообразную, но всегда за душу трогующую пѣсенку. „Ахъ, сколько ландышей!“ восклицаетъ Галя, и начинаетъ рвать серебристые цвѣты весны. Она ихъ набрала цѣлую горсть, потомъ набрала ихъ въ фартучекъ, и пошла съ ними безъ определенной цѣли далѣе. Шла, шла и—остановилась. Гдѣ-то въ уремѣ, какъ-то вдругъ, сразу, словно на встрѣчу дѣвушкѣ, зарокоталъ соловей—нельзя же было не заслушаться пѣвца весны и для того не пріостановиться. Соловей пѣлъ безъ перерыву, долго. Долго стояла и Галя, прислонясь плечомъ къ стволу какого-то дерева. И потомъ, когда соловей, наконецъ, смолкъ, Галѣ стало грустно, необыкновенно грустно. Она опять побрела лѣсомъ, но уже опустивъ головку, и вдругъ, какъ будто сами собой, невольно и безъ желанія, изъ груди ея полились голосистые звуки:

Коровать ты моя, короватушка!
Запустѣла коровать безъ мила дружка,
Безъ мила-то дружка, безъ сердешнова!

Не успѣла смолкнуть ея дѣвичья, печалующаяся на одиночество, пѣсенка, какъ недалеко отъ нея, почти въ нѣсколькихъ шагахъ, раздалась другая пѣсенка—и болѣе смѣлая, и болѣе веселая.

То уже была молодецкая пѣсня.

По зорюшкѣ, по зарѣ,
Что по утренней зарѣ,
Шель дѣтинка изъ гостей—
Со великихъ радостей.

Галя сперва притаилась—хотѣла-было переждать, когда пройдетъ молодець-пѣвецъ, но потомъ, чего-то вдругъ застыдившись, какъ испуганная птичка, порхнула въ сторону—и,—что за диво такое! какъ это могло случиться?—очутилась лицомъ къ лицу съ пѣвцомъ-молодцомъ.

— Ай! только и могла вскрикнуть она, роняя изъ рукъ и изъ фартучка ландыши.

Удалая пѣсня оборвалась сразу—она смолкла, какъ порванная струна, дернутая слишкомъ смѣлой рукой увлекашагося музыканта.

Пѣвецъ, нѣсколько подбоясь, съ видимо напускной смѣлостью, стоялъ на дорогѣ, на которую выскочила и Галя, и улыбался во все свое молодое лицо, загорѣлое, съ каплями пота на лбу.

Дѣвушка, не взирая на свое смущеніе, тотчасъ же замѣтила, что передъ нею стоитъ не совсѣмъ деревенскій парень. Синій кафтанъ, цвѣтная рубашка, надѣтая на бекрень легкая войлочная шапка, смазные сапоги, — все показывало, что парень изъ дворовыхъ и привыкъ, — по-своему, конечно, — держаться въ барскихъ хоромахъ.

Сердце дѣвичье, еще не тронутое невзгодами любви, — загадка немудреная. Оно всегда поддается первому впечатлѣнію, и первый человѣкъ, съумѣвшій молодцовато, проще сказать, картинно, показаться передъ нимъ, передъ этимъ сердцемъ, всегда завоевываетъ себѣ вниманіе, а затѣмъ, чаще всего, и любовь.

Кудрявъ и красивъ былъ изъ себя и стоявшій передъ потупившейся Галей парень. Странное, почти мимолетное чувство „чего-то“ уже коснулось сердца дѣвушки, и оставило тамъ свой неизгладимый слѣдъ. Солнце для нея засвѣтило ярче, окружающій ее лѣсъ зашелестилъ своими листьями и явственнѣе, и заманчивѣе. Дѣвучкѣ уже захотѣлось услышать отъ того слово, кто стоялъ передъ ней въ позѣ побѣдителя. И она услышала его.

Пѣвецъ заговорилъ, и заговорилъ смѣло и вкрадчиво.

— Мы не воры, мы не разбойники насъ бояться нечего, лебедушка! началъ онъ съ объясненія. А тебя мы давно знаемъ.

— Откуда-жъ? рѣшилась приподнять голову дѣвушка.

— А мы, лебедушка, на одного воеводу возимъ воду — вотъ отъ жудова.

Галя не поняла его.

— Изъ дворовыхъ? спросила она несмѣло.

— Сама видишь! У двороваго всегда много новаго! забалагурилъ парень. Особливо у Салтычихи.

— Стало, ты Троицкій?

— Троицкій и есть. При самой барынѣ состоимъ... вмѣстѣ съ Акимкой... Акимку, чай, знаешь?

— Это что у насъ въ сторожкѣ былъ? оживилась дѣвушка, радуясь предлогу, что она можетъ говорить свободнѣе.

— Онъ самый. Въ кучерахъ онъ теперь... у Салтычихи. А мы

будемъ—Сидоръ Ананьичъ... Лихаревъ по прозвищу... Что, по шерсти кличка, аль нѣтъ? засмѣялся парень, оскаливъ свои бѣлые, здоровые зубы.

— Я не знаю... замаялась дѣвушка, не находя, что на это отвѣтить.

— Не все и знать надо вашему брату, бѣлой лебедушкѣ. А намъ, молодцамъ, кое-что и необходимо знать. Ты, вотъ, знаю Никонорова дочка, нашего лѣсника, Галина. Стало быть: Галина Никоноровна.

Тутъ Лихаревъ сдѣлалъ изъ своего лица умильное выраженіе, и проговорилъ, кланяясь:

— Здорово, Галина Никоноровна. Не обезсудь на первомъ знакомствѣ. Можетъ, когда и пригодимся.

Только и всего было сказано при этомъ первомъ знакомствѣ. Но эти простыя, послѣднія, слова Лихарева долго не давали дѣвушкѣ спать по ночамъ и долго она ходила на то мѣсто дороги, гдѣ впервые съ нимъ встрѣтилась и гдѣ впервые говорила съ нимъ въ ясный, вешній день, подъ шелестъ листьевъ очнувшись послѣ зимней спячки бора. Потомъ такъ же долго она ждала того, кто такъ во время и кстати явился передъ ней, чтобы разсѣять ея дѣвичью грусть-тоску.

Хитрый паренекъ явился, и явился тоже какъ-то во время и кстати, хотя какъ-будто мимоходомъ, невзначай. На этотъ разъ, все ужъ было кончено: все объяснилось, все переговорилось, и съ этого дня начали мелькать для Галины дни за днями въ какомъ-то невѣдомомъ для нея чаду, въ какомъ-то невѣдомомъ для нея опьяненіи, незнающемъ никакихъ размышленій, никакихъ думъ, кромѣ одной завѣтной думы. Галина любила, и любила со всею страстью, какую вносятъ одиноко взросшія дѣвушки въ любовь, любила со всею нѣжностью, накопившеюся въ ея юномъ сердцѣ, которое еще не любило, съ безуміемъ мозга, какъ бы пораженного счастьемъ, и, наконецъ, такою горячею любовью, существованіе которой только и возможно было допустить у такой дикарки, какою была Галина, съ цыганскою кровью въ тѣлѣ...

Счастливые дни въ одинъ день, въ одинъ часъ, были помрачены, были разбиты... Уже-ль всему виной Салтычиха?... Не Сидорка ли?...

— Сидорка! Сидорка! раздался чей-то не громкій, но отчетливый голосъ, казалось надъ самымъ ухомъ Галины.

Галина вздрогнула всѣмъ тѣломъ, очнулась, и открыла глаза. Бокъ у нея нылъ, одна рука тоже. Она медленно приподнялась съ лавки, потянулась. Свѣтъ горящей лучины ударилъ ей прямо въ глаза: она прищурила ихъ и опять открыла. Теперь она уже хорошо видѣла, что въ сторожкѣ, у конника, стояли къ ней спиной два человѣка, въ армякахъ, и съ чѣмъ-то возились.

Прежній голосъ снова повторилъ, погромче:

— Сидорка!.. И прибавилъ: да что-жъ ты нейдешь... дубина!.. подь сюда!.. намъ однимъ не справиться... того гляди, уронимъ...

На порогъ появился Сидорка, безъ шапки, съ перепуганнымъ лицомъ.

Давешняя злость мгновенно закипѣла въ сердцѣ Галины, и она, вскочивъ съ лавки, почти закричала ему на встрѣчу:

— Уйди!.. уйди отсюда!.. тебѣ здѣсь не мѣсто!.. Уйди!..

— Молчи ты... дура!.. остановилъ ее тотъ же голосъ, который звалъ Сидорку... Тише!.. въ домѣ—мертвецъ!.. Уважь мертвеца-то... оглашенная!..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Надъ свѣжей могилою.

То утро, въ которое Салтычиха собиралась въ Москву, было для нее не особенно пріятно.

Въ то самое время, когда все уже было готово къ отъѣзду, изъ сельца на барскій дворъ прибѣжалъ оторопѣвшій мужикъ съ неприятнымъ извѣстіемъ.

— Никоноръ удавился... въ лѣсу, на „майданѣ...“ доложилъ онъ перепуганнымъ голосомъ барынѣ, садившейся уже въ свой помѣстительный, тяжелый дорожный рыдванъ.

— Дуракъ!.. скоть!.. крикнула на него Салтычиха, и быстро, съ помощью Фивы, начала вылѣзть изъ рыдвана.

Салтычиха вѣрила, какъ обыкновенно вѣрятъ почти всѣ злые

женщины, во всякаго рода примѣты, и потому сообщеніе мужика о повѣсившемся Никонорѣ смутило ее. Она уже боялась ѣхать въ Москву, въ полномъ убѣжденіи, что въ дорогѣ съ ней случится какое-нибудь несчастіе. Повѣсившихся она боялась въ особенности. Она вѣрила, что „висѣльники“ встаютъ по ночамъ и долго ходятъ туда, гдѣ повѣсились и къ тому, кто былъ причиной ихъ гибели. О другихъ мертвецахъ почему-то она была совсѣмъ иного мнѣнія: тѣ не вставали и ни къ кому не приходили. Чувствуя за собой относительно Никонора вину, она уже заранѣе боялась его посѣщенія, и проклинала и мужика, сообщившаго ей о „висѣльникѣ“, и самого „висѣльника.“

Мужику, однакожъ, досталось болѣе: его немедленно отправили на конюшню, и тамъ съ нимъ распорядились, какъ слѣдуетъ.

Распорядились, впрочемъ, и относительно Никонора: Сидоркѣ и еще двумъ другимъ дворовымъ приказано было снять „висѣльника“ и похоронить безъ замедленія гдѣ-нибудь въ лѣсу, вбивъ ему въ спину осиновый колъ, въ предупрежденіе того, чтобы онъ не могъ вставать и не бродилъ по ночамъ. Галину же приказано было привести на барскій дворъ.

По указанію мужика, Сидорка съ дворовыми, захвативъ лопаты, отправились на „майданъ.“

Снявъ съ петли окоченѣвшій трупъ Никонора, Сидорка почелъ за лучшее доставить трупъ сперва въ сторожку, чтобы дочь могла проститься со своимъ покойнымъ отцомъ. Онъ былъ въ душѣ малый добрый, вѣрующій, и къ тому же любилъ Галину, которая такъ неожиданно и грустно осиротѣла.

Видъ оледенѣлаго трупа отца съ посинѣвшимъ и раздутымъ лицомъ, поразилъ Галину такъ, что она нѣсколько минутъ стояла безъ малѣйшаго движенія, глядя безумными глазами прямо въ лицо безжизненнаго старика. Все было на немъ такъ, какъ онъ ушелъ изъ сторожки: тотъ же армякъ, кушакъ, сапоги. Были растрепаны только сѣдые волосы. И бѣдная дѣвушка видѣла еще страшно искривившійся ротъ съ каплями застывшей крови по краямъ губъ. Мгновеньями, ей казалось, что покойный улыбается—и ужасна до оледенѣнія крови была эта улыбка у покойнаго. Чему онъ такъ ужасно улыбается? чему онъ такъ ужасно радуется? Вѣдь, онъ мертвъ, и не встанетъ болѣе. Или, можетъ быть, эта безжизненность и есть настоящая жизнь, и старику хо-

рошо, что онъ покончилъ съ той жизнью, которая такъ долго томила его!.. Долго глядѣла блѣдная дѣвушка на это посинѣлое лицо, на эту странную улыбку, и наконецъ начала улыбаться сама...

Дворовые переглянулись. Не было сомнѣнія, что дѣвушка обезумѣла отъ горя. Пора было покончить со всѣмъ этимъ — пора было унести трупъ.

— Похоронимъ... чего ждать?... напомнилъ все тотъ же дворový, который ранѣе звалъ Сидорку изъ сѣней.

— Похоронить надо... согласился Сидорка глухимъ голосомъ. Пора ужъ. Салтычихѣ надобно отвѣтъ дать.

Дворовые завозились около трупа, потомъ понесли его.

Галина слѣдовала за ними, молча и медленно, съ широко открытыми глазами, какъ у безумной.

Сидорка отыскалъ гдѣ-то рогожку, какой-то грязноватый кусокъ полотна въ родѣ простыни, и слѣдовалъ съ ними и съ лопатами за несшими трупъ дворовыми. Всѣ трое шли безъ шапокъ.

— Братцы, далеко ходить нечего... заговорилъ Сидорка, когда всѣ очутились въ оголенномъ уже осенью березникѣ, въ томъ самомъ, который прошлой весной такъ очаровалъ Галину. — Схоронимъ тутъ—мѣсто самое подходящее. Клади старика на землю. Бери лопаты.

Дворовые завозились.

Въ нѣсколько минутъ была вырыта неглубокая могила, и въ нѣсколько минутъ трупъ несчастнаго полѣсовщика, завернутый въ простыню и въ рогожу, былъ засыпанъ влажной лѣсной землей. Всѣ крестились и тогда, когда зарывали трупъ и тогда, когда трупъ былъ уже зарытъ. Сидорка при этомъ, все еще блѣдный, и разстроенный, прочелъ дрожащимъ голосомъ молитву. Объ осиновомъ колѣ при этомъ никто не вспоминалъ. Еще ранѣе рѣшено было бросить „это не христіанское дѣло“ такъ-какъ Никоноръ никогда колдуномъ не былъ, а колъ вбиваютъ только въ могилу колдуновъ. Довольно, и того, что несчастный былъ лишенъ христіанскаго погребенія. Всѣ трое согласились „по этому дѣлу“ передъ Салтычихой соврать. А вслучаѣ справокъ, скажемъ, молъ, что съ перепугу не знаемъ, гдѣ похоронили. Съ этою цѣлью, земля надъ могилой была затоптана, потомъ плотно засыпана грудой опавшихъ листьевъ, и прошлогоднихъ и опавшихъ въ ту осень.

Когда все было кончено, дворовые поторопились домой.

Съ Галиной остался одинъ Сидорка.

— Галя! Галя! началъ онъ. Что за горе такое стряслось надъ нами?

Дѣвушка глядѣла на него удивленно, и долго ничего не отвѣчала. Потомъ заговорила—тихо, какимъ-то угнетеннымъ голосомъ:

— Вотъ и похоронили... вотъ и не стало моего рѣднаго... со-всѣмъ-таки не стало...

— Не стало, Галя... покончилъ съ собой... бѣдняга!

— Что съ нимъ?... какъ онъ?... Я, вѣдь, не знаю, Сидоружка... спросила все тѣмъ же голосомъ дѣвушка, со слезами на глазахъ.

— Удавился на „майданѣ...“ Очень просто...

— А! протянула дѣвушка, и задумалась, какъ бы что-то припоминая, или соображая. Потомъ, словно бы сама съ собою, заговорила: Что-жъ мнѣ теперь?... куда мнѣ?... Родной нѣтъ, рѣднаго нѣтъ... Одна... какъ есть, одна-одинешенька... что засохшая былинка въ полѣ...

Галина закрыла лицо руками, и повторила опять:

— Куда-жъ мнѣ теперь?... куда, Сидоружка?..

— На барскій дворъ велѣно тебѣ, Галя, отвѣчалъ Сидорка. Салтычиха требуетъ.

— На барскій?... Ну, да... помню... знаю... слышала...

— Такъ пойдемъ. Брось эту сторожку проклятую.

— И брошу, и не приду сюда никогда! Ужъ точно, что проклятая! Радости было мало, а горя-то, горя... ахъ, много было горя горькаго!

Сидорка приблизился къ дѣвушкѣ.

— Галя, забудь все... брось... Чего намъ!..

— Что бросить? что забыть, парень? произнесла дѣвушка.

— Да все! все брось!

Дѣвушка странно и тихо разсмѣялась.

— Стало быть, забыть и то, какъ ты отхлесталъ меня, Сидоружка?..

— Да нешто я воленъ былъ въ томъ?! почти вскричалъ Сидорка. Видѣла, что со всѣми нами творила Салтычиха! Ослушался бы—она бы запросто приказала Акимкѣ убить и меня, и тебя. Убилъ ли бы тебя Акимка—не знаю, а что меня бы убилъ

— это самое вѣрное дѣло. Тебѣ, вѣдь, не вѣдомо, что у него всегда за голенищей отточенный ножъ имѣется. Онъ всегда имъ, анаѣема, готовъ поработать, что разбойникъ какой придорожной...

— Я этого не знала, Сидоружка, ужъ прости, сказала совершенно искренно Галина, чувствуя, что она не въ силахъ ненавидѣть этого человѣка.

— Не знала! воскликнулъ Сидорка. Мало-ль ты чего не знаешь, что у насъ на барскомъ дворѣ дѣется! Дыбомъ волосъ становится! А что мы похлестали маленечко другъ друга — бѣда не велика, это горе не въ горе, до свадьбы заживетъ!..

— И все это Салтычиха! все Салтычиха! произнесла вдумчиво Галина.

— Все она, окаянная!

— Все она!?...

Сказавъ это, Галина вдругъ потрянула головой, и хрипло, точно ей кто-нибудь сжималъ горло, заговорила:

— Сидорка! слушай, что скажу! слушай!

— Ну? взялъ ее за руку Сидорка.

-- Вотъ тутъ лежитъ батъка! горячилась дѣвушка. — Ужъ онъ не встанетъ больше!.. нѣтъ, нѣтъ!.. Онъ не встанетъ, чтобы задушить свою злодѣйку, свою кровопивицу... Такъ, слушай!.. слушай!.. Любовь ты мнѣ, много любовь, Сидоружка! не покину я тебя никогда, никогда не разлюблю! Такъ, не покидай же и ты меня! не разлюби же и ты меня, дорогой мой парень!

— Галя! Галя! было ей отвѣтомъ со стороны Сидорки, тоже увлекшагося ея горячностью.

— Вѣрю тебѣ, Сидоружка, вѣрю! продолжала дѣвушка. Такъ вѣрь же и ты мнѣ! А коль вѣришь, такъ поклянись вотъ тутъ, надъ моимъ батюшкой несчастнымъ, что ты мнѣ поможешь отплатить Салтычихѣ за все то, что она для насъ понадѣлала! Клянешься-ли, Сидоружка?

— Э, Галя! качнулъ головой Сидорка. Я ужъ объ этомъ давно думаю, давно это въ мысляхъ у себя держу. Просилъ даже объ этомъ у барина, у Тютчева, кой тожъ теперь на Салтычиху зубы точить... Да все какъ-то не ладится... Ужъ больно много прихвостней у Салтычихи — за всякимъ твоимъ шагомъ слѣдятъ, все подглядываютъ, все подслушиваютъ... Въ такомъ дѣлѣ ухо надо держать востро! ой, какъ востро!

— Ты и держи! серьезно сказала Галина. А-все-жъ-таки поклянись, что ты мнѣ поможешь, Сидоружка! Може, вдвоемъ-то и сладимъ съ этой волчихой ненасытной, съ этой кровопивницей нашей!

— Что-жъ, я завеегда готовъ! согласился Сидорка. И, крестясь, произнесъ три раза слово клятвы, и потомъ, ставъ на колѣни, тоже три раза поцѣловалъ землю, подъ которой только-что былъ зарытъ несчастный полѣсовщикъ.

Дѣвушка подняла его и горячо поцѣловала.

— Ну, Сидоружка, теперь ты—мой, а я—твоя! Пусть насъ разлучить теперь только одна гробовая доска! Все я позабыла, никакого зла я на тебя не имѣю. А имѣла было.

Затѣмъ, слегка отклонивъ отъ себя любимого парня рукой, Галина, послѣ этого, тоже опустилась надъ могилой отца, склонилась къ землѣ головой, и что-то зашептала для Сидорки невнятное.

Сидорка стоялъ, не шевелясь, благоговѣйно, и любовно смотрѣлъ на свою любимую дѣвушку.

Счастье смѣшанное съ ненонятной грустью и съ только-что пережитымъ впечатлѣніемъ, тихо охватывало его сердце, и вмѣстѣ съ тѣмъ что-то жуткое какъ бы подкрадывалось со стороны и простирало надъ нимъ какія-то страшныя, цѣпкія руки...

Дѣвушка съ могилы отца не вставала долго. А когда встала — то и ей, и Сидоркѣ представилась новая картина. Со стороны сторожки несло гарью, дымомъ, а мгновеньями, сквозь сѣтку деревьевъ, сверкалъ и огонь...

То горѣла сторожка покойнаго полѣсовщика Никонора. Огонь, позабытой въ торопяхъ лучины, пожиралъ послѣднія остатки бѣдняка. Ни Галина, ни Сидорка даже не тронулись съ мѣста, чтобы спасти тамъ что нибудь. Для нихъ это было совершенно излишне: имъ жалѣть въ сторожкѣ, гдѣ уже не было хозяина, было нечего.

Они стояли и какъ будто даже любовались на этотъ, все выше и выше поднимавшійся надъ лѣсомъ дымъ... Не съ нимъ ли уходила куда нибудь въ необозримое пространство и бѣдная душа стараго полѣсовщика, Никонора!... Богъ вѣсть!...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Н о в ы я п о д р у г и.

Домъ Салтычихи, на Большой Лубянкѣ, близъ церкви Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы, представлялъ изъ себя маленькую, своеобразную крѣпость: все было устроено прочно, здорово, и такъ, что посторонній человѣкъ не легко могъ пробраться туда. Желѣзные ворота были всегда на замкѣ. Самый домъ, находившійся въ глубинѣ обширнаго двора, былъ закрытъ разрошмися въ ширину и въ высь громадными тополями, подѣльными которыхъ было нѣсколько собачьихъ конуръ съ необыкновенно громадными и злыми собаками, которыя, какъ голодные волки, готовы были кинуться на всякаго, кто бы посмѣлъ пройти къ дому безъ сторожа, въ свою очередь человѣка разбойничьяго вида и разбойничьяго характера, всегда въ рукахъ съ громадной, обитой на концѣ желѣзомъ, дубиной.

Сторожъ этотъ, по имени Анфимъ, стоялъ у воротъ неизмѣнно, и неизмѣнно ошарашилъ бы дубиной всякаго, рѣшившагося какъ нибудь пробраться во дворъ. Онъ отъ природы былъ нѣмъ, и потому мраченъ, золъ, силенъ и весьма здоровъ. По какой-то странной привычкѣ, онъ и спалъ съ однимъ открытымъ глазомъ. Салтычиха любила этого вѣрнаго пса въ человѣческомъ образѣ, и часто, не въ примѣръ другимъ, дарила его не только щеголеватой одеждой, но даже и деньгами. Когда Салтычиха уѣзжала на лѣто въ Троицкое, то весь домъ оставался на его попеченіи, и ей хорошо было извѣстно, что въ домѣ все будетъ въ цѣлости и на мѣстѣ. Кромѣ того, онъ въ домѣ нерѣдко исполнялъ и порученія барыни—особенно секретныя, важныя, тѣ именно, какія исполнить не въ силахъ были другіе. Было ему лѣтъ около пятидесяти, и онъ собственно не былъ крѣпостнымъ Салтычихи. Пришелъ онъ какъ-то къ ней въ одной рубашкѣ, босой, безъ шапки, и знаками началъ проситься въ услуженіе. По его разбойничьей физіономіи, Салтычиха сразу оцѣнила въ немъ вѣрнаго раба, и приказала отправить его сперва на кухню выносить помои и ѣздить за водой, а потомъ ужъ поставила его и сторожемъ у

воротъ. Такъ-какъ онъ не могъ объяснить своего имени, то его дворовые называли Анфимомъ, и называли потому, что передъ его появленіемъ въ домъ у Салтычихи, умеръ одинъ изъ дворовыхъ по имени Анфимъ. Салтычиха же, по свойственному ей обращенію, называла его просто „нѣмымъ чортомъ,“ что, повидимому, весьма нравилось Анфиму, и онъ всегда сурово улыбался на этотъ зовъ барыни. Дворня этого молодца ненавидѣла хуже Акима-кучера, потому, что ему были вѣдомы всѣ шашни и продѣлки дворовыхъ, и онъ, коли былъ золъ на кого, умѣлъ какъ-то передать Салтычихѣ то, что ему было надо. Само собою разумѣется, виновный получалъ то, чѣмъ умѣла дарить Салтычиха. Особенно „нѣмого чорта“ ненавидѣлъ весь женскій персоналъ Салтычихинской дворни, такъ-какъ любовныя похожденія ихъ не имѣли уже, благодаря Анфиму, того милаго характера, какой имъ былъ желателенъ. Зоркій глазъ Анфима и желѣзные ворота очень часто и очень сильно охлаждали ихъ сердца, и красавицамъ и некрасавицамъ Салтычихинскихъ дѣвичьихъ и переднихъ волей-неволей приходилось скучать въ одиночествѣ.

Пріѣзду Салтычихи изъ Троицкаго въ домъ, Анфимъ всегда радовался, какъ какому-нибудь празднику. Онъ наряжался въ лучшую свою рубашку, въ лучшій армякъ, въ сапоги, и безъ шапки ожидалъ ее у самыхъ воротъ. Всякій разъ, Салтычиха, вылѣзши изъ дорожнаго дормеза, непременно, какъ собаку, трепала Анфима по наклоненной спинѣ, приговаривая „ну, ну, здорово, нѣмой чортъ!“ и потомъ уже, въ сопровожденіи его же, входила въ домъ.

Въ только-что совершившейся теперь пріѣздъ Салтычихи изъ Троицкаго, Анфимъ слышалъ, лучше сказать, болѣе понялъ по движенію ея губъ и по выраженію ея глазъ и нѣчто другое.

Позади барыни, когда она только-что вылѣзла изъ дормеза, стояла совершенно неизвѣстная Анфиму дѣвушка, съ небольшимъ узелкомъ въ рукахъ

Салтычиха, мотнувъ въ сторону дѣвушки головой, громко сказала:

— Смотри, нѣмой чортъ — новая! Не оплошай! Такая-то и ворота твои желѣзные просверлитъ!

Анфимъ вскинулъ своими мутными глазами на дѣвушку, и быстро опустилъ ихъ.

Барыня шла уже къ дому, и онъ поспѣшилъ за ней.

Въ тотъ же день, вечеромъ, при сальномъ огаркѣ, въ самомъ далекомъ уголкѣ громаднаго Салтычихинскаго дома, сидѣли двѣ дѣвушки, и тихо вели между собой бесѣду, повидимому нѣсколько стѣсняясь другъ дружки и не особенно откровенничая, какъ обыкновенно бываетъ между новыми, непривыкшими еще другъ къ другу, знакомыми.

Одна изъ дѣвушекъ была Галина, вмѣстѣ съ барыней пріѣхавшая изъ Тропцкаго въ качествѣ новой горничной. Она довольно много измѣнилась съ того дня, какъ стояла на могилѣ отца съ Сидоркой. Глаза ея впали, щеки были блѣдны, губы часто искривлялись въ какую-то странную улыбку, и вообще — вся фигура ея представляла нѣчто озабоченное, какъ бы даже испуганное, что, однакожъ, почти нисколько не мѣшало ей быть по прежнему красивой и привлекательной. Къ ней особенно шелъ новый ея нарядъ, „городской“, какъ говорилось между дворовыми. Волосы ея были тщательно и гладко причесаны. Прежней дикарки въ ней словно бы и не бывало.

Галина держала себя съ другой дѣвушкой, новой ея подругой, тоже горничной, Агашей, осторожно и сдержанно. Она больше слушала, чѣмъ говорила, что Агаша очень хорошо понимала, и старалась внушить Галинѣ къ себѣ довѣріе.

И, дѣйствительно, Агаша была дѣвушка добрая и простая, низенькая, круглолицая, бѣлокурая, всегда вся сіяющая ямочками на щекахъ и улыбочками на румяныхъ губкахъ. Суровая жизнь подъ кровлей Салтычихи, казалось, не вліяла на нее нисколько, и, казалось, что побои, которыхъ она переносила множество и почти на каждомъ шагу, были ей въ пользу. Она одна среди угрюмой Салтычихинской дворни являлась какимъ-то свѣтлымъ существомъ. За это всѣ ее любили, кромѣ одной Салтычихи, которая никакъ не могла примириться съ безконечнымъ весельемъ и добродушіемъ своей горничной.

Увидавъ Галину на барскомъ дворѣ, она тотчасъ-же оцѣнила добрыя качества лѣсниковой дочери, и вошла съ ней въ дружбу, передавъ ей добродушно всѣ сплетни и всѣ тайны барскихъ хоровъ, и при томъ, во избѣжаніе побоевъ, знакомила ее съ тѣмъ новымъ дѣломъ, на которое ее, Галину, опредѣлили. За это Галина была весьма благодарна Агашѣ, и вѣрила ей дружбѣ, хотя

и съ нѣкоторой осторожностью. Теперь имъ, въ Москвѣ, въ домѣ Салтычихи, отвели одинъ уголокъ, и онѣ, по необходимости, должны были жить вмѣстѣ и вмѣстѣ дѣлить горе и радости. Этому обѣ онѣ были рады.

Утомленная дорогой, Салтычиха рано завалилась спать, и отпустила всѣхъ по своимъ конурамъ. Дѣвушки обрадовались свободѣ, и повели тихую бесѣду.

— Чортъ съ ней совсѣмъ, съ этой Салтычихой! откровенно болтала Агаша. Всѣ ее боятся тутъ, а я, право же, нисколько не боюсь ее. Ну, поругается—и перестанетъ, побьетъ—и тоже перестанетъ. А мнѣ все какъ-то въ прокъ идетъ—и ругань ея, и побои. Право же.

— Ты, должно, привыкла, замѣтила Галина.

— Тутъ ко всему привыкнешь, Галя.

— Я вотъ, думаю, не привыкну тутъ ни къ чему.

— Привыкнешь.

— Развѣ къ худому привыкають?

— А тутъ добра и во вѣки вѣковъ не дождешься.

— Ахъ, это правда твоя, Агаша! произнесла сокрушенно Галина.

— Вѣстимо, правда. А только худому этому, поди, и конецъ когданибудь будетъ, понизила голосъ Агаша.

— А ты почему же это знаешь? спросила почти шопотомъ Галина.

— Вдругорядь какъ-нибудь расскажу. Теперь не время. На все свое время, Галечка.

Дѣвушки примолкли, точно раздумывая о чемъ-то, всякая сама про себя. Да и хорошо сдѣлали, что примолкли, такъ-какъ на порогѣ ихъ komórки появилась та, о комъ только-что шла рѣчь.

— Аль не спится, паскуды? сказала сквозь зубы появившаяся на порогѣ Салтычиха, со свѣчей въ рукахъ, простоволосая. Зову, зову, а онѣ тутъ, момошки мои, рѣчи ведутъ дѣвичьи, по милымъ дружкамъ воспоминають!

Дѣвушки вскочили со своихъ мѣстъ.

— Чего вскочили, какъ оглашенные! Сидѣли бы. Барыня и сама кое-что сдѣлаетъ. Не велика, моль, птица!

Дѣвушки молчали, и смотрѣли на Салтычиху въ изумленіи.

— Аль не узнали, кто пришелъ! зарычала уже грозная барыня. А коль не узнали, такъ узнайте, да кстати ужъ и познакомьтесь получше! Ну-ко-ся!.. Потрепите-ка другъ дружку!..

ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ.

Безумная.

Жизнь Салтычихи въ Москвѣ, въ ея домѣ на Лубянкѣ, текла обычнымъ чередомъ: все шло такъ, какъ шло и ранѣе, нѣсколько лѣтъ подрядъ. Порядки всѣ были тѣ же. Продолжалось все то же своевольство грозной барыни, продолжались всѣ тѣ же ея расправы, все тѣ же ея „бабьи,“ какъ она говорила, потѣхи. Такъ же, какъ и прежде, дворовые глухо ронтали, но открыто возстать—и боялись и не могли. За ними оставалось одно только право — разносить по Москвѣ, по ея улицамъ и переулкамъ, по ея харчевнямъ и гербергамъ (тогдашнія пивныя) вѣсти о поступкахъ Салтычихи, придавая этимъ поступкамъ, по злобѣ, почти невѣроятныя проявленія. Такъ-какъ дворня Салтычихи, особенно женская, была довольно многочисленна, то были многочисленны и тѣ роскозни, которыя изъ Салтычихи сдѣлали настоящаго звѣря лютаго. Эта была своеобразная месть дворни, достигавшая, какъ нельзя лучше, своей цѣли. Говорилось ими про Салтычиху то, чего она никогда и во снѣ не видывала, хотя, дѣйствительно, жестокости ея и имѣли характеръ чудовищный, невиданный и неслыханный на Руси. Сама же Салтычиха про рассказы эти ничего не знала, и продолжала дѣйствовать по прежнему, ничего не опасаясь, и надѣясь при этомъ—и на свое богатство, и на свои родственныя связи съ знатнѣйшими людьми того времени.

Между тѣмъ, глухая, сдерживаемая ненависть дѣлала уже свое дѣло, и приближался часъ, когда и надъ Салтычихой должны были нависнуть черныя тучи: подъ вліяніемъ новой ея горничной, Галины, очень рѣзко и очень открыто порицавшей дѣйствія своей барыни, дворня, какъ-то незамѣтно для себя пріободрилась, сознала, по-своему, конечно,—свое человѣческое достоинство, и уже не такъ покорно и безропотно переносила то, что прежде казалось дѣломъ, хотя и жестокимъ, но обыденнымъ, не отвратимымъ. Само собою разумѣется, что Салтычиха тотчасъ же замѣтила все это, удвоила свою бдительность, удвоила даже свою жестокость, но червь чего-то неожиданнаго, чего-то грозно-мрач-

наго подтачивалъ уже и ея очерствѣлое сердце. Она уже плохо спала, а когда засыпала, то сны ея были и тяжелы и тревожны. Не въ силахъ была утѣшить ее и Фива. Прежняя любимица страшно опустилась, исхудала, пожелтѣла, и часто заговаривалась: видимо, дни ея быстро шли къ закату, смерть стояла уже за ея плечами. Когда-то зоркіе глаза вѣрной рабы Салтычихинской и приспѣшницы потускнѣли, уши оглохли: она была уже бесполезна для своей госпожи, и надъ нею уже глумились, платя тѣмъ за старое, не только взрослые дворовые, но даже дворовые мальчишки и дѣвченки. Да и самой Салтычихѣ она была уже противна, такъ-какъ своей разрушающейся особой напоминала ей, что и она, Салтычиха, когда-то состарится, и такъ-же, можетъ быть, какъ и Фива, и ослѣпнетъ, и оглохнетъ, и еле будетъ двигаться. А между тѣмъ, Фива была, вѣдь, когда-то баба здоровая, сильная, краснощекая. Присутствіе Фивы такъ, наконецъ, стало невыносимо Салтычихѣ, что она рѣшила отослать ее на покой въ Троицкое. Но одинъ случай предупредилъ ея рѣшеніе.

Какъ-то Фива, въ минуты, когда старческая немощь ея поухляла и умъ просвѣтлѣлъ, Богъ ужъ вѣсть какимъ путемъ, узнала очень важную для Салтычихи новость. Съ нею она тотчасъ же приплелась къ своей госпожѣ. Новость эта состояла въ томъ, что Николай Афанасьевичъ Тютчевъ, убѣжавшій отъ Салтычихи, никогда ужъ болѣе къ ней не возвратится, потому-что сошелся съ нѣкоей дворянкой, дѣвицей, Анастасіей Панютиной, съ которой и намѣренъ въ скоромъ времени вступить въ супружество.

Сообщеніе это взорвало Салтычиху.

Въ послѣднее время, простивъ во всемъ молодого инженера, она все еще ждала его возвращенія, и даже была увѣрена въ томъ, и потому не принимала никакихъ мѣръ къ его отысканію въ Москвѣ. „Придетъ, молъ, думала она, проголодается—и придетъ. А я пожурю его маленько, и опять приму. Паренекъ-то онъ добрый, простой“. Теперь оказывалось, благодаря сообщенію Фивы, что этотъ паренекъ, простой и добрый, совсѣмъ таки ускользаетъ изъ ея рукъ, ускользаетъ безвозвратно, если женится, а онъ все-таки, хотя и по-своему, былъ дорогъ Салтычихѣ и составлялъ почти единственное и послѣднее ея утѣшеніе. Она любила Тютчева, но любовью странной, почти дикой. Что-то жестокое и ядовитое было въ ея привязанности къ молодому инже-

неру. Бывали минуты, ранѣе, въ Троицкомъ, когда Тютчевъ всецѣло принадлежалъ еще ей, что она, полная къ нему особенной нѣжности, хотѣла кусать его, терзать, душить, даже рѣзать ножомъ. Въ такомъ родѣ, однажды, и было нѣчто подобное, окончившееся тѣмъ, что взбѣшенный молодой человѣкъ, въ свою очередь, здоровымъ, сильнымъ кулакомъ повалилъ Салтычиху на полъ, и та отъ души хохотала, катаясь по полу, вся раскраснѣвшаяся, со сверкающими страстью глазами, говоря задыхающимся, хриплымъ голосомъ: „Вотъ это такъ, вотъ это по молоденьки! Тѣни еще разоѣ въ морду-то, тѣни, милый Тютченька!“ Подобныхъ сценъ между ними болѣе не повторялось, но и эту одну сцену Салтычиха помнитъ доселѣ, и всякій разъ, когда она вспоминаетъ о своемъ Тютченькѣ, то онъ непременно представляется ей бьющимъ ее здоровымъ своимъ кулакомъ въ грудь.

Представился Тютчевъ Салтычихѣ въ подобномъ видѣ и теперь, при сообщеніи Фивы о его измѣнѣ. Дикая любовь, смѣшанная со звѣрской злостью, охватила ее женское сердце, и ей не хотѣлось вѣрить тому, о чемъ сообщила ей Фива.

— Врешь! врешь, старая карга! захрипѣла она, въ одно и то же время блѣднѣя и краснѣя отъ негодованія и бѣшенства.

— Не вру, не вру, ей-Богу не вру! зашамкала и закрестилась Фива. Все доподлинно разузнала. А живетъ онъ, благодѣтельница, на Самотекѣ, у Троицы. Тамъ же и потаскушка его въ своемъ домишкѣ проживаетъ. Онъ у нее.

Этого было достаточно, чтобы бѣшенство Салтычихи дошло до крайнихъ предѣловъ. Мрачная, какъ туча, со сжатыми кулаками она бросилась на бѣдную старуху, и такъ толкнула ее въ тощую грудь, что та упала навзничъ и нѣсколько минутъ лежала безъ движенія.

Въ тотъ же день сообщеніе Фивы подтвердилось во всѣхъ подробностяхъ. Но въ тотъ же день старуха Фива окончательно помѣшалась, и загородила при дворнѣ, блуждая по дому, о такихъ дѣлахъ Салтычихи, о которыхъ дворня, знавшая и выдавшая не мало, и слыхомъ не слыхивала.

— Ыла, Ыла! сама видѣла, какъ Ыла! кричала она подъ вечеръ, въ кухнѣ, почти при всей дворнѣ, размахивая руками и поводя сверкающими странно глазами... А потомъ мы съ ней на гнѣдкѣ, за Ростокіно. Ыхали, Ыхали, а сосна къ намъ на встрѣ-

чу—чугу-чугу! Она и сосну за корешокъ, да въ ротъ... Такая прожорливая... барыня-то наша, наша-то волчиха ненасытная!...

Затѣмъ, какъ бы опомнившись и что-то сообразивъ, Фива примолкла, и обвела всѣхъ слушавшихъ блуждающимъ, тусклымъ, какъ олово, взглядомъ. Всѣ въ ужасѣ слушали ее, не зная, что предпринять: не обращать ли на слова старухи никакого вниманія, или же немедленно донести обо всемъ Салтычихѣ. Между слушающими странныя, болѣзненные рѣчи безумной старухи находилась и Галина съ Агашей. Онѣ значительно переглядывались между собою, причемъ на молодыхъ и свѣжихъ лицахъ ихъ изображалась необыденная радость: видимо, рѣчь старухи была для нихъ „чѣмъ-то“, что только было извѣстно и доступно имъ однѣмъ. Агаша даже не удержалась, чтобы не пошутить при такомъ случаѣ.

— Все-то ты врешь, Фивушка! смѣялась она весьма добродушно. Право, врешь! Ну, гдѣ-жъ это видано, чтобы живой человѣкъ сосну, дерево, ѣлъ! Особливо наша барыня. Аль, у нее скусу нѣтъ? аль, она оглашенная какая, прости Господи? Не ври-ка, Фивушка, не смущай народъ!..

— Всѣмъ будетъ конецъ! всѣмъ! захрипѣла вдругъ Фива, какъ-то загадочно прислушивавшаяся къ словамъ Агашы. Всѣмъ! и ей!.. будетъ конецъ и ей... и она спиной ляжетъ... какъ я. Какъ ткнетъ—я такъ и растянулась, голубчики мои... и въ глазахъ помутилось и духъ-то захватило... и заломило-то въ спинѣ.

Послѣднія слова старуха произнесла почти рыдая, и потомъ, мгновенно, точно пронзенная, она вздрогнула, вскрикнула, и бросилась на полъ, и, ползая по полу, стонала:

— Простите! простите меня, православные! виновна я передъ всѣми вами, много виновна! Много я зла понадѣлала, много съ вашей волчихой дѣловъ понатворила! Аксютку Замухрышкину придушила я... Ваньку, мальченку Алексинскаго, засѣкла я... Я же прибила рубелемъ и Аксиною Толстогубиху, прачку... И на всѣхъ-то я наговаривала, и за всѣми-то я слѣдила, все видѣла, все пронюхивала, и про все вашей чертовкѣ откормленной докладывала... А она меня за это въ грудь, въ грудь, прямо въ грудь... А я и покатила... такъ и покатила... такъ и покатила... да ужъ и встать не могу... такъ и не могу встать... О-о-о...

Какъ-то хрипло и почти шопотомъ проговорила все это Фива,

и какъ-то сразу примолкла, какъ бы совсѣмъ обезсиленная, и только мгновеньями слышались ея, словно бы дѣтскія, всхлипыванья. Потомъ и всхлипыванья эти постепенно стихли. Старуха лежала безъ движенія, свернувшись, какъ собаченка подъ заборомъ въ стужу.

На лицахъ дворовыхъ изображалась во все время, пока говорила старуха, не то страхъ, не то уныніе. Всѣ чужіе, что это все даромъ не пройдетъ, и что каждому отъ Салтычихи, такъ ли иначе ли, а достанется. Нѣкоторые открыто ворчали на старуху, и требовали, чтобы ее убрать. Иные, молча, качали головой. „Экъ, молъ, старуха загородила что!“ Нелюбимая никогда, какъ первая приспѣшница и исполнительница Солтычихинскихъ приказаній, Фива ни въ комъ не внушала къ себѣ сожалѣнія. Ее просто ненавидѣли, и теперь даже съ какимъ-то злорадствомъ выслушивали ея признанія. Толкавшійся тутъ же Сидорка болѣе всѣхъ былъ золъ на старуху за старое, и потому первый почелъ за нужное заговорить во всеуслышаніе:

— Вотъ что, братцы: старуха-то говоритъ такое, что всѣмъ намъ оттого не поздоровится. Знамо дѣло, старуха вретъ, какъ врала и ранѣе, а потому и слѣдуетъ обо всемъ томъ, что она загородила тутъ, доложить безотвратно барынѣ.

— Вѣстимое дѣло, слѣдуетъ, отозвался кое-кто изъ дворовыхъ. Спины у насъ свои... не охота всякому-то спину Богъ вѣсть изъ-за чего подъ кнутъ подставлятъ... Сама старуха дурила, сама пусть и расхлебываетъ... дурь-то свою...

Говорившихъ перебила веселая Агашка:

— Такъ что-жъ стоите-то? Бѣгите, докладывайте поскорѣй, а то, поди, барыня-то и не успѣетъ узнать обо всемъ этомъ! Все будетъ шито да крыто у насъ. У насъ вѣдь народъ все молчаливой.

— Ты молчанка первая! замѣтилъ съ ехидствомъ Сидорка, не взлюбившій съ нѣкотораго времени Агашку за то, что она своею привязанностью къ Галинѣ какъ бы отняла у нее часть той любви, которая принадлежала ему, Сидоркѣ.

— Вѣстимо, молчанка! отшучивалась дѣвушка. Все, что знаю, въ кошель кладу, да хорошаго времени жду.

— Не порви кошель-то, коль много туда понаклала.

— Много немного, а съ насъ будетъ, продолжала болтать Агашка, словно заигрывая съ Сидоркой. Да пожалуй хватить и

для другихъ. Вотъ для барыни, къ примѣру, для Салтычихи. Она, вѣдь, у насъ барыня добрая.

— Да и добрые тумаки даетъ тараторкамъ! раздался за спиной ея голосъ Салтычихи, и вслѣдъ затѣмъ послышался увѣсистый шлепокъ по затылку Агашки.

Никто не замѣтилъ, какъ вошла въ кухню Салтычиха. При видѣ ея всѣ словно окаменѣли.

— Гдѣ Фивка-то? о чемъ она тутъ рѣчь вела? обратилась ко всѣмъ барыня, успѣвшая уже получить обо всемъ самыя подробныя свѣдѣнія.

Всѣ молчали. Но Салтычиха сама увидала лежавшую на полу безъ движенія Фиву.

— Ты, старая карга! вставай-ка-ся! подошла къ Фивѣ Салтычиха, и слегка тронула ее ногой.

Фива съ мѣста не трогалась и ничего не отвѣчала. Она была уже мертва.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Галя въ «фаворѣ».

Со смертью Фивы, у Салтычихи положительно уже не осталось близкаго человѣка, и она почувствовала тяжелое одиночество. При ней не было даже ея дѣтей, которыя, можетъ быть, могли бы составить для нея хоть нѣкоторое утѣшеніе. Дѣти ея находились въ Петербургѣ, у родного племянника покойнаго ея мужа, Николая Ивановича Салтыкова, и учились тамъ, среди роскошной и аристократической обстановки. Салтычиха сама отослала ихъ къ нему, очень резонно сообразивъ, что подъ ея кровомъ изъ дѣтей не только ничего путнаго не выйдетъ, но даже онѣ будутъ и не въ безопасности. Кромѣ того, у Салтычихи, при этомъ былъ и другой расчетъ: онѣ ее стѣсняли—и въ отношеніяхъ съ дворовыми, и въ отношеніяхъ съ Тютчевымъ, за котораго она имѣла намѣреніе выйти всетаки замужъ. Изрѣдка она получала о дѣтяхъ извѣстія самаго хорошаго свойства, и совершенно

освоилась съ тѣмъ, что онѣ не при ней и что онѣ должны ей быть чужды. Она о нихъ не беспокоилась и почти нисколько не жалѣла ихъ, какъ не беспокоилась ни о комъ и никого не жалѣла.

Однакожь, въ ней начала проявляться небывалая прежде тревога: она раздражалась болѣе обыкновеннаго, глядѣла сердито, а иногда впадала въ совершенное уныніе. Одиночество давало себя чувствовать, и у ней явилась потребность съ кѣмъ-нибудь, такъ или иначе, сблизиться, быть по-часту наединѣ, говорить, болтать, ругаться. Конечно, для этого требовалась женщина.

Перебирая въ умѣ своемъ дворовыхъ женщинъ и дѣвушекъ, она ни одну изъ нихъ не находила достойной приблизить къ себѣ. Наконецъ, она почему-то остановилась на новой своей горничной, Галинѣ. Красивая дѣвушка, съ настойчивымъ и заносчивымъ характеромъ, какъ-то сама собою дѣлалась для нея занимательною и любопытною.

„Что это за звѣрекъ такой?“ разсуждала Салтычиха. „Сразу-то и не разберешь ее. Совсѣмъ-таки она на крестьянскую дѣвку не похожа. Кровь-то цыганская, это видно, да ужъ что-то больно много и такого, что похоже и на дворянскую кровь. Такая бестія—и ходитъ-то словно дворяночка, и говоритъ-то, и глазами-то поводитъ, шельма, словно бы дворянскій выпестышъ какой!“

Тутъ Салтычиха припомнила всѣ подробности, какъ она впервые увидала дѣвушку въ сторожкѣ, какъ она озлила ее, Салтычиху, своимъ упорствомъ, какъ потомъ она наказала ее, заподозривъ, что Тютчевъ къ ней не равнодушенъ. Потомъ припомнила какъ отецъ ея, Галины, повѣсился въ лѣсу.

Какъ не зла и небезчувственна была Салтычиха, но она почему-то, въ это время, сознала всю неправоту свою передъ дѣвушкой, и—не загадка-ли сердце человѣческое!—въ душѣ грозной барыни зародилось, хотя и смутно, чувство какой-то привязанности къ дѣвушкѣ-сиротѣ.

Сначала чувство это показалось Салтычихѣ забавнымъ и смѣшнымъ, и она нѣсколько разъ вскрикнула: „ай, дура! ай, баба-дура, Дарья! за дѣвченкой, за дворовой, бѣгать готова!“ Но потомъ, по нѣкоторомъ размышленіи, почла за необходимое приблизить къ себѣ Галину, рѣшивъ такимъ образомъ:

„Дѣвка она разумная, разсудительная, недотрога-дѣвка, а по-

тому она и такая, которая гоноръ свой имѣетъ, а такія завсегда любятъ, чтобъ на нихъ обращали вниманіе, тѣшили ихъ нравъ, и такихъ легче всего подкупить и сдѣлать ихъ способными на все. Окромя того, она еще дѣвка молодая, и изъ нее можно по-выжать всякаго соку много: и малиноваго, и рѣдечнаго, и капустнаго.“

Въ тотъ же день, когда это было рѣшено, Салтычиха, какъ бы не нарочно, замѣтила Галинѣ, когда та что-то подавала на столъ:

— Ай, дѣвчура! ай, разумная дѣвчура! Спасибо!

Галина подняла на Салтычиху глаза, и молча стоя, ждала, что за этимъ ласковымъ вступленіемъ послѣдуетъ непременно какая-нибудь и за что нибудь растрava въ томъ вкусѣ барыни, къ которому дѣвушка успѣла уже — и приглядѣться и даже привыкнуть.

Но этого не послѣдовало, и то, о чемъ далѣе заговорила Салтычиха, было для дѣвушки и удивительно, и странно. Вопреки своему обыкновенію, никогда и ничего не хвалить, Салтычиха начала припоминать и высчитывать все то хорошее со стороны Галины, о чемъ Галина и сама давно уже позабыла. Но странно, все то, о чемъ Салтычиха припоминала и что хвалила, было вѣрно, и было именно такъ, какъ она говорила. Это поразило дѣвушку, и она взглянула на свою грозную барыню такъ, какъ обыкновенно смотрятъ дѣти на того чужого человѣка, который сдѣлалъ имъ совершенно неожиданный подарокъ, и при томъ сомнѣвалась: не шутить ли барыня и не есть ли это похвала началомъ чего-нибудь такого, что могла придумать одна только Салтычиха.

Дѣвушка твердо рѣшилась ждать, что будетъ далѣе. А далѣе — Салтычиха продолжала все въ томъ же родѣ, веселая и доступная, и подъ конецъ позвала портниху и приказала ей въ самое короткое время сшить для Галины хорошее платье, такъ-какъ она, барыня, не желаетъ, чтобы ея лучшая горничная ходила въ пестрядинѣ. Тутъ же приказано было выдать Галинѣ нѣсколько хорошихъ рубашекъ, двѣ пары козловыхъ башмаковъ, нѣсколько паръ чулокъ, фартуковъ, ковровый платокъ, шелковую косынку, и даже пару коралловыхъ серегъ.

Отпуская Галину къ себѣ въ комнату, Салтычиха приказала,

чтобы она пришла къ ней вечеромъ во всемъ новомъ, и поцѣловала ее въ лобъ.

Вся дворня Салтычихинскаго дома пришла по этому поводу въ неописанное изумленіе. Никогда и ничего подобнаго съ Салтычихой не бывало. Правда, Салтычиха вовсе не была скупа, она скорѣе была расточительна, хотя лично и жила скромно, но чтобы такъ одѣвать дворовыхъ дѣвокъ, какъ она приказала одѣть Галину,—этого съ ней никогда, какъ запомнятъ дворовые, не случалось. Поступокъ этотъ со стороны Салтычихи былъ для дворовыхъ и весьма неожиданъ и необыкновенно новъ. Всѣ они, дворовые, и мужчины и женщины, собрались поглядѣть счастливицу Галину, какъ на какое-нибудь диво. И сама Галина не понимала, что все это значить и чѣмъ все это кончится. Но, какъ женщина, она, въ глубинѣ души, не могла не радоваться тому, что дѣлаетъ для нея Салтычиха. Шелковое платье послѣ грубой пестрядины, козловые башмаки послѣ какихъ-то плетушекъ изъ покровокъ, коралловые сережки,—все это не могло не дѣйствовать на молодую дѣвушку одурающимъ образомъ, и ей льстило то, что дворовые на нее удивляются, и, конечно, многіе, особенно дѣвушки, ей завидуютъ.

Удивленіямъ, ахамъ и всякаго рода предположеніямъ не было конца.

Всего больше, разумѣется, эта милость Салтычихи къ Галинѣ, удивила Сидорку и Акима, давнишнихъ ея поклонниковъ. Но каждый изъ нихъ былъ удивленъ по-своему.

Акимъ все это истолковалъ въ свою пользу.

„Вѣстимо, разсуждалъ онъ, все такое-этакое барыня дѣлаетъ для меня. Я ей слуга вѣрный, рабъ по гробъ-жизни, и она хочетъ наградить меня, такъ-какъ ей хорошо вѣдомо, что я взросъ у Никонора, Галинку знаю. Она выдастъ за меня Галинку. Знать, сама догадалась, что она мнѣ любя. Не даромъ же она мнѣ много разъ говаривала: „погоди, Акимка, награжу тебя, какъ слѣдъ, доволенъ будешь.“ Вѣстимо, наградить, рѣшилъ онъ подъ конецъ, и успокоился на этомъ, вовсе не помышляя о томъ, какъ на него смотритъ та, которую онъ хочетъ назвать своею женою. Покуривая трубочку, онъ искоса, словно котъ, поглядывалъ, при всякомъ удобномъ случаѣ, на Галину, и заранѣе радовался, что онъ будетъ обладателемъ „такой королевщины.“

Совсѣмъ иначе посмотрѣлъ на милость барыни къ Галинѣ Сидорка. Болѣе умный, болѣе догадливый, чѣмъ Акимъ, онъ сразу же понялъ, что все это не проста и что милость Салтычихи къ его Галѣ имѣетъ свою заднюю, темную сторону. Онъ не вѣрилъ въ безкорыстную доброту Салтычихи, и весьма благоразумно догадался, что—или барынѣ скучно, что подлѣ нея нѣтъ приспѣшницы и сплетницы, или барыня что-либо хочетъ вывѣдать у Галины, или же она почему-либо опасается ея. Поэтому, онъ почелъ за нужное предупредить ее кое-о-чемъ.

Улучивъ минуту, онъ въ тотъ же день выждалъ Галину въ какомъ-то темномъ переходѣ, и остановилъ ее.

— Галя?

— Ну? спросила дѣвушка, узнавъ голосъ Сидорки, и приостанавливаясь, и въ тоже время оглядываясь—нѣтъ ли еще кого-нибудь въ переходѣ, гдѣ она остановилась: домъ Салтычихи приучилъ ее быть всегда на сторожѣ.

Сидорка схватилъ дѣвушку за руки.

— Помнишь, Галя... въ лѣсу-то... въ лѣсу-то о чемъ говорили... на могилѣ-то Никоновой?

— Ну? произнесла опять дѣвушка, мгновенно припомнивъ все, о чемъ намекнулъ Сидорка.

— Что—ну? зашепталъ таинственно Сидорка. Сама же говорила—помнишь?... Помнишь, какъ клялись-то... на могилѣ-то, на Никоновой?..

— Помню все, Сидорка, все хорошо помню, отвѣчала дѣвушка. Но къ чему ты это?

— А къ тому, Галя: не къ добру тебѣ такую милость оказываетъ Салтычиха. Она не такая, чтобъ съ бухту, съ барахту въ шелки тебя наряжать, золоты сережки въ уши привѣшивать. Тутъ есть какой-то подвохъ.

— Вѣстимо, есть... сама знаю, что есть... Такъ что-жъ изъ того?

— А то: надо беречься.

— Вѣстимо, коль знаю, такъ и берегусь... и беречься буду...

— Лучше берегись. Салтычиха птица глазастая.

— На глазастую сову — Божій день есть, ослѣпляетъ, произнесла съ нѣкоторой увѣренностью дѣвушка.

— То-то... я вѣдь такъ... предостеречь... Тутъ у насъ, при

домѣ, порядки совсѣмъ другіе. Тутъ легко влопаться. Всюду глаза, всюду щели.

— Вотъ одного-то глаза и не стало.

— Фивы-то?

— Фивы.

— Ты гляди, Галя, началъ предупредительно Сидорка: ужъ не хочетъ ли Салтычиха и изъ тебя сдѣлать для себя Фиву. Помню, она то-жъ Фиву шелками да сережками задаривала. Это у насъ ужъ, въ Троицкомъ, и здѣсь, въ домѣ. А ранѣе того, когда Салтычиха дѣвкой еще была, онѣ другъ отъ дружки ни на шагъ не отходили, такъ все вмѣстѣ и валандались. Страсть, говорятъ, какъ она любила Фиву, Салтычиха-то.

— А любила—дѣло ее.

— А теперь твое дѣло, Галя.

— Я и знаю то.

— Не позабудь. Бываетъ, Галя, что люди, коль счастье къ нимъ придетъ, совсѣмъ о прежнемъ забываютъ.

— Да ужъ я-то не позабуду, Сидорка... особливо тебя... Эхъ, ты, парень! вдругъ оживилась дѣвушка. Ты ужъ и оробѣлъ, и испужался: надѣнетъ, молъ, дѣвка шелки да сережки, тикъ ужъ къ ней и не подступайся. Такъ, что-ль?

— Всяко бываетъ.

— Ну, не робь, парень! Я дѣвка не изъ таковски хъ. Не залечу, куда не слѣдъ. Была твоя, и буду! Понялъ?

Сидорка обхватилъ дѣвушку за станъ.

— Галя! только и могъ произнести онъ.

Въ тотъ же день, къ вечеру, десятокъ расторопныхъ рукъ успѣли сшить для Галины платье, и одѣли ее, какъ куколку. Были надѣты и новые козловые башмаки, и коралловые сережки, и обхватила ее шею алая шелковая косыночка.

Диву далась вся дворня, увидавъ Галину въ новомъ нарядѣ. Она дѣйствительно была хороша въ немъ черезъ чуръ и черезъ чуръ производила ошеломляющее впечатлѣніе на всю дворню безъ исключенія. Особенно были поражены женщины, и завистливымъ ахамъ ихъ не было конца.

Не раздѣлялъ общаго изумленія одинъ только старый поваръ, по фамиліи Качедыкъ, жившій у Салтычихи почти безъ дѣла, на спокоѣ. Участіе его на кухнѣ требовалось только въ исклю-

чительныхъ случаяхъ: тогда, когда у Салтычихи затѣвалось что либо необыкновенное, или въ большіе годовые праздники. Тогда онъ надѣвалъ бѣлый колпакъ, бѣлый фартукъ, и приступалъ къ дѣлу, поражая всѣхъ своимъ искусствомъ въ поваренномъ дѣлѣ. Онъ тоже былъ крѣпостной Салтычихи, но былъ купленъ еще покойнымъ ея мужемъ, Глѣбомъ Алексѣичемъ, у обѣднѣвшаго гастронома Ш., когда-то жившаго богато и роскошно и задававшего пиры на всю Москву. Качедыкъ былъ первымъ любимцемъ Ш., приготовлялъ для него изумительныя блюда, и Ш. продалъ его Глѣбу Алексѣевичу почти со слезами на глазахъ. Покойный мужъ Салтычихи, будучи гастрономомъ, тоже цѣнилъ Качедыка, но Салтычиха услуги его сочла лишними, не уступивъ его, однакожъ, никому. Довольствуясь одной стряпухой, которая только и умѣла образцово готовить щи, похлебку да кашу, Салтычиха держала Качедыка только для формы, какъ богатая вотчинница, которая во всякое время, не теряя своего достоинства, могла посадить за свой столъ любого, избалованнаго кухней, богача. Что же касается самого Качедыка, то онъ сжился съ своей ролью, держалъ себя съ дворней нѣсколько свысока, любилъ читать всѣмъ и всякому правоученія, нюхалъ втихомолку табакъ, и, кажется, былъ единственнымъ человѣкомъ изъ дворни, который былъ Салтычихой вполне доволенъ.

Въ то время, когда всѣ удивлялись и наряду и красотѣ Галины, Качедыкъ тономъ человѣка, не допускающимъ возраженія, тономъ человѣка, которому все уже давно извѣстно и доступно, скептически замѣтилъ:

— И ничего-то особливо достойнаго вниманія! У моего покойнаго, прежняго барина, и не такія камеристки и метрески бывали, да и то имъ никто не удивлялся! А то извольте видѣть — одѣли дѣвченку въ шелкову тряпицу и всѣ рты поразинули! Дѣвченка „въ фаворѣ“ и больше ничего!

Сказавъ это, онъ презрительно обернулся, вполне увѣренный, что то словцо, которое онъ произнесъ, не раскусить никому изъ дворовыхъ, стоявшихъ возлѣ Галины изумленной толпой.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

«Калмычка».

Что-то совершенно новое, не сразу поддающееся объясненію, совершилось съ Салтычихой съ тѣхъ поръ, какъ она приблизила къ себѣ Галину. Галина стала для нея все: безъ Галины она не садилась за столъ, безъ Галины не вставала и не ложилась спать. съ Галиной прогуливалась, и съ нею же непремѣнно ѣздила по своимъ надобностямъ въ городъ, и при этомъ Галина помѣщалась не гдѣ-нибудь на передкѣ, или на запяткахъ, а рядомъ съ своею госпожею, и только одно дѣлала, что помогала госпожѣ выйти изъ кареты и держала въ рукахъ ея ридикюль. Изумленная дворня не понимала, почему такое счастье выпало на долю именно Галины, а не какой-нибудь другой дѣвушки, которыхъ такъ много было въ домѣ Салтычихи и которыя и по праву усердія, и по красотѣ, да и по уму, пожалуй, могли бы быть замѣчены и избраны госпожей въ приближенные „калмычки“. (А „калмычками“, надо замѣтить, въ то время, по модѣ, назывались въ барскихъ домахъ всѣ тѣ изъ крѣпостныхъ дѣвушекъ и женщинъ, которыя такъ или иначе, близки были къ господамъ). Но такъ какъ счастье выпало все-таки на долю Галины, которую всѣ прежде называли не иначе, какъ „дѣснущей“, всѣмъ въ домѣ приходилось примириться съ этимъ и, волей-неволей, даже заискивать у счастливицы. Все какъ-то смирилось передъ Галиной, почувствовало себя и ниже, и слабѣе. Болѣе опытные начали искать съ нею сближеній, льстили ей, задабривали, видя, какое она имѣетъ вліяніе на грозную Салтычиху. Въ числѣ этихъ опытныхъ дворовыхъ, и даже одними изъ первыхъ, были и знакомые намъ — кучеръ Акимъ и заносчивый поваръ, Качедыкъ. Послѣдній до того довелъ свое заискиваніе у Галины, что началъ даже родъ какой-то своеобразной войны съ остальною дворней, доказывая ей, кстати и не кстати, что всѣ они, т. е. всѣ дворовые, противъ Галины Никоноровны „свиньи, и больше ничего!“ и что такая „калмычка“ была бы ко двору и у мѣста и у такого вельможи, какимъ былъ его прежній, покой-

ный баринъ—, „царство ему небесное!“ Разумѣется, дворовые мало обращали вниманія на доводы Качедыка, но уважать Галину всетаки уважали, и не мало побаивались ее, такъ-какъ отъ Галины дѣйствительно многое уже стало зависѣть, и Галина много уже разъ доказала и свое значеніе и свою силу. Значеніе это и эту силу она не употребляла, однакожь, во зло, и многіе изъ дворовыхъ въ послѣднее время обязаны были ей своимъ спасеніемъ—и отъ кнута, и отъ побоевъ, и отъ другихъ истязаній, щедро и немилосердно сыпавшихся прежде на всѣхъ провинившихся въ чемъ бы то ни было. Въ этомъ отношеніи Салтычиха часто даже совѣтывалась со своей новой любимицей. Подзоветъ, заведетъ рѣчь:

— А Стешку Горюшкину надо бы сегодня въ баню...

— Да сегодня, барыня, среда—баню не топимъ, хитритъ Галина, точно не понимая о какой банѣ для Стешки Горюшкиной говорить Салтычиха.

Салтычиха смѣется: ее забавляетъ немудреная наивность Галины, и она, смѣясь, поясняетъ:

— Аль, позабыла, какова наша баня?

Галина недоумѣвающе и плутовато смотритъ на барыню. Она видитъ, что Салтычиха въ хорошемъ расположеніи духа, и есть надежда, что Стеша Горюшкина можетъ избѣжать салтычихинской бани.

— Что глазами-то моргаешь! продолжаетъ барыня. Баня-то Стешкѣ надобна: глянь-ко-ся, какъ она, чертовка мохнорылая, „чинчиры“ мнѣ выстирала!

Галина знаетъ, что „чинчиры“ (часть тогдашняго женскаго одѣянія) точно выстираны плохо, но всетаки старается какъ-нибудь оправдать провинившуюся дѣвушку:

— Ахъ, барыня, барыня! соболезнующе говоритъ она. Вы и не знаете, какъ она хворала въ позапрошлую недѣлю!

— Кажись, ты, Галька, врешь! уличаетъ дѣвушку въ наивной лжи барыня. Я сама видѣла, какъ она и въ позапрошлую и въ прошлую недѣлю по двору шлюндала, да съ Киркой Крюконо-сымъ подъ топольками перешептывалась. Такъ сама, своими глазами, изъ окна и видѣла. Я тогда еще хотѣла охолодить ее маленечко, да какъ-то запамятовала. Теперь-бы ей и за то и за другое.

Галина беретъ грѣхъ на душу: она начинаетъ божиться, что Стешка Горюшкина дѣйствительно была больна, что она, хотя и ходила, но ходила черезъ силу, а что касается Кирки Крюконосова, то она, можетъ, съ нимъ совѣтывалась по поводу хворости, таеъ-какъ Кирка Крюконосый давно уже слыветъ среди всей дворни за знахаря.

Плохо вѣрить Салтычиха словамъ защитницы, хотя и знаетъ, что Кирка Крюконосый точно знахарь,—но всетаки поддается вліянію Галины, защита беретъ перевѣсъ: Стешку Горюшкину барыня прощаетъ, но предупреждаетъ:

— Пусть бережется, шлюха этакая! Попадется еще разъ — все припомню, за всѣ разы оддубашу, рубеля не пожалѣю!

Иногда подобная защита была не у мѣста и могла на виновницу навлечь еще большее наказаніе. Тогда добрая дѣвушка пускалась на новую хитрость,

— Зинку Смольячку вздуть надо! рѣшила строго и сурово Салтычиха, хмуро поводя глазами.

По выраженію лица Салтычихи, Галина ясно видѣла, что Зинкѣ Смольячкѣ „вздутья“ не избѣжать. Вѣроятно, вина Зинки была велика и у барыни давно уже накинѣла къ ней злость непомѣрная. Надо было выручать Зинку, иначе Зинка, благодаря усердію Акима-кучера и Анфима-дворника, не встанетъ съ постели недѣли двѣ, а то и совсѣмъ не встанетъ—никогда.

Галина хищно и злостно сверкаетъ глазами, хмурится, почти задыхается отъ какого-то обуревающего ея сердце озлобленія (у нее это выходило, какъ у цыганки, весьма натурально), и она, тоже почти натурально, коварствовала передъ Салтычихой:

— Ужъ и давно стоитъ съ Зинкой съ этой, со Смольячкой, какъ слѣдуетъ посчитаться! Ужъ такая-то „носотыка“ — не приведи Господь: вездѣ-то она хвостомъ вертитъ, вездѣ-то носъ свой суетъ, вездѣ-то языкомъ, что помеломъ, мететъ! Не по нутру она мнѣ, барыня... ужъ вотъ, какъ хотите, а не по нутру! И сплетница-то, и привередница-то, и дѣвокъ другихъ смущаетъ всегда и всюду! Ужъ я бы ее, барыня!.. попалдись она мнѣ только!..

Галина, въ азартѣ защиты, играла въ плохую игру: она подливала масла въ огонь. Малѣйшій капризъ Салтычихи, малѣйшая запальчивость—и бѣдная Зинка Смольячиха считала бы на своемъ тѣлѣ не только рубцы, но и кое-что похуже—ее бы могли

снести и на ближайшій погостъ. Но Галина знала, съ кѣмъ имѣетъ дѣло: она уже успѣла изучить нравъ Салтычихи, успѣла уже приноровиться къ ней, и дѣйствовала почти навѣрняка.

Хитрость доброй дѣвушки достигала своей цѣли. Зинка Смольячиха, минуя Акима-кучера и Анфима-дворника, головой выдавалась Галинѣ, съ правомъ не церемониться съ бестіей и поступать такъ, какъ найдено будетъ удобнымъ и возможнымъ, въ томъ духѣ, какой обыкновенно, въ такихъ случаяхъ, практиковался въ домѣ Салтычихи.

Салтычиха, топая ногой, кричала:

— Бери ее, баранью башку, дурову! да хорошенько этакъ... хорошенько... по-своему!..

Подъ словомъ „по-своему“ Салтычиха разумѣла то, почти звѣрское, чувство, какое нерѣдко проявляется у враждующихъ женщинъ, и дѣлаетъ изъ нихъ такихъ озлобленныхъ фурій, о которыхъ гадливо даже подумать. Салтычиха въ этомъ отношеніи судила и по себѣ и по тѣмъ примѣрамъ, какіе ей случалось встрѣчать въ жизни. Она вполне была увѣрена, что ни Акимъ-кучеръ, ни Анфимъ-дворникъ не сумѣютъ додуматься до тѣхъ жестокостей, до какихъ додумается озлобленная (она была въ томъ увѣрена) противъ Зинки Смольячихи Галина. Салтычиха заранее уже радовалась той расправѣ, какую придумаетъ ея новая любимица. Все говорило въ пользу ея предположенія: и цыганская, дикая порода Галины, и ея пылкій, озлобленный нравъ, и ея, хотя дѣвичьи, но здоровыя руки.

Выданная Галинѣ головой, Зинка Смольячиха отдѣлывалась, конечно, пустяками, но кричала, стонала и жаловалась на всѣ людскія, и даже показывала какія-то странныя и сомнительныя пятна на рукахъ и на шеѣ. Салтычиху это тѣшило, и она, похваливая свою любимицу, смѣялась отъ души, вовсе не подозревая, что она, хотя и не искусно, но была одурачиваема молодой дѣвушкой. Само собою разумѣется, что подобныя продѣлки были хорошо извѣстны дворовымъ, и, такъ-какъ дѣло шло о ихъ собственныхъ спинахъ, то и держались онѣ, эти продѣлки, въ большой тайнѣ, и всякому ктобы осмѣлился донести о нихъ Салтычихѣ, неминуемо гразила домашня, можетъ быть, еще болѣе жестокая расправа, чѣмъ та, которая совершалась по приказанію Салтычихи. По крайней мѣрѣ, въ такомъ родѣ былъ случай, и дѣвушка, пригрозив-

шая-было, въ какой-то злобѣ, донести „обо всемъ“ барынѣ, была такъ „проучена“ своими же подругами, что и заикалась когда нибудь даже вспоминать о своей угрозѣ.

Болѣе всѣхъ довольна была Галиной Агаша: дѣвушка эта чуть не молилась на свою подругу, такъ неожиданно попавшую въ „фаворъ“ къ Салтычихѣ, и много предвидѣла отъ этого добра, и въ этомъ отношеніи не ошибалась. Галина, дѣйствительно, хотѣла всѣмъ добра, и въ глубинѣ души безпрестанно делѣяла одну и ту же мысль, какъ бы всѣхъ избавить отъ Салтычихи. Но сдѣлать это было не легко, да и не по ея уму было бороться съ такой госпожей, какова была Салтычиха. Дѣвушка очень хорошо знала, что доносы на Салтычиху не дѣйствовали. А между тѣмъ, только одно это средство и могло быть дѣйствительнымъ. Ей объ этомъ твердилъ и Сидорка, твердила и Агашка. Галина слушала ихъ, соглашалась, и все чего-то выжидала. „Подожду, молъ, авось Господь и вразумитъ меня на какое-либо дѣло. Авось, и помогу чѣмъ-либо горемыкамъ, и выведу дѣла Салтычихины на свѣтъ Божій.“

Ожиданіе не обмануло дѣвушку. Какъ-то разъ, подъ вечеръ, Салтычиха призвала Галину, вручила ей письмо, и сказала:

— Отвези-ка это моему Тютченькѣ, на Самотеку, да подожди отвѣту. Отвѣту непременно подожди — онъ мнѣ надобенъ, и я знаю, ты получишь его! заключила съ особенной отчетливостью и выразительностью Салтычиха.

Странно и какъ-то особенно зло и глухо звучалъ въ это время голосъ Салтычихи, и что-то злобѣщее сверкало въ ея глазахъ.

Когда Галина вышла, и торопливо пошла по Лубянкѣ, направляясь къ Сухаревой башнѣ, ее догналъ Сидорка.

— Галя, я знаю куда ты!.. остановилъ ее на мгновенье Сидорка. Ты къ барину, къ Николѣ Афанасьичу.

— Къ нему.

— Пойдемъ вмѣстѣ. У меня до барина дѣло есть.

— Пойдемъ.

По дорогѣ, Сидорка, то и дѣло осторожно оглядываясь, началъ что-то нашептывать Галинѣ, и та слушала его, но ничего не отвѣчала. Только по неровной походкѣ ее было замѣтно, что то, о чемъ говорилъ Сидорка, сильно волновало ее, занимало, тревожило. Она повременамъ даже вздрагивала, и на мгновенье оста-

новилась, точно желая перевести духъ. Почти у самаго пруда, на Самотекѣ, когда надо было повернуть въ переулокъ, гдѣ въ домѣ Панютиной жилъ Тютчевъ, Галина твердо и рѣшительно произнесла:

— Погубимъ Салтычиху! Такъ тому и быть!

— Такъ тому и быть! повторилъ и Сидорка.

И оба, при этомъ, точно затѣвали доброе дѣло, набожно перекрестились на виднѣвшіеся въ морозномъ сумракѣ золоченные кресты Троицкой митрополичьей церкви.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Непріятная вѣсть.

Давно уже очерствѣвшее ко всему сердце Салтычихи, никогда не было такъ возбуждено, какъ въ тотъ вечеръ, въ который она съ Галиной отправила къ Тютчеву письмо. Она почти съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ ждала отвѣта, и хотя была увѣрена, что отвѣтъ получить непременно, но какой это будетъ отвѣтъ, въ чемъ же онъ будетъ состоятъ — она этого и не знала, и не могла догадаться, и потому вопросъ этотъ — и сильно занималъ ее, и сильно тревожилъ.

Невозможныя и безразсудныя мысли лѣзли почему-то въ голову Салтычихи, и она, то и дѣло, вставала со своего тяжелаго, кожаннаго кресла, и нервно ходила изъ угла въ уголъ своей громадной комнаты-спальни. Все ей казалось ненавистнымъ и угрюмымъ — и этотъ зимній, длинный вечеръ, и эти полузанесенныя снаружи снѣгомъ окна, и даже эта комната, въ которой она давно уже привыкла и которая оставалась неизмѣнной въ теченіе чуть ли не двухъ десятковъ лѣтъ.

Въ комнатѣ этой, войдя въ домъ покойнаго мужа, она впервые почувствовала, что она въ немъ полная хозяйка, полная распорядительница всего того, что въ немъ находится, не исключая даже и самого его владѣльца, бывшаго ея покорнаго мужа. Въ этой же самой комнатѣ и на томъ же самомъ кожанномъ креслѣ.

на которомъ она сидитъ, онъ и умеръ, мужъ ея, Глѣбъ Алексѣвичъ, нелюбимый ею на закатѣ дней своихъ почти до ненависти. Смерть нелюбимаго мужа не принесла ей, однакожъ, того, чего она ожидала — жизнь потекла и скучно, и однообразно, — и вотъ, когда горячая и суровая натура ея начала находить наслажденіе въ истязаніяхъ приближенныхъ къ ней людей. Она вздурила, ожесточилась, сама чувствуя это, но и сама же не въ силахъ обуздать свою взбѣленившуюся натуру. Появленіе въ ея домѣ Тютчева нѣсколько успокоило ее, примирило съ чѣмъ-то, съ чѣмъ она почему — то считала нужнымъ враждовать и драться. Тютчева не стало, и не стало по той же винѣ. Не стало потомъ и Фивы, къ которой она такъ много привыкла и съ которой такъ прекрасно провела два года въ „малиновомъ домикѣ“ на Сивцевомъ Вражкѣ. Воспоминанія дѣтства и юности повѣяли своимъ благотворнымъ вліяніемъ на ожесточенную противъ кого-то и противъ чего-то душу Салтычихи, проскользнули какой-то сверкающей струйкой, и чуть было не вызвали слезъ изъ ея когда-то красивыхъ, а теперь злыхъ и подозрительныхъ глазъ. Но это было только на мгновенье. Салтычиха, какъ бы что-то вспомнивъ, сильно стукнула кулакомъ по столу, закричавъ:

— Да что же нейдетъ эта черепаха, Галька?!

Галькѣ въ это время было вовсе не до Салтычихи. Дѣвушка въ это время сидѣла въ уютной, теплой комнаткѣ Николая Афанасьевича Тютчева, и внимательно слушала то, что онъ говорилъ.

Молодой инженеръ медленно ходилъ въ своей любимой венгеркѣ по комнаткѣ, и такъ же медленно и наставительно говорилъ, часто останавливая глаза на сидѣвшей, потупившись, Галинѣ.

— Самъ я не могу-съ, говорилъ Тютчевъ. Мнѣ теперетко нѣтъ резону заводить съ Салтычихой дѣла: у меня невѣста, и я скоро поѣду въ ея Орловскую отчину. Не могу-съ. А вы, ея холопы, вы можете. Вамъ сіе дѣло статочное, допустимое.

Галина подняла голову.

— Да вѣдь подавали —ничего не выходило, окромѣ того, что донощикѣ били и ссылали въ Сибирь.

— Безъ того не можно-съ, такъ ужъ давно заведено: холопы на господъ доносить не могутъ-съ и теперешніе законы не допускаютъ показаній холоповъ на господъ. Не допускаютъ-съ.

— Такъ тогда какъ-же? спросила недоумѣвающе Галина.

— Кое-какъ можно-съ, подумавъ, началъ Тютчевъ, медленнѣе заходявъ по комнатѣ. Можно-съ... и даже оченно-съ. Какъ тебѣ вѣдомо: нонѣ съ двадцать шестаго декабря прошедшаго года царить императоръ Петръ Ѳеодоровичъ III-й. Сей достойный внукъ великаго Петра (Тютчевъ произнесъ это многозначительно) весьма добръ къ своимъ подданнымъ и весьма жалостливъ: онъ отмѣнилъ уже тайныхъ розыскныхъ дѣлъ канцелярію, отмѣнилъ такожде въ войскахъ безчестныя наказанія батогами и кошками, и сыщикамъ и всякимъ другимъ фискаламъ указалъ не быть. Можетъ статься, онъ и васъ, холопей, взыщетъ своею милостью. Подавайте самому императору, въ Питеръ. Подавайте-съ.

— Да развѣ это можно—самому императору!? изумленно и съ нѣкоторымъ испугомъ спросила Галина.

— Можно-съ. Говорятъ, много доступенъ императоръ и много добръ. Оченно-съ много добръ.

— Такъ какъ же это, баринъ? Научите? скажите?.. Мы люди темные.

— Пусть кто-нибудь ѣдетъ туда, въ Питеръ-съ. Безпремѣнно ѣхать надобно-съ, и съ просьбой-съ, и за подписью всѣхъ-съ, и чтобъ все это досконально, вѣрно, безъ утайки и безъ клеветы-съ. Особенно безъ клеветы-съ.

— Ахъ, ужъ, баринъ, какая клевета! воскликнула Галина. Чай, сами знаете, видѣли, какова она, Салтычиха-то наша, наша-то барыня грозная!

— Потому и говорю, что знаю. А что касемо доноса: такъ и сдѣлайте, какъ говорю.

— Да кто-жъ намъ напишетъ-то его, доносъ-то этотъ?

— Напишетъ всякой. Кто угодно напишетъ-съ. А я самъ не могу-съ: мнѣ не сподручно тепере-тѣю-съ съ ней дѣла заводить. Пусть пишетъ, кто раньше писалъ.

— Да раньше у насъ, на дворѣ говорятъ, Ермилъ-дворовый писалъ. Грамотный онъ былъ.

— Пусть Ермилъ и теперь пишетъ.

— Нѣту Ермила: Салтычиха его давно уже со свѣту сжила. Померъ Ермилъ.

Тютчевъ помолчалъ, походилъ, потомъ видимо принимая участіе во всемъ томъ, что такъ сильно занимало дѣвушку, заговорилъ:

— Впрочемъ, на примѣтъ у меня такой человѣкъ есть. Приходи-ко-ся черезъ денекъ, другой, вотъ о такую-жъ пору: можетъ, что и надумаю для васъ. А самъ я—не могу-съ, мнѣ теперь не до того-съ. Прощай, однакоже, любезная, мнѣ недосугъ, проговорилъ Тютчевъ въ заключеніе, заслышавъ въ сосѣдней комнатѣ неопредѣленный кашель.

Галина торопливо поднялась.

— Прощенья просимъ, баринъ! произнесла она съ низкимъ поклономъ, и тотчасъ-же вышла.

У воротъ ожидалъ ее Сидорка, котораго Тютчевъ не счелъ за нужное впустить къ себѣ.

— Ну, что? спросилъ онъ.

— Обѣщаль, коротко отвѣчала Галина.

— Обѣщанія мало, сомнительно замѣтилъ Сидорка. Онъ и за-прежъ мнѣ, въ Троицкомъ еще, пообѣщаль кое-что, когда я его изъ погребницы выпустилъ, а что-то изъ этихъ обѣщанковъ ничего не вышло. Да и у тебя тогда въ сторожке ночуючи, городилъ и то, и се, и такое-этакое. Баринъ болтунъ.

— Гдѣ-жъ намъ найти лучше-то?

— Найдемъ! самоувѣренно тряхнулъ головой Сидорка.

— Гдѣ-жъ это?

— Да онъ самый, Николь Афавасичъ-то, по нашей дудѣ запляшетъ. Право слово.

— Экъ ты, парень, говорить-то востеръ! За угломъ — рублемъ, а до дѣла пришлось—повѣсилъ носъ!

— Зачѣмъ вѣшать! неунываль Сидорка. Я ужъ, у воротъ-то стоячи, кой-что обдумалъ. Право слово.

— Ну?

— Не ну, а стой! Что тебѣ говорилъ баринъ-то... касаемо нашей Салтычихи-то?... что говорилъ?..

— Говорилъ мало. Говорилъ, молъ, что я зла не помню, а что касаемо стараго, то пусть позабудетъ, я-де теперь женихъ и прочее такое. Пусть, молъ, позабудетъ.

— Ну, а ты скажи совсѣмъ другое, и скажи вотъ что...

Сидорка наклонился почти къ самому уху Галины, и началъ что-то шопотомъ передавать ей. Та шла и слушала.

Сомнѣнія Сидорки относительно Тютчева тоже были нѣсколько основательны.

Какъ только Галина вышла, Тютчевъ торопливо вошелъ въ сосѣдную комнату. Тамъ ждала его, сидя у маленькаго столика при двухъ восковыхъ свѣчахъ, тоже очень маленькая дѣвушка, на видъ лѣтъ шестнадцати, блѣдная и болѣзненная. Это была невеста Тютчева, Анастасія Егоровна Панютина, довольно богатая Орловская момѣщица.

Встрѣтила она своего жениха совсѣмъ-таки неласково, и съ замѣтной брезгливостью начала пенять, что онъ принимаетъ у себя всякихъ дворовыхъ дѣвокъ и дѣлаетъ имъ всякія обѣщанія.

— Того не должно быть! сказала она пискливымъ утомительнымъ голосомъ, въ носъ, растягивая каждое слово, и въ этомъ пискливомъ „не должно быть“ слышалось столько властнаго и презрительнаго, что за блѣднаго Тютчева становилось грустно.

Повидимому, молодой человѣкъ, какъ говорится, попалъ изъ огня да въ полымя.

Тютчевъ передъ своей невестой оправдывался тѣмъ, что „это весьма необходимо,“ что „это имѣетъ нѣкоторую связь съ его прошлой жизнью, и необходимо „для настоящаго,“ что „эта дворовая дѣвушка“ спасла его однажды отъ самой вѣрной гибели, и потому онъ долженъ былъ принять ее и выслушать.

— Ну, далъ бы золотой, и выгналъ, пропущала Панютина.

— Того нельзя было учинить, отвѣтилъ Тютчевъ.

Панютина презрительно улыбнулась, причемъ ея маленькое личико, безтолково утыканное мушками, превратилось въ какое-то печеное яблоко.

— Нельзя?!

Она некрасиво повела плечами и тонкимъ-претонкимъ пальцемъ правой руки дотронулась для чего-то до своихъ, штопоромъ завитыхъ, висковъ и потомъ до флеровой бесѣдочки (родъ тогдашней домашней дѣвичьей шляпы) на головѣ, на которой цѣлый день „мѣсили тѣсто“—какъ выражался тогда народъ о напoмаженныхъ и напудренныхъ головахъ.

Тютчевъ мялся.

— Ну да, ну да, я знаю, что тебѣ для меня всего „нельзя,“ продолжала пищать Панютина. Я знаю отъ кого эта дѣвка: отъ Дарьи Николаевны Салтыковой. Я кое-что слыхала про эту госпожу. Про нее Богъ вѣсть что говорятъ, но я этому не вѣрю:

все вранье и ложь. Говорятъ, что она жестоко обращается со своими крѣпостными: я и этому не вѣрю, и это все вранье и ложь.

Тутъ говорившая начала нѣсколько задыхаться, почему Тютчевъ нашель необходимымъ ее успокоить.

— Анастаси, будетъ... довольно... успокойся...

— Не могу, я не могу! уже почти стонала и охала Панютина. Эти дворовые, я ихъ знаю, на все пойдутъ, они и на доносы готовы.

Тютчева передернуло.

„Неужели она все слышала? подумалъ онъ. Ежели слышала — быть сегодня домашней передрягъ.“

— Да, да, готовы! Ужъ и эта дѣвка не затѣмъ ли приходила? ужъ не просила ли она тебя доносъ писать? Да, да, говори? Говори, я требую! Я слышала, Салтычихинскіе не разъ доносъ въ юстицъ-коллегію подавали. Да! да!

— Анастаси! Анастаси! какъ-то безсмысленно только и произносилъ молодой человѣкъ, и былъ весьма радъ, что Анастаси ничего, вѣроятно, не слыхала или не поняла, о чемъ онъ говорилъ съ Галиной.

— Говори же? Успокой меня! настаивала Панютина, все хватаясь за свои штопора на вискахъ.

Тютчевъ успокоивалъ свою невѣсту, и наконецъ успѣлъ въ этомъ, солгавъ, что дѣвушка приходила просить „благодарности“, и что онъ ее поблагодарилъ, и что она больше никогда не придетъ къ нему.

— Такъ бы ты и говорилъ, Николая, такъ бы и говорилъ! томно, какъ-то успокоившись сразу, заключила Панютина, подавая Тютчеву для поцѣлуя свою маленькую ручку.

Тютчевъ поцѣловалъ поданную руку, и рѣшилъ не пускать къ себѣ болѣе Галину ни въ какомъ случаѣ.

„Пусть, молъ, возятся, какъ хотятъ: у меня и своихъ дѣловъ пропасть. Еще, пожалуй, съ невѣстой разсорять. А сіе для меня не резонтъ!“

И онъ также успокоился, какъ и его невѣста, надѣясь на спокойствіе и въ будущемъ. Онъ по своему все-таки былъ счастливъ.

Но надъ этимъ счастьемъ его вдругъ нависла туча въ образѣ той же самой Салтычихи, отъ которой онъ, благодаря Сидорѣ, такъ благополучно бѣжалъ.

Поздно съ отвѣтомъ отъ Тютчева пришла къ Салтычихѣ Галина.

— Ну, что песь сказалъ-то? гдѣ цедулка? встрѣтила Салтычиха Галину вопросомъ, уже лежа въ постели.

— Цедулки нѣтъ... а велѣлъ сказать...

Галина замаялась, переступая съ ноги на ногу.

— Что велѣлъ сказать?

— Ахъ, страшно и вымолвить, барыня!

Салтычиха поднялась на постели.

— Ври,—что сказалъ? не бойся!

Галина торопливо начала рассказывать, какъ она вошла въ домъ, какъ ее принялъ Тютчевъ, какъ она передала ему письмо, и затѣмъ—весьма смѣло брякнула:

— А пошли ты, сказалъ онъ, прочитавши письмо-то, пошли ты, говоритъ, ее, свою барыню-то, къ чорту на рога — пусть она на нихъ и околѣетъ, окаянная.

Салтычиха, какъ полулежала на постели, такъ и застыла въ томъ положеніи. Застыла на мѣстѣ и Галина. „Господи! немного-ль я наврала?“ только и мелькнуло въ ея головѣ.

Минутъ пять ничего не говорила Салтычиха. Только пыхтѣла и что-то рвала подъ одѣяломъ. Наконецъ она глухо, точно не своимъ голосомъ, спросила:

— А ту... сирену-то его... видѣла?... какова она?..

— Нѣту... не видала...

— Ну, такъ она меня увидитъ, бестія! произнесла такъ же глухо Салтычиха, и обернулась лицомъ къ стѣнѣ...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Ночное нападеніе.

Въ безлунную, бѣлосоватую зимнюю ночь, когда особенно ярко на сѣверо-западѣ блестѣлъ косою четырехугольникъ созвѣздія Оріона, и когда вся ночь, не взирая на стужу, очаровывала своей тишиной и неподвижностью, — изъ воротъ дома Салтычихи, съ Лубянки,

осторожно выдвинулись большія, широкія сани въ одну лошадь, и, — сперва медленно, потомъ быстро, — двинулись по направленію къ Сухаревой башнѣ.

Въ саняхъ отчетливо виднѣлись три сидѣвшія въ нихъ человѣческія фигуры, изъ которыхъ двѣ помѣщались впереди, а одна, на высокомъ ковровомъ сидѣньи, сзади.

Въ ту же самую ночь, но только нѣсколько ранѣе, человекъ въ овчинномъ тулупѣ и въ овчинной шапкѣ, быстро шелъ, почти бѣжалъ, по тому же самому направленію, по которому двигались сани, и, видимо, куда-то торопился попасть во-время.

Онъ, точно, и попалъ во-время туда, куда шелъ.

Старая, лохматая дворняшка хрипло и медленно залаяла за воротами дома Панютиной, на Самотекѣ, когда къ ней приблизился овчинный тулупъ и торопливо постучался въ кольцо калитки.

Калитку отперли не сразу. Сперва въ домѣ засвѣтился огонекъ, потомъ быстро огонекъ этотъ началъ мелькать въ окнахъ дома, и затѣмъ уже къ калиткѣ, со двора, кто-то медленно подошелъ и спросилъ:

— Кто стучить? чево надо-тъ?

— Отоприте скорѣе... надо... сдержаннымъ голосомъ проговорилъ овчинный тулупъ.

— Кого надо?... да ты кто?... спрашивалъ неторопливо мужской сонный голосъ, не отпирая калитки.

— Барина надо... Николь Афанасьича...

— Да ты кто... скажись?...

— Сидорка я...

— Какой Сидорка?... чей?... Можетъ, лихія дѣла вѣдаешь?... разбоишь?... допытывался сонный голосъ.

Сидорку озлило это.

— Самъ не разбоишь ли... чортъ! несуразная башка!

— А ты языкомъ то калитки не прошибай! въ свою очередь обидѣлся невольный собесѣдникъ Сидорки, — неравно оцарапавъ! и при этомъ голосъ Сидоркинаго собесѣдника изъ соннаго какъ-то вдругъ превратился въ добрый и отчетливый: такова ужъ сила брани на русскаго человека — она живо разшевелить его и приободрить.

Сидорка настаивалъ:

— Отпирай же!.. говорю тебѣ!.. не то — бѣда будетъ! Послѣ бѣды не оберетесь!..

Видимо, слова эти подѣйствовали вразумительно на несговорчиваго блюстителя двора г-жи Панютиной: онъ началъ отпирать калитку, гремя какими-то желѣзными кольцами, и при этомъ предупреждалъ:

— Я отопру... только ты смотри... у меня у самого топоръ: такъ и шарахну, коли что, такъ и звиздану... топоръ у меня острый... Слышишь—вотъ онъ...

И Сидорка въ самомъ дѣлѣ услышала лязгъ обуха обо что-то деревянное.

— Да отпирай! проговорилъ Сидорка нетерпѣливо.

Калитка распахнулась. Отворившій ее человѣкъ, безъ шапки, въ полусубкѣ въ накидку, стоялъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ воротъ, съ топоромъ въ рукахъ, и, видимо, при малѣйшемъ подозрительномъ движеніи Сидорки, готовъ былъ разmozжить ему голову.

Но подозрительныхъ движеній Сидорка не дѣлалъ. Онъ только спросилъ:

— Барина, поскорѣйча, барина! не то — будетъ поздно...

Но баринъ самъ появился на крылечкѣ въ халатѣ на бѣлицыемъ мѣху. Тютчевъ сразу по голосу узналъ Сидорку.

— Чего тебѣ, братецъ? Поди сюда.

Сидорка быстро подбѣжалъ къ Тютчеву, и немедленно въ полголоса заговорилъ:

— Къ вамъ, баринъ, Салтычиха жалуетъ: не то поджечь вашъ домъ хочетъ, не то убить...

Тютчевъ всполошился, взмахнувъ на Сидорку глазами.

— Что?... что?... что такое?... спросилъ онъ тревожно.

— Ей-Богу-жъ, правда... Такъ прямо сюда, къ вамъ, и катить... Съ ней кучеръ и дворникъ... и топоры съ собою взяли, и ножи, и пистолеты, и палку...

— Все ты врешь, братецъ! вскричалъ Тютчевъ, чувствуя, однакожъ, что Сидорка говоритъ что-то похожее на правду и что отъ Салтычихи, при ея озлобленіи на него, на Тютчева, всего ожидать можно.

Человѣкъ далеко не изъ храбрыхъ, Тютчевъ тутъ же чуть не растерялся, перетрусивъ не на шутку, и у него въ головѣ на-

чиналъ подниматься какой-то туманъ. Но тутъ же Сидорка надомилъ его:

— Вы бы, баринъ, чѣмъ кричать, приготовились лучше... А я, видитъ Богъ, не вру... Народъ у васъ есть... Тоже за топоры да за ножи... А полицейской команды теперь недоищется... Да и поздно будетъ... Покуда вы за командой пошлете, она успѣетъ весь вашъ домъ разнести... Вотъ истинный Богъ!...

— Справедливо, весьма справедливо! согласился съ нимъ Тютчевъ, мало что соображая, но, тутъ же, однакожъ, распорядился: Кирила! ворота на запоръ! Скажи Максиму, чтобъ взялъ топоръ... разбуди и его... Да возьми топоръ и самъ...

— Ужъ онъ у меня есть, отозвался Кирила, тотъ самый мужикъ, который отперъ Сидоркѣ калитку.

— Хорошо... держи его на готовѣ... продолжалъ возбужденно Тютчевъ. А самое главное—ворота на запоръ... да покрѣпче... да самимъ не дремать... чтобъ въ оба глаза...

— Ладно! произнесъ Кирила, и немедленно завозился у калитки, что-то передвигая и что-то усердно дергая своими здоровенными ручищами.

— Пстой, пстой! всполошился Сидорка. А меня-то куда-жъ? Вѣдь мнѣ домой бѣжать надо, а то меня Салтычиха сегодня-жъ въ ночь въ могилу вронить: такъ прямо въ могилу и ложись. Выпустите меня-то, баринъ, мнѣ домой надо.

— Справедливо, весьма справедливо, снова согласился Тютчевъ, — ты можешь бѣжать, братецъ. А ежели все тобою донесенное справедливо—я тебя и самъ награжу, и сообщу о томъ по начальству. Тебя начальство не забудетъ.

— Много благодарны, сударь, поклонился Сидорка, снявъ шапку. Всегда на вашу милость въ надеждѣ...

Сидорка былъ уже за воротами и ворота дома Панютиной были уже на крѣпкомъ запорѣ, охраняемые двумя мужиками, Кирилой и Максимомъ, когда въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ дома, на берегу Самотецкаго пруда, остановились сани Салтычихи.

Сидорка, тутъ же спрятавшійся за угломъ какого-то дома, видѣлъ, какъ изъ саней вылѣзли Акимъ и Анфимъ, и слышалъ отчетливо сказанныя слова Салтычихой:

— Да не жалѣть пакли-то, молодцы,—побольше подъ крышуту. А коли что—и ножи въ ходъ... Я тутъ пообожду малость.

Акимъ пробурчалъ что-то въ отвѣтъ, чего Сидорка не разслышала, хотя и чутко прислушивался, и оба приспѣшника Салтычихи, Акимъ и Анфимъ, осторожно, стороной, у заборовъ, начали пробираться въ гору отъ пруда къ дому Панютиной.

„Пошли наши волки трясти лошадиныя холки, началъ самъ съ собою разсуждать Сидорка, наблюдая за удалявшимися фигурами Акима и Анфима. Только поздновато будетъ — волковъ и примутъ по-волчьи: тоже гостинничекъ готовъ. Не дарма же я взбулгачилъ барина. Перепалка будетъ.“

И Сидорка радовался своему дѣлу, т. е. тому, что во-время предупредилъ о грозящей опасности Тютчева.

На это у Сидорки были свои причины, о которыхъ онъ долго думалъ и раскидывалъ своимъ умомъ-разумомъ.

Не глупый отъ природы малый, даже по-своему и весьма умный и весьма разсудительный, Сидорка давно уже рѣшилъ, что самое лучшее, что онъ можетъ придумать, это то, чтобы вліять на свою барыню черезъ другихъ и тѣмъ добиться того, чего желали — и лично онъ, и всѣ дворовые Салтычихи. У него явился какой-то родъ личной ненависти къ барынѣ, и ему всѣми силами хотѣлось добиться ея гибели, хотя онъ почти и не вѣрилъ въ эту возможность, соразмѣряя грозныя силы Салтычихи и свои ничтожныя мужицкія силы.

Во всемъ этомъ почему-то главную роль играла любовь Сидорки къ Галинѣ, хотя любви его никто не препятствовалъ, не исключая и самой Салтычихи, незнавшей объ ней ничего, и Галина отвѣчала ему своей самой искренней дѣвичьей взаимностью. Но Сидоркѣ казалось почему-то, что его счастью всегда будетъ преграда въ лицѣ Салтычихи, и этотъ взглядъ особенно усилился въ немъ съ тѣхъ поръ, какъ Салтычиха приблизила къ себѣ Галину, сдѣлавъ ее своей любимицей.

„Отобьетъ она у меня Гальку, не разъ задумывался онъ, — зазнается Галька, зафордыбачить она — и тогда прощай Сидорка, лихая голова твоя, не увидишь ты Гальки, какъ ушей своихъ.“

А лихой парень слишкомъ ужъ былъ привязанъ къ дѣвушкѣ, чтобы потерять ее такъ за-просто.

„Буду мутить всѣхъ!“ рѣшилъ какъ-то Сидорка, долго и упорно ворочаясь въ одну глухую ночь на своей жесткой постели, и принялся за „свое дѣло“.

Съ этою цѣлью, онъ, какъ умѣлъ, возбуждалъ дворовыхъ, выпускалъ при всякомъ удобномъ случаѣ вездѣ и всюду самыя невѣроятныя, даже нелѣпыя слухи про Салтычиху, въ особенности же настраивалъ противъ Салтычихи свою возлюбленную, которая, какъ влюбленная, невольно стала какъ-то глядѣть на все глазами любимаго человѣка. Онъ-же, Сидорка, подучилъ Галину передать Салтычихѣ отъ имени Тютчева и то, чего тотъ и не думалъ никогда отвѣчать Салтычихѣ на ея письмо. Разсчетъ Сидорки оказался вѣрнымъ. Салтычиха взбѣленилась, и рѣшилась на то, зачѣмъ она теперь и пріѣхала на Самотеку, къ дому Панютиной. У Сидорки при этомъ былъ еще и другой разсчетъ. Озлившійся Тютчевъ, а то, можетъ, и сама Панютина, какъ полагалъ Сидорка, подадутъ на Салтычиху доносъ въ поджогъ и грабежъ, и тогда... Тутъ ужъ фантазія Сидорки принимала самыя невѣроятныя формы, и ужъ Богъ вѣсть чѣмъ не представлялъ себя этотъ, одинъ изъ обыкновеннѣйшихъ дворовыхъ Салтычихи, и въ концѣ концовъ всегда утѣшалъ себя: „Э, да вѣдь копна мыши не диво. Нѣтъ-нѣтъ, да и подгрызетъ мышка копну-то: копна-то на земь и грохнется, и разсыплется, и не станетъ копны никакой...“

Между тѣмъ, та копна, которую мышка въ лицѣ Сидорки намѣревалась подгрызть, сидѣла спокойно въ саняхъ и спокойно ожидала исполненія своего приказанія.

Исполненіе, однакожъ, что-то позатянулось, и мгновеньями Сидоркѣ казалось, что Салтычиха нетерпѣливо ерзала по сидѣнью, точно собираясь соскочить съ него. Въ эти мгновенья и Сидорка чувствовалъ что-то такое, отчего у него прилиwała кровь къ головѣ, сердце усиленно билось, а кто-то точно нашептывалъ ему на ухо: „Покончи... самое подходящее время... вдругорядъ такого случая не выдастся... никто не увидитъ, никто не узнаетъ...“ Голосъ былъ слишкомъ настойчивъ, слишкомъ назойливъ,—и Сидорка соглашался съ нимъ: „И то! бормоталъ онъ чуть не въ слухъ, сжимая что-то въ рукахъ подъ тулупомъ, и въ тоже время сильно вздрагивая не то отъ холода, не то отъ чего-то другого. Одинъ конецъ — и ей, и мнѣ... Теперь ночь, она въ чужомъ мѣстѣ... Подкрадусь сзади—тилісну ножемъ—и все, и конецъ, и будетъ съ нее, и не пріѣдетъ домой... Скажутъ—Акимъ, аль Анфимъ нѣмой... а я въ сторонѣ, и ни при чемъ... А то и разбойники, скажутъ... зачѣмъ, молъ, къ прудамъ попала?... что надо?..“

Поищутъ, поищутъ, да и бросятъ... А тогда я Галю за рога, стой, моль, дѣвка, ты моя—теперь ужъ Салтычиха намъ не помѣха... распоясывай, значить, кафтанъ на всѣ ремни!..“

При мысли о Галѣ, Сидорку всего даже какъ-то передернуло. Тутъ же мгновенно приплелось и имя кучера Акима. Соперникъ предсталъ теперь передъ Сидоркой во всей своей мрачной неприступности. Зачѣмъ онъ здѣсь? зачѣмъ онъ пошелъ на такое дѣло? Навѣрное, хочетъ выслушиться передъ Салтычихой, и потомъ выпросить у нея за услугу Галину.

„Не отдамъ! не отдамъ!“ прошепталъ настойчиво и зло Сидорка, и въ это время его всего съ ногъ до головы охватилъ какой то жгучій порывъ, къ сердцу хлынуло какое-то жгучее озлобленіе, и весь онъ дрожалъ, почти шатаясь, и въ головѣ его шумѣла, и въ глазахъ завертѣлись необыкновенно яркіе огненные круги, и ему почуялось даже, что возлѣ него запахло кровью.

Подобнаго чувства, подобнаго состоянія Сидорка не испытывалъ никогда: оно ошеломило его совершенно. Не помня себя, мало передъ собой что видя, мало что разбирая, кромѣ спокойно сидѣвшей въ саняхъ фигуры Салтычихи, онъ вдругъ порывисто шагнулъ изъ-за своего угла, и хотѣлъ было просто бѣжать по направленію, гдѣ находилась въ саняхъ Салтычиха, но довольно яркій, хотя и блѣдно-синій, свѣтъ отъ лежавшаго грудами вокругъ снѣга, какъ то сразу охолодилъ порывъ Сидорки. Онъ остановился даже, и оглядѣлся вокругъ. Ночь была тиха, и звѣзды по прежнему ярко мерцали на небѣ. Фигура его съ короткой тѣнью вправо ярко выдѣлялись среди массы снѣга. Изъ боязни, чтобы не замѣтила его Салтычиха, онъ чуть было опять не спрятался за уголъ, и ужъ было шагнулъ назадъ съ этой цѣлью, но что-то какъ будто толкнуло его сзади, кто-то какъ будто устыдилъ его чѣмъ-то,—и онъ, со смѣлостью, сперва выпрямившись, потомъ согнувшись, медленно, дрожащей, однакожъ, походкой, началъ сзади подкрадываться къ Салтычихѣ... Правую руку его подъ тулупомъ жгло что-то, что-то гдѣ-то царапало, дергало гдѣ-то что-то, дергало и очень неловко, и очень больно,—но онъ подкрадывался и подкрадывался, словно это было страшно необходимо, словно кто-то заставлялъ его двигаться неотвратно, неизбежно.

Салтычиха, по прежнему, сидѣла въ саняхъ спокойно и тихо, и такъ же тихо и спокойно было вокругъ въ эту зимнюю, морозную ночь, нѣмую свидѣтельницу человѣческихъ грѣховъ и раздоровъ,—и непрерывныхъ, и вѣчно озлобленныхъ...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

На Самотекѣ.

Не всегда людямъ удается то, что они тщательно обдумываютъ: чаще всего, тщательно обдуманное бываетъ неудачливѣе необдуманнаго. Судьба вездѣ любитъ играть человѣчествомъ и его неудержимыми страстями не въ его пользу, не по его расчетамъ.

Въ ту зимнюю ночь, въ которую, въ данное время, происходитъ одно изъ дѣйствій нашего повѣствованія, все было не въ пользу и не по расчетамъ тѣхъ, кто ожидалъ ото всего обдуманнаго — и какой-то пользы, и кое на что рассчитывалъ.

Все произошло совершенно противно тому, какъ было обдуманно, и совершенно неожиданное, и совершенно въ другомъ родѣ.

Въ то самое мгновеніе, когда Сидорка почти совсѣмъ уже приблизился къ Салтычихѣ, и его рука съ безумной безсознательностью вытаскивала что-то изъ-подъ тулупа надъ прудомъ, съ улицы, поднимавшейся въ гору, раздались сильные выкрики.

Кто-то кричалъ отчаянно и хрипло:

— Грабятъ!... поджигаютъ!... караулъ!

Затѣмъ, крикъ какъ-то сразу смолкъ. Но крика этого было достаточно для того, чтобы Сидорка мгновенно пришелъ въ себя и понялъ о бессмысленности того поступка на который онъ Богъ вѣсть изъ-за чего рѣшался. Ножъ выскользнулъ изъ его рукъ, и онъ самъ застылъ за спиной Салтычихи: не то въ изумленіи, не то въ испугѣ.

Раздавшійся съ горы крикъ встревожилъ и лошадь: стоявшая доселѣ тихо, она вдругъ зафыркала, затопала передними ногами.

— Тише... ты!.. аль кровь почуяла!.. дернула Салтычиха возжей.... Привстала, и начала прислушиваться.

— Чего они тамъ!.. аль не съумѣли!.. заворчала она спокойнымъ голосомъ, точно дѣло шло о рубкѣ какойнибудь капусты, а не о томъ, гдѣ покушаются на жизнь человѣческую.

— Вотъ... пошли дураковъ... Вѣрно, этотъ Анфимъ, глухая собака... всегда чтонибудь испакостить, чортовъ выродокъ...

Все это Сидорка слышала, хотя и стояла за спиной Салтычихи, какъ говорится, ни живъ, ни мертвъ. На него нашло какое-то тупое одуреніе, и—обернись въ это время Салтычиха къ нему лицомъ,—онъ упалъ бы передъ нею на колѣни, и во всемъ бы повинился.

„Бѣжать... бѣжать... недоброе тутъ будетъ...“ только и мелькало что-то неопредѣленно въ его головѣ. Но онъ не бѣжалъ, не трогался даже съ мѣста, какъ будто чего-то ожидая, и удивительно было, что чуткая всюду и вездѣ Салтычиха, не чуяла за своей спиной присутствія посторонняго человѣка.

Между тѣмъ, тишина ночи снова нарушилась криками, но уже болѣе сильными и болѣе отчаянными. Кричала, повидимому, человѣкъ, котораго пришибли, или ранили. Крикъ былъ такъ страшенъ, былъ полонъ такого ужаса, что Сидорка смертельно дрогнула, и какъ подстрѣленный волкъ, шарахнула отъ Салтычихи въ сторону.

Салтычиха вдругъ привскочила на саняхъ.

— Кто тутъ?... гаркнула она своимъ властнымъ голосомъ, обернувъ высоко поднятое лицо въ ту сторону, въ которую шарахнула Сидорка.

Остановившись въ нѣсколькихъ шагахъ, испуганный, почти обезумѣвшій, Сидорка молчала, безсознательно кутаясь все болѣе и болѣе въ свой тулупъ.

— Отвѣчай!.. не то... какъ-то глухо и какъ-то особенно мрачно прозвучала голосъ Салтычихи въ морозномъ воздухѣ.

Сидорка молчала, ежилась, хотѣла подать голосъ, но языкъ у него совсѣмъ отнялся. Что-то тяжелое подступало къ его груди, а голова горѣла и кружилась до того, что онъ еле держался на ногахъ...

— А!.. подсланный... отъ Тютчева!.. зашипѣла уже Салтычиха, продолжая стоять въ саняхъ... Такъ вотъ же тебѣ, дворо-

вый песъ... вотъ!.. прими-ко-ся отъ меня ему отвѣтъ, твоему барину!..

Шипучій, рѣзкій звукъ пистолетнаго выстрѣла коротко пронесся въ воздухѣ, сперва щелкнувъ и сверкнувъ нѣсколькими искорками...

Сидорка повалился на снѣгъ, и тихо застоналъ, и потомъ что-то забормоталъ.

Салтычиха прислушалась.

— Голосъ какъ-бы Сидоркинъ... зачѣмъ онъ тутъ?..

Она хотѣла-было встать, любопытствовать, но въ это время съ горы слышались шаги бѣгущихъ людей, и крики:

— Держи!.. Лови!.. Эвона, побѣгли!.. Поджигатели!.. грабители!.. карау-ль!..

Впереди бѣжали Акимъ и Анфимъ. Сзади Кирила съ Кузьмой, дворовые Панютиной, съ топорами въ рукахъ. Кричали двое послѣднихъ.

— Оплоховали... черти!.. проворчала Салтычиха, и потомъ вдругъ крикнула: садись!.. скорѣе!..

Оба, и Акимъ и Анфимъ, съ маху попали въ сани. Акимъ, видимо раненый куда-то, машинально схватилъ возжи, и круто повернулъ лошадь. Та порывисто взяла съ мѣста.

Кирила и Кузьма остановились. Ихъ поразило и то, что откуда-то появились сани съ бабой, и что лежитъ на снѣгу какой-то человѣкъ. Они даже перестали кричать, и переглянулись между собой, недоумѣвая и пугаясь.

— Убить кто-й-то... аль что... сомнительно проговорилъ Кирила, косясь на лежащаго безъ движенія Сидорку.

— И то... кажись, и кровь вонъ... вишь... подтвердилъ Кузьма, и тоже покосился на Сидорку...

— А вѣдь энти-то, грабители-то, ау! догадался Кирила, и почесался.

— Ау, братъ! согласился съ нимъ и Кузьма, и тоже почесался. Оба замолчали.

А бѣглецовъ, между тѣмъ, и слѣдъ простылъ.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Д о н о с ъ.

Въ описываемую нами эпоху (половина XVIII стол.) открытые и смѣлые грабежи и убійства были дѣломъ почти зауряднымъ. Не проходило недѣли, чтобы въ Москвѣ не носились слухи о какомъ нибудь нагломъ грабежѣ, или убійствѣ. Слѣдствія по такимъ дѣламъ производились строго, пускалась въ ходъ и практиковавшаяся еще тогда почти во всей своей силѣ пытка, но это нисколько не устрашало грабителей и убійцъ. Они открыто, цѣлыми шайками, проживали по окраинамъ Москвы, и даже нерѣдко открыто сопротивлялись ловившимъ ихъ полицейскимъ командамъ. Поэтому слухи о грабежахъ и убійствахъ никогда никого особенно не смущали, на эти дѣла смотрѣли какъ на дѣла весьма обыкновенныя, и только, изъ чувства самосохраненія, всякій старался, на сколько могъ, и запереть свои ворота и ставни на крѣпкій запоръ, и запрятать подальше свои сундуки и скрины со всякимъ добромъ и скарбомъ.

Слухъ о нападеніи какихъ-то невѣдомыхъ злоумышленниковъ на домъ дворянки Анастасіи Панютиной разнесся по Москвѣ на другой день весьма быстро. Этому способствовали два обстоятельства: то, что инженеръ Николай Афанасьевичъ Тютчевъ поднималъ о грабежѣ всюду по Москвѣ тревогу, указывая даже на грабителей, и то, что вблизи пруда, на улицѣ, нашли трупъ убитого „пороховымъ оружіемъ“ двороваго человѣка помѣщицы Дарьи Салтыковой, по имени Сидора Лихарева.

Въ тотъ же день инженеръ Тютчевъ сообщилъ по начальству о нападеніи на домъ его невѣсты, Анастасіи Панютиной, дворовыхъ людей помѣщицы Дарьи Николаевой Салтыковой, а на самое Салтыкову подалъ въ юстицъ-коллегію доносъ въ томъ, что она, Салтыкова, „издавна покушаясь на его особы жизнь, тѣмъ самымъ претитъ его служебнымъ дѣламъ.“ Прося „защиты и ограды“ отъ стель „безпокойной въ жизни“ помѣщицы, Тютчевъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, сообщалъ и о томъ, что „помѣщица она и касаясь своихъ крѣпостныхъ людей не право и не по закону поступаетъ: бьетъ

ихъ поленьями, скалкой, рубелемъ, опаливаетъ на головѣ волосы, обдаетъ кипяткомъ, щиплетъ уши припекательными щипцами, засѣкаетъ до смерти, и хоронитъ побитыхъ тайно, безъ должнаго христіанскаго обряду, въ лѣсу, по глухимъ мѣстамъ, и подаетъ явочныя прошенія, что будто люди тѣ невѣдомо куда бѣжали, и просила ихъ отыскивать.“ Затѣмъ, онъ прибавлялъ, что и дворовые Салтыковой неоднократно уже обращались, куда слѣдуетъ, съ жалобой на ея къ нимъ „жестокости.“

Изъ юстицъ-коллегіи доносъ Тютчева, для негласнаго разслѣдованія, былъ переданъ начальнику полицейской команды, который, прежде всего, и явился для разслѣдованія въ домъ Панютиной. Никакихъ признаковъ грабежа начальникъ въ домъ Панютиной не нашелъ, но забралъ съ собой большой клокъ пакли и двухъ мужиковъ, Кирилу и Кузьму. Былъ поднятъ такъ же на улицѣ и убитый Сидорка. По осмотру убитаго и по засвидѣтельствованіи надлежащимъ образомъ, что „онъ челоуѣкъ“ умеръ отъ „порохового оружія“, тѣло было отдано для храненія въ амбары убогаго дома при церкви Воздвиженія, которая извѣстна нынѣ подъ именемъ церкви св. Іоанна Воина, на Божедомѣ.

По инструкціи, начальникъ полицейской команды долженъ былъ отправиться для разслѣдованія дѣла и въ домъ Салтыковой. Туда отправляться онъ почему-то медлилъ, все доискиваясь чего-то въ домъ Панютиной, которая отъ испуга слегла въ постель, и требовала, чтобы Тютчевъ немедленно вывезъ ее изъ Москвы. Но Тютчевъ сдѣлать этого не могъ: его уже обязали въ юстицъ-коллегіи подпиской о невыѣздѣ изъ Москвы. Панютина злилась, стонала, охала, бранила окружавшую ея домъ полицейскую команду. Но болѣе всего досталось отъ нея самому виновнику всей этой кутерьмы, Тютчеву. При видѣ нагрянувшей въ домъ полицейской команды, Тютчевъ и самъ уже сожалѣлъ о томъ, что поторопился съ доносомъ. Но дѣло было уже сдѣлано, надо было продолжать начатое. Догодавшись поговорить наединѣ съ начальникомъ команды, поручикомъ по чину и челоуѣкомъ довольно стоворчивымъ, Тютчевъ къ вечеру избавился отъ полицейской команды, и могъ хотя этимъ утѣшить нѣсколько свою взволнованную невѣсту. Но, ходя по дому, обозленный всѣмъ происшедшимъ, онъ твердилъ:

— Докажу... все докажу... разорю твое гнѣздо окаянное...

Тѣмъ временемъ, въ гнѣздѣ окаянномъ все было тихо, спо-

койно, и, странное дѣло, никто еще въ домѣ не зналъ о томъ, что было уже извѣстно почти всей Москвѣ. Дворнѣ только извѣстно было, что Акимъ-кучеръ по какому-то порученію барыни, рано утромъ, отправился въ дальнюю вотчину, за Вологду, а Сидорка Лихаревъ не ночевалъ дома и, вѣроятно, гдѣ нибудь загулялъ. По этому поводу дворовые разсуждали: здорово или не здорово достанется Сидоркѣ, и кто именно послѣ Акима-кучера возьметъ на себя „ролю крестника“.

Одна только Галина была смущена отсутствіемъ Сидорки: любящее сердце ея подсказывало что-то недоброе. Она въ тихомолку спрашивала когда именно и куда именно ушелъ Сидорка, но добиться толку ни отъ кого не могла: никто не зналъ, куда и когда ушелъ Сидорка.

Сама барыня проснулась поздно, долго лежала въ постели и долго бесѣдовала съ Галиной о всякихъ пустякахъ, и при этомъ часто смѣялась и вообще была какъ будто чѣмъ-то довольна. Наконецъ, она приказала позвать Сидорку, замѣтивъ, что она хочетъ послать его въ Троицкое по нужному ей дѣлу: онъ, молъ, парень расторопный, живо спроворить дѣло. Галина, точно не зная, что Сидорки нѣтъ дома, побѣжала за нимъ въ „служилую.“ Само собою разумѣется, что ей пришлось возвратиться къ барынѣ съ извѣстіемъ, что Сидорки нѣтъ, что онъ ушелъ куда-то. Салтычиха вспылила и тутъ-же приказала, когда онъ возвратится, то отослать его къ Анфиму за „кнутобойнымъ обѣдомъ?“ Галина часто, послѣ этого, ходила навѣдываться не возвратился ли Сидорка, но Сидорка не шелъ, Сидорки все не было.

Передъ сумерками, когда Салтычиха, послѣ жирнаго обѣда, съ костью въ рукахъ, сидѣла въ своемъ любимомъ кожаномъ креслѣ, погруженная въ какую-то дремотную созерцательность, по дому вдругъ разнеслась поразившая всѣхъ вѣсть: къ дому подошла полицейская команда и стала съ тесаками въ рукахъ у воротъ.

Съ этимъ извѣстіемъ прибѣжала къ Салтычихѣ Галина, перепуганная и взволнованная. Она почему-то находила нѣчто общее съ исчезновеніемъ Сидорки и съ появленіемъ полицейской команды въ домѣ Салтычихи.

Полицейскій поручикъ, въ сопровожденіи драгуна, входилъ уже по лѣстницѣ въ домъ, когда Галина сообщила.

— Пришли, барыня, полицейскія драгуны—у воротъ стоятъ... и съ тесаками...

— Ложь!.. Я этого не допущу!.. грозно крикнула, при этомъ исвѣстїи, Салтычиха.

И ее всю точно передернуло. Она вытаращила глаза, крѣпко сжала рукой конецъ костыля, да такъ и застыла въ этомъ положенїи, мрачная и черная, какъ грозовая туча, ужасная до звѣрства въ своей ледяной неподвижности.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Б о р ь б а.

Салтычиха и въ самомъ дѣлѣ не впустила въ домъ свой полицейской команды. Она тотчасъ же распорядилась, чтобы ворота запереть на-глухо, что и было исполнено покорно Анфимомъ и еще нѣсколькими дворовыми, въ виду полицейской команды, стоявшей на улицѣ за воротами. Затѣмъ, Анфиму было приказано спустить всѣхъ собакъ, которыя, будучи спущены, немедленно подняли по всему двору невообразимый лай, кидаясь черезъ рѣшотку на команду, защищавшуюся палашами. Человѣкъ десять дворовыхъ, во главѣ съ Анфимомъ, вооружились топорами, и были на готовѣ вступить въ бой съ полицейской командой, состоявшей тоже человѣкъ изъ десяти. Все это было сдѣлано въ самое короткое время и въ то время, когда полицейскій поручикъ со своимъ драгуномъ находился въ отдѣльной комнатѣ въ ожиданїи выхода къ нему Салтычихи. Салтычиха наконецъ къ нему вышла.

— Чему обязана посѣщенїемъ вашего благородїя? спросила она, садясь, но не приглашая полицейскаго офицера садиться.

Поручикъ, въ приличныхъ выраженїяхъ, стоя передъ Салтычихой въ приличной же позѣ, объяснилъ цѣль своего посѣщенїя.

Салтычиха, внимательно выслушавъ поручика, покачала головой, и долго не спускала съ него глазъ, точно стараясь разгадать, что ему надо и на что онъ собственно способенъ.

Поручикъ стоялъ и тоже смотрѣлъ на Салтычиху съ приличнымъ его званію достоинствомъ.

— Ну и что-жъ? спросила затѣмъ Салтычиха.

— Приказано касася слѣдствія... отвѣчалъ скромно поручикъ.

— Слѣдствуй, ваше благородіе, слѣдствуй: вотъ я вся тутъ, вся передъ тобой, ваше благородіе, и весь мой домъ къ твоимъ услугамъ: гуляй, бѣгай, а то и спать ложись—благо, вишь, вечерѣтъ. Я баба сговорчивая.

Послѣднія слова были сказаны Салтычихой съ особенной выразительностью. Поручикъ замѣтилъ это, и проговорилъ съ неменьшей любезностью:

— О, сударыня! сговорчивый человѣкъ и я. Но... знаете ли... служба... обязанности... мы должны блюсти... насъ посылаютъ... Служба дѣло очень, сударыня, суріезное—службой шутить не слѣдуетъ. Но мы все-жъ люди, и всегда доподлинно намъ извѣстно, съ кѣмъ и какъ вести себя намъ, офицерамъ, слѣдуетъ...

Повидимому, поручикъ былъ себѣ на умѣ, птица, какъ говорится, обстрѣленная, и хотя говорилъ не особенно краснорѣчиво, но своей рѣчью передавалъ именно то, что хотѣлъ передать и что ему передать было необходимо.

Салтычиха опять слушала его внимательно, и потомъ вдругъ, какъ бы спохватившись, предложила:

— Да что-жъ ты не садишься, ваше благородіе? Садись.

— О, я и постою, скромно отвѣтствовалъ поручикъ, и какъ-то своеобразно взмахнулъ глазами на дверь.

Стоявшій тамъ драгунъ вдругъ зарпортовалъ:

— Вашъ бородій, надо бы команду оглядѣть — не разбрелись бы.

— Пшоль! было отвѣтомъ.

Драгунъ вышелъ.

— А и ловко жъ у тебя, ваше благородіе, все это обстроено—вовсе по умному, замѣтила, съ улыбкой, Салтычиха, когда драгунъ скрылся за дверью.

— Нельзя-съ... служба-съ...

— Ну, вѣстимо... понаторѣлъ...

— Служба всему научить...

— Ну, вотъ и скажи: какъ тебя, ваше благородіе, служба научила побывать въ домѣ Панютиной? Сколько дано?

— Даны пустяки-съ... отвѣчалъ, не стѣсняясь нисколько, поручикъ, потому-что „дѣло это“ до того было обыкновеннымъ въ описываемую эпоху, что о немъ говорили, не краснѣя, какъ, не краснѣя, и брали.

— Какіе-жъ пустяки?

— Десять золотыхъ-съ...

— Ври больше! не утерпѣла, чтобъ не замѣтить, Салтычиха, точно понявъ, что поручикъ нагло совралъ: онъ получилъ всего только пять золотыхъ. (По тому времени и это были деньги весьма изрядныя).

Поручикъ нашелъ необходимымъ увѣрить Салтычиху въ своей честности:

— Честное слово полицейскаго офицера! воскликнулъ онъ, прижавъ лѣвую руку къ сердцу.

— Ну, я дамъ двадцать, сказала Салтычиха, и, вставъ, прибавила: да еще какъ нибудь на денькахъ пришли вѣрнаго чело-вѣчка: ссужу тебя борова хорошаго, да убойнки пудовъ пять. У меня чтой-то много понакопилось этого добра. А тебѣ боровъ, ваше благородіе, будетъ къ лицу... я вижу... мужикъ ты добротный...

Салтычиха вышла. Вскорѣ вышелъ изъ ея дома и полицейскій поручикъ въ очень хорошемъ настроеніи духа. Сходя съ лѣстницы онъ даже своеобразно напѣвалъ:

Всегда прехвально, предпочтенно,
Во всей вселенной обожжено
И вожденное отъ всѣхъ,
О ты, великомошно счастье!

„Великомошно счастье“ поручика такъ было велико, что онъ въ тотъ же вечеръ доносилъ по начальству все „какъ слѣдуетъ“, но такъ, что для слѣдствія надъ Салтычихой не было ни малѣйшаго повода, а если бы и началось слѣдствіе, то въ немъ трудно было бы разобраться полицеймейстерской канцеляріи, вѣдавшей тогда подобныя дѣла, и въ дѣсятокъ лѣтъ. Богъ вѣсть почему, но и полицеймейстерская канцелярія не нашла данныхъ для слѣдствія, и дѣло какъ-то быстро было замято и забыто, тѣмъ болѣе, что и Тютчевъ отъ своего доноса отказался, заявивъ, что доносъ онъ сдѣлалъ „сгоряча“, по недомыслію, и готовъ просить у Дарьи Салтыковой „публичной милости.“ До „публичной ми-

лости“ его не довели, но взыскали довольно изрядный штрафъ, который, конечно, заплатила Панютина, и тоже была весьма рада прекращенію дѣла. Тютчевъ попросился, по болѣзни, въ отставку. Ему ее дали безъ проволочекъ, такъ-какъ на его мѣсто было не мало охотниковъ, и онъ немедленно со своей болѣзненной невѣстой поѣхалъ въ ея имѣніе, въ Орловскую губернію, благодаря Создателя, что Онъ избавилъ его отъ Салтычихи и даже, можетъ быть, отъ вѣрной смерти.

Такимъ образомъ, были удовлетворены и довольны всѣ—и Тютчевъ, жаловавшійся на Салтычиху, и Панютина, его невѣста, искавшая спокойствія, и сама Салтычиха, наконецъ, намѣревавшаяся отомстить Тютчеву за измѣну.

Не была довольна одна Галина.

Бѣдная дѣвушка совсѣмъ ошалѣла, когда до нея дошли слухи о смерти Сидорки. Это ей сообщилъ поваръ Кочедыкъ, почему-то разузнавшій суть дѣла ранѣе всѣхъ и ранѣе всѣхъ серьезно рѣшившій, что „такое дѣло и похлебки гороховой не стоитъ, не токма что крутой каши“.

— Кто же?... когда?... пристала къ нему дѣвушка, и вѣря и не вѣря извѣстію, и сама вся дрожа, какъ въ лихорадкѣ.

— Недавно дѣло было, сообщалъ спокойно Кочедыкъ: всего третьего дни, въ ночь, стало быть, потому — нашли молодца на утро. А кто—одному Богу вѣдомо. Скорѣйча всего, тѣ молодцы, съ коими Сидорка компанію велъ и совмѣстно метресокъ сыскивалъ. Дѣло извѣстное.

— Неправду ты говоришь! неправду! почти простонала Галина, убѣгая въ свою комнату.

Въ комнатѣ она упала на постель и разразилась рыданіями, неутѣшными, тяжелыми, и вся изнемогая подъ давленіемъ такъ неожиданно нахлынувшего на нее горя. Во всемъ, конечно, она винила Салтычиху, чужая это любящимъ сердцемъ, проклинала ее, и къ Салтычихѣ въ ней закипѣло снова то озлобленіе, которое въ ней было когда-то, еще при жизни отца, въ лѣсной сторожкѣ. Среди горя и отчаянья, прошлое какъ-то само собою возставало передъ ней, она припоминала всѣ подробности этого прошлого — въ особенности же не переставала припоминаться ей клятва, данная надъ могилой отца. Зачѣмъ она забыла ее?... что привязало ее къ этой, всѣмъ ненавистой, женщинѣ?... Галинѣ

съ омерзениемъ припомнилось все то, что она дѣлала въ послѣднее время для Салтычихи. Она стала у Салтычихи первой горничной, она пользовалась своимъ вліяніемъ, и нерѣдко кое-кому истила за старыя обиды, она чуть не стала передъ Салтычихой доносчицей на своихъ собратій, такихъ-же крѣпостныхъ, какъ и она. По крайней мѣрѣ, ей представлялся въ этомъ родѣ случай, и она еле-еле удержалась отъ доноса. И что же? что она за все это получаетъ? Получаетъ подарки — тряпки какіе-то, видитъ иногда благосклонныя улыбки барыни, пользуется правомъ трепать другихъ — и только. Но вѣдь и барыня иногда трепеть ее, хотя и не больно, но весьма чувствительно. Какъ знать, чѣмъ все это кончится. Не кончится ли тѣмъ, чѣмъ кончилось со старухой, Фивой. Вѣдь и та тоже была молода, красива, тоже въ свое время была любимицей барыни, пользовалась вліяніемъ среди дворовыхъ, а кончила тѣмъ, что помѣшалась и была убита чуть ли не самой барыней. Не ждетъ ли подобная участь и ее, Галину?... „О, да, да, ждетъ! убьетъ Салтычиха и меня!“ простонала дѣвушка, и непомѣрная злость къ Салтычихѣ охватило ея сердце, охватило болѣзненно, неудержимо. Цѣлый рой намѣреній промелькнулъ въ ея головѣ, и какая-то рѣшимость, неопредѣленная, не смѣлая до дерзости, засвѣтилась въ ея глазахъ. Она вскочила, утерла кулакомъ слезы, и покинула свою комнату. Черезъ минуту она была уже въ комнатѣ Салтычихи.

Салтычиха находилась въ хорошемъ расположеніи духа. Она самолично раскладывала по столу старыя, засаленныя карты, видимо гадая, и улыбалась во все свое лицо. Въ этотъ день, благодаря этому обстоятельству, ни одного крика не раздалось въ домѣ, и кнутъ Анфима висѣлъ празднично на стѣнѣ конюшни. Въ тотъ же день и благодаря тому же обстоятельству, Галину ожидалъ весьма цѣнный подарокъ: Салтычиха рѣшила подарить дѣвчкѣ залежавшееся у ней съ давнихъ лѣтъ и вовсе для нея бесполезное жемчужное ожерелье. Галина конечно, не ожидала такого цѣннаго подарка. Да ей теперь совсѣмъ было и не до подарковъ. Къ Салтычихѣ дѣвушка вошла неровной походкой, блѣдная, сильно возбужденная.

— Ай, дѣвка! что съ тобой такое? встрѣтила ее Салтычиха, медленно повернувъ голову въ ея сторону и держа въ рукѣ тренового короля.

Галина отозвалась не сразу.

— Аль и языкъ отнялся? Промолви словечко-то, будь милостива, шутила Салтычиха.

— Барыня... Сидорка... убить... начала Галина тихимъ, дрожащимъ голосомъ, глядя на полъ, какъ уличенная въ какомъ нибудь преступленіи.

Салтычиха слабо усмѣхнулась.

— Убить... точно... А тебѣ что въ томъ, дѣвка? какая забота?

Салтычиха бросила трефоваго короля въ груду другихъ картъ, сверкнула глазами—день ея былъ испорченъ, хорошаго настроенія, какъ не бывало.

Галина молчала, стоя по прежнему недвижимо.

— Ну, говори же: что тебѣ въ томъ, что Сидорка убить? какая забота?

— Забота та, барыня, молвила глухо дѣвушка, что я... я... я любила Сидорку...

— Вотъ такъ дура! гаркнула во все горло Салтычиха, и громко разсмѣялась.

Дѣвушка подняла голову. На глазахъ ее виднѣлись слезы.

— Ужъ не по немъ ли ты плачешь? тоскуешь? продолжала смѣяться Салтычиха. Коли по немъ—поуспокойся: я для тебя лучше муженька приспособлю, да еще и подарочекъ для молодушки дамъ—ожерельице жемчужное, красивое: будешь, что щеголиха какая съ Кузнецкаго, разфуфыришься—ай-ну!

— Ахъ, барыня, барыня! какъ же я любила его! произнесла, съ нѣжностью въ голосѣ, дѣвушка, закрывая лицо руками.

— Вотъ! гдѣ умница, а гдѣ и дура! воскликнула Салтычиха. Любила, такъ и сказала бы: я бы живо вашу свадьбу спроворила. Парочка была бы хоть куда.

Галина не знала, что сказать на это. Вѣдь въ самомъ дѣлѣ барыня говорить правду: чего она молчала? чего она боялась сказать барынѣ о томъ, что такъ было важно, можетъ быть, для всей ея жизни? Скажи она объ этомъ барынѣ ранѣе—теперь она, навѣрное была бы счастлива, и Сидорка, навѣрное, былъ бы живъ. А теперь его нѣтъ—и все для нея кануло, какъ будто въ вѣчность. Одна только злость и гложетъ ея сердце—и вотъ она теперь ежеминутно готова броситься на Салтычиху, которая,

можетъ быть, ни въ чемъ и неповинна относительно постигшей ея потери. Но ей хочется знать: кто же былъ настоящимъ, ровнымъ, виновникомъ ея потери, и она допытывается у барыни:

— А убилъ-то кто-жъ?

Чаша терпѣнія Салтычихи была переполнена, все было испорчено, омрачено. Она вскинула на дѣвушку глазами.

— А ты, должно, про кнутъ позабыла, дѣвка? зашипѣла она. Такъ напомнимъ!

— Всегда ждали и ждемъ этого! отвѣчала съ дерзостью Галина.

— Дѣвка, уймись! уже гаркнула Салтычиха, грозно завертѣвъ глазами и хватясь правой рукой за свой костыль.

Дѣвушка сдѣлала порывистое движеніе по направленію, гдѣ сидѣла барыня.

— Ну, на, бей, душегубица ненасытная! визгливо, въ безуміи, крикнула она, остановившись на шагъ передъ Салтычихой и выставя передъ ней свою дѣвичью грудь. Бей! бей! Ты Сидорку убила, убей же и меня! Я вся передъ тобой тутъ!... Убей!

Салтычиха побагровѣла, хотѣла что-то крикнуть, но, отъ сильнаго озлобленія, только издала какіе-то хриплые звуки, закашлялась, но привстала, и подняла костыль...

Галина болѣзненно вскрикнула, но въ тоже время вскрикнула и Салтычиха, а черезъ минути — статная Галина, и грузная Салтычиха — лежали уже на полу и барахтались, стараясь ухватить другъ дружку за горло. Въ борьбѣ, видимо, переобладала Галина. Салтычиха только громко кряхтѣла, и старалась крикнуть. Но Галина зажимала ей ротъ, и наконецъ, — уловчилась какъ-то схватить Салтычиху за горло, насѣла на нее... и — въ комнатѣ, гдѣ происходила такая ужасная, отвратительная борьба двухъ озлобившихся женщинъ, стало тихо, какъ въ могилѣ...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Судъ надъ душегубщицей.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Смуглянка.

По случаю предстоявшаго въ 1762 году коронованія императрицы Екатерины II отправился въ Москву и князь Григорій Григорьевичъ Орловъ.

Князь помѣстился въ ново-созданныхъ своихъ палатахъ близъ Донского монастыря, совершенно глухой и пустынной улицѣ, сдѣлавшейся немедленно мѣстомъ, куда начала стремиться вся московская знать.

Князь въ Москвѣ, безъ стѣсненія, повелъ жизнь открытую, веселую, и, какъ любитель лошадей и голубей, преимущественно занялся этими двумя предметами: объѣзжалъ на бѣговыхъ дрожкахъ своихъ кровныхъ рысаковъ и кормилъ собственноручно тысячи голубей. При этомъ, не было забыто и хлѣбосоольство. Для всѣхъ и всякаго, не исключая и престоляродья, домъ князя былъ открытъ, и всякій, по возможности, находилъ въ немъ то, чего искалъ.

Вся эта открытая, пышная и хлѣбосольная жизнь имѣла, однакожъ, и свою практическую подкладку.

Глядя на его широкую, повидимому безалаберную и расточительную, жизнь, москвичи рѣшили, что князь глупъ, и умѣетъ только проживать деньги. Конечно это мнѣніе высшаго московскаго круга было извѣстно князю, и онъ добродушно посмѣивался въ кулакъ,

называя, въ свою очередь, сановитыхъ москвичей „дуровыми кобылами.“

Простонародье Москвы, напротивъ, нашло князя вельможей умнымъ и тароватымъ. Всюду и всегда жадное на подачки, на которыя князь не скупился, оно рѣшило, что князь „золотое сердце“—и, безъ всякаго преувеличенія можно сказать, въ назначенные дни, цѣлыми тысячами запружало дворъ его хоромъ, получая тамъ и даровую пищу и даровыя деньги.

Съ этою цѣлью устраивались на дворѣ громадныя, легко разбираемые, навѣсы, подъ ними ставились столы со скамейками, и народъ впускался туда поочередно, сохраняя должный порядокъ, что было однимъ изъ первыхъ условій дарового сытнаго угощенія, иначе буяна и забіяку ожидало другого рода угощеніе—тоже даровое и тоже сытное, но только на княжеской конюшнѣ и не изъ рукъ повора-добряка, а изъ рукъ усача-кучера. Благодаря этой предусмотрительной мѣрѣ, народныя сборища на княжескомъ дворѣ отличались замѣчательной тишиной, и порядокъ на нихъ, не взирая на массы народа, не нарушался никогда.

Самъ князь, за-просто, въ халатѣ и въ туфляхъ, имѣлъ обыкновеніе почти всегда бывать на этихъ угощеніяхъ, медленно обходилъ ряды столовъ здоровался со своими бѣдными гостями, пробовалъ кушанья, и нерѣдко тутъ же выслушивалъ просьбы и въ свое время удовлетворялъ ихъ, если просьба заслуживала вниманія. Вздорная и пустяковая просьба тоже не оставлялась безъ вниманія: проситель тоже получалъ удовлетвореніе, но такое, которое навсегда отучивало просителя отъ вздорныхъ просьбъ. И все это, замѣчательно, дѣлалось съ тѣмъ отеческимъ добродушіемъ, которое, кажется, только и свойственно одной русской натурѣ: тутъ были довольны обѣ стороны, и обѣ стороны ничего другъ противъ друга не имѣли.

Не избалованный съ дѣтства, немало лѣтъ тянувшій, хотя шумно и весело, „военную лямку“, бывшій цальмейстеръ гвардейской артиллеріи, имѣлъ обыкновеніе, особенно лѣтомъ, вставать рано. Никого не беспокоя, побрившись самъ, въ легкомъ халатѣ на горностаевомъ мѣху, въ красныхъ туфляхъ, съ обвязанной платкомъ головой, чтобъ не испортить прекрасныхъ бучей на лбу и на вискахъ князь проходилъ въ садъ и немедленно на-

чиналъ заниматься голубями. Затѣмъ, съ двумя-тремя какими-нибудь любимицами, изъ „сѣроплекихъ“ на плечахъ, онъ долго прогуливался и размышлялъ. Прогулка оканчивалась гимнастикой: князь прыгалъ по дорожкамъ сада, бѣгалъ, вертѣлся колесомъ, раскачивалъ и нагибалъ молодя деревья, швырялъ вверхъ и ловилъ камни. Въ заключеніе, онъ тихо напѣвалъ нѣжные „гавоты“, или русскія хороводныя пѣсни, изъ которыхъ любимѣйшей его пѣсней была „А мы просо сѣяли, сѣяли“. Пѣніе иногда замѣнялось чтеніемъ. Въ этомъ отношеніи князь отдавалъ предпочтеніе древнимъ писателямъ и книгамъ по сельскому хозяйству.

Въ одну изъ подобныхъ раннихъ прогулокъ, съ княземъ случилось маленькое происшествіе, имѣвшее, однакожъ, потомъ далеко не маленькія послѣдствія.

Увлечшись гимнастикой, удалому князю, любившему когда-то чехарду и лихо игравшему въ эту игру, захотѣлось какъ-то „тряхнуть стариной“. Такъ-какъ для затѣи не было подходящихъ спинъ, то онъ рѣшилъ перепрыгнуть черезъ невысокую стѣну сада. Задумано—сдѣлано: запахнувъ халатъ, онъ разбѣжался и, найдя упоръ въ стволѣ старой серебристой тополи, безъ труда перемахнулъ за стѣну.

„А, волкъ еще ногастый! похвалилъ онъ самъ себя, очутившись на пустырь. Еще побѣгаемъ, поскачемъ, да и зайчиковъ половимъ!“

Князь оглянулся кругомъ — пустырь, какъ пустырь: высокая трава, крапива, широко разросшіеся лопухи. Откуда-то припахивало навозомъ. На какой-то кучѣ, шагахъ въ двадцати, семья галокъ дружно копошились и чего-то искала. Почти машинально, князь шагнулъ по направленію галокъ. Тѣ сорвались съ кучи, и усѣлись тутъ же, на стѣну.

„Вы, воронье! чего испугались? произнесъ князь... Тоже московскія, съ навозу да на стѣну!...“

Солнце уже поднялось. Августовскій день обѣщаль быть и яснымъ, и теплымъ. Красноватые лучи солнца уже ярко горѣли на золоченыхъ главахъ Донского монастыря, и зубчатая стѣна монастыря какъ-то особенно отчетливо рисовалась въ утреннемъ, сѣроватомъ воздухѣ. Было тихо и прохладно.

Какъ у любителя вообще неожиданностей, случайностей и вся-

такого рода занимательныхъ „аказій“, у князя мелькнула капризная мысль:

„Пойду, пошагаю по этимъ пустырямъ—пустыри-то мои. Долженъ же я знать, что у меня имѣется.“

И князь, точно, зашагалъ по пустырю, не замѣчая даже, что ноги его нѣсколько вязли въ рыхлой почвѣ, даже промокали. Онъ быстро очутился на дорожкѣ, узкой и пыльной, проложенной огородниками. Дорожка тянулась прямо къ Донскому монастырю, а по сторонамъ, ея пестрѣли огороды съ неубранной еще капустой, морковью, рѣпой, рѣдкой, огурцами.

— Идиллія полная! произнесъ князь, пріостанавливаясь и оглядываясь прищуренными глазами вокругъ. И все вѣдь это мое. То-то, въ Москву попалъ—ворохъ капусты нажилъ. А вотъ и рѣдка, а вотъ и морковь, а вотъ и горохъ... А вотъ...

Князь вдругъ остановился. Глаза ее прищурились еще болѣе, потомъ расширились, а по лицу скользнула та улыбка, которая часто появляется у людей при видѣ какойнибудь - пріятной неожиданности.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ князя, на краю дорожки, сидѣла дѣвушка съ грудой зеленаго, только-что набраннаго, щавеля въ фартукѣ. Когда князь замѣтилъ ее, она уже сидѣла съ нѣсколько перепуганнымъ лицомъ, не зная—встать ли ей, или сидѣть. Одѣта она была очень бѣдно. Но головкой ея, въ ярко-пунцовомъ платочкѣ, повязанномъ узелкомъ на затылкѣ, залюбовался бы любой почитатель женской красоты. На смугломъ лицѣ дѣвушки какъ-то особенно красиво выдѣлялись черные, блестящіе ея глаза и ея хорошенькій носикъ. Полуиспугъ придавалъ ея сидящей фигуркѣ еще больше прелести.

Князь медленно къ ней приблизился.

— Пастушка!... А гдѣ же твой пастушокъ?... началъ князь съ улыбкой, вкрадчиво, и тѣмъ тономъ, какимъ онъ привыкъ объясняться издавна, въ Петербургѣ, во время своихъ шумныхъ гулянокъ съ братомъ Алексѣемъ въ австеріяхъ, переполненныхъ иноземными дѣвицами.

Смуглянка не поняла шутки князя—сидѣла по прежнему въ полуиспугѣ, съ приподнятой головой, съ широко открытыми глазами.

— Испугалась?... О, ты меня не бойся, востроглазая смугля-

ночка! успокоивалъ ее князь, слегка нагибаясь корпусомъ и слащаво улыбаясь во все свое красивое, холеное лицо. Что — милъ-друга ждешь, щавелекъ собираешь, угостить имъ милъ-друга хочешь?... У! кисло! не угощай! разлюбить!... И князь при этомъ поморщился, какъ будто въ его ротъ попала непріятная кислота и онъ хочетъ ее выплюнуть.

Лицо бывшего гвардейскаго „шаматона“ и „шаркуна“ было настолько уморительно, что сидящая смуглянка скромно разсмѣялась, но, тотчасъ же одумавшись, что ея смѣхъ неумѣстенъ, при-смирѣла.

— Вотъ и хорошо! одобрилъ ее, находившійся въ ударѣ шутки, князь. Теперь мы познакомимся покороче. Присѣсть можно?

Смуглянка недоумѣвала, и ужъ совершенно боязливо глядѣла на любезнаго, но тѣмъ не менѣе для нея непонятнаго и такъ странно одѣтаго кавалера.

— Конечно, можно! отвѣчалъ самъ себѣ князь, какъ будто не замѣчая испуга дѣвушки. Огороды-то вѣдь мои: я тутъ главный огородникъ. И капуста, и рѣдька—все мое. Только ты не моя—черная маковка. А присѣсть—присяду. Вотъ, и будемъ мы—хрѣнь да макъ. Какъ это поется, у хохловъ?

Князь, приспособивъ халатъ, и въ самомъ дѣлѣ присѣлъ на землю возлѣ такъ неожиданно встрѣтившейся ему дѣвушки-смуглянки.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На ловца и звѣрь бѣжитъ.

Князь Григорій Григорьевичъ Орловъ принадлежалъ къ числу людей необычайно оригинальныхъ, или, какъ тогда называли, „своеобычныхъ“, и при этомъ онъ обладалъ даромъ той плутоватой прозорливости, которая дѣлаетъ людей развязными и смѣлыми при всякаго рода случайностяхъ.

„Своеобычность“ Григорія Григорьевича была изумительна: въ

одно и тоже время онъ былъ и горделивъ непомѣрно и скромнѣе до мѣщанской простоты. „Аудіенціи“ у него часто не могли добиться самыя высокопоставленныя лица и въ то же время какая-нибудь хромая старуха занимала его по цѣлымъ часамъ. Съ простымъ народомъ онъ умѣлъ говорить артистически, часто гулялъ по Москвѣ въ мѣщанскомъ сюртукѣ и въ картузѣ, любилъ, въ одиночку, посѣщать гербергіи, австеріи и трактиры, и всюду его любимымъ удовольствіемъ было — помять кому-нибудь бока, или же получить самому хорошаго тумака. Всѣ эти „своеобычныя“ качества были хорошо извѣстны Императрицѣ Екатеринѣ, и она не преминула ими воспользоваться. Отпуская Орлова въ Москву, она сказала:

— Много есть развращенныхъ нравами, праздныхъ людей. Люди тѣ дерзкими ухищреніями всюду порицають правительство и всѣ ненарушимыя, гражданскія права, развращая тѣмъ и другихъ слабоумныхъ и падкихъ на вредную болтовню людей. Есть такія, думаю, и въ Москвѣ, можетъ и болѣе, чѣмъ въ Питерѣ. Займись тамъ ими, Григорій Григорьичъ... хоть пока.

— Надѣну ихъ балахонъ и займусь, Государыня, отвѣчалъ князь.

— Знаю, кафтанъ надѣвать тебѣ не въ диво, улыбнулась Императрица, припоминая при этомъ, какъ она однажды въ Петергофѣ видѣла Орлова въ костюмѣ русскаго ямщика и какъ этотъ костюмъ шелъ къ рослой и статной фигурѣ молодого гвардейца.

— Коль надо, я и рубище надѣну, Государыня, добавилъ Орловъ.

— Ну, тамъ какъ знаешь, дѣло твоего резона, а только сіе мнѣ весьма необходимо.

— Постараюсь, Государыня.

— Вотъ еще, Григорій Григорьичъ, остановила Императрица Орлова, когда тотъ не по придворному, а запросто поцѣловавъ руку Государыни, хотѣлъ было выйти. Дѣло я одно припомнила. Дѣло-то съ виду не особливо будто важности большой, а для меня прелюбопытное.

Орловъ слушалъ.

— Въ Москвѣ, ты знаешь, продолжала какъ бы что-то обдумывая Императрица, живутъ Салтыковы—много ихъ тамъ. Разузнай-ка объ нихъ кой-что, Григорьичъ. Что-то объ одной изъ

нихъ, объ Салтыковой-то, много говору по Москвѣ идетъ: будто она и людей своихъ, крѣпостныхъ, мучаетъ, и будто даже убиваетъ. Можетъ, все сіе и выдумки праздныя, языки чешутъ, все-жъ поразузнать не лишне мнѣ.

— Поразузнаю, Государыня.

— Исподволь только, тихомолкомъ, не то—пораздразнишь тамъ кой-кого. Покойная государыня, Елисаветъ, много имъ тамъ мирволила—не взлюбятъ, коль въ ихъ гнѣздо прямо заглянуть, загалдятъ. Царьки тоже.

Орловъ былъ точный и энергичный исполнитель всего, за что брался.

По пріѣздѣ въ Москву, между прочимъ, онъ началъ слѣдить и за Салтыковыми. Богатые и аристократическіе Салтыковы ни къ какимъ подозрѣніямъ повода не подавали, и князь оставилъ ихъ въ покоѣ, обративъ преимущественно вниманіе на одну только вдову Дарью Николаевну Салтыкову. По добытымъ имъ даннымъ, и Дарья Салтыкова вскорѣ оказалась особой почти безобидной, по крайней мѣрѣ объ ней отзывались такъ тѣ, которымъ князь поручилъ „это дѣло“. Тутъ князь нѣсколько недосмотрѣлъ. Салтычиха зорко слѣдила за событіями и сообразно съ ними сообразовала и свои поступки. Кромѣ того, рука ея и теперь была такъ же щедра на подарки, какъ и ранѣе. Она сыпала ими, не жалея, даже ужъ черезъ-чуръ.

Князю доложили:

— Все одни слухи: помѣщица для своихъ крѣпостныхъ добрая, хотя и строгая. Потачки не даетъ.

На самомъ дѣлѣ, на первый взглядъ, это и было такъ.

Крѣпостные крестьяне противъ Салтыковой, своей помѣщицы, ничего не имѣли, такъ-какъ она „мучительницей“ являлась только для однихъ дворовыхъ и преимущественно для однихъ только дворовыхъ дѣвокъ, которыя были и беззащитнѣе и безгласнѣе другихъ. Опять же: строгія расправы съ крѣпостными были тогда не въ рѣдкость, и Салтыкова, повидимому, только не была исключеніемъ изъ общаго ряда помѣщиковъ и помѣщицъ.

Князь Орловъ имѣлъ обыкновеніе не сразу довѣрять всему. Въ суетнѣ приготовленій къ коронаціи, онъ не бросилъ „дѣла“, но только отложилъ его до болѣе благопріятнаго времени.

— Ужъ эти мнѣ баре!... пригрозилъ онъ только кому-то.

Салтычиха, между тѣмъ, по обыкновенію, жила въ своемъ Троицкомъ, въ тяжеломъ одиночествѣ, болѣе, чѣмъ когда либо, злая, мрачная и недоступная. Про дѣтей она совсѣмъ забыла какъ будто ихъ для нея и не существовало. Забыла она и про любимаго когда-то инженера Тютчева, женившагося и проживавшаго теперь въ жениномъ имѣніи гдѣ-то на Окѣ.

Не забыла одного только Салтычиха—не забыла черной неблагодарности послѣдней любимицы своей, Галины.

Галины при ней уже не было. Галина пропала безъ вѣсти, и о ней не было, какъ говорится, ни слуху, ни духу, она словно въ воду канула. Побѣгъ ея изъ дому Салтычихи совершился послѣ той озлобленной борьбы, которую она, почти въ умопомѣшательствѣ, затѣяла съ барыней.

Увидавъ, что подъ ея руками Салтычиха хрипитъ и багровѣетъ, Галина вскочила и бросилась изъ комнаты вонъ. Салтычиха не въ силахъ была преслѣдовать ее.

— Барынѣ худо! худо барынѣ! кричала тогда Галина передъ всей сбѣжавшейся на ея крикъ дворней. Надо бѣжать за лекаремъ!

И дѣвушка, точно, захвативъ торопливо кой-что изъ цѣнныхъ вещей и съ десятокъ скопленныхъ золотыхъ, убѣжала—и ужъ болѣе не возвращалась.

Въ комнату барыни первая осмѣлилась заглянуть Агаша.

Салтычиха сидѣла уже въ креслѣ, страшно блѣдная, съ признаками пѣны у рта, но, повидимому, спокойная.

— Гдѣ Галька? спросила Салтычиха слабымъ голосомъ, какъ будто между ею и только-что убѣжавшею Галиною ничего не происходило.

Узнавъ, что Галина ушла и ушла будто за докторомъ, Салтычиха догадалась, что любимица ея сбѣжала. Въ тотъ же день она подала въ полицію заявленіе „о побѣгѣ дворовой дѣвки,“ мысленно обѣщая ей, когда отыщется, такія истязанія, о какихъ никому и въ голову не приходило. Салтычиха даже была увѣрена въ томъ, что Галина отыщется и принимала для того особенныя мѣры. Усердные полицейскіе розыски дѣлу не помогли. Бѣжавшая не отыскивалась, не напали даже на ея слѣдъ. Салты-

чиха злилась, скучала, вымещала свое озлобленіе на дворовыхъ, которые въ одиночку и всѣ вмѣстѣ не на шутку начинали подумывать о жалобѣ на барыню царствовавшему еще Петру III-му. Примкнулъ къ недовольнымъ даже кучеръ Акимъ, возвратившійся изъ Вологодской вотчины. Побѣгъ Галины не на шутку же взволновалъ и его. Онъ загрустилъ, затосковалъ, сталъ нерадивъ въ своихъ дѣлахъ, и потому его же собственная плеть не миновала и его же собственной спины. Акимъ озлился на Салтычиху, какъ и другіе дворовые. Остался вѣренъ ей одинъ нѣмой Анфимъ.

Время шло. Насталъ 1762-й годъ. Миновала суровая зима того года, прошла дождливая весна, приспѣло теплое, сухое лѣто.

Вступленіе на престолъ новой императрицы застало Салтычиху въ Троицкомъ. Она тотчасъ же получила объ этомъ извѣстіе изъ Петербурга отъ людей интересовавшихся ея громаднымъ по тому времени состояніемъ, съ предупрежденіемъ, чтобы она держала себя поосторожнѣе, такъ-какъ новые люди, окружившіе новую Императрицу, могутъ взглянуть „на все“ иначе, и то, что сходило съ рукъ при Елизаветѣ, не сойдетъ теперь, при Екатеринѣ. „Жадны ужъ очень, заgreбисты сіи новые охальники,“ сообщалось, между прочимъ, въ письмѣ, присланномъ съ вѣрнымъ, нарочнымъ человекомъ.

„Экъ, ихъ, стращаютъ! подумала Салтычиха. Баба по-бабьему и править будетъ. Бояться мнѣ нечего.“

Совѣтъ, однакожъ, былъ принять во вниманіе, и она поудержалась въ своихъ расправахъ. „Волчья погребница“ была уничтожена, скалка и рубель закинута въ сарай, поленья не ходили по спинамъ дворовыхъ дѣвокъ, и шестихвостая ременная плеть Акима замѣнилась обыкновеннымъ пучкомъ березовыхъ прутьевъ, пускавшихъ въ ходъ тоже съ осторожностью. Дворовые неудомѣвали и объяснили эту милость Салтычихи ея болѣзненностью. „Устала барыня хлестать, сама занемогла,“ рѣшили они, и пріободрились. Какъ разъ въ это время „вѣрные люди“ Григорія Орлова дѣлали негласное разслѣдованіе о дѣяніяхъ Салтычихи. Къ чему привело ихъ разслѣдованіе—извѣстно. Салтычиха оказалась обыкновенной доброй, но строгой помѣщицей, и повиди-

тому обстоятельства благопріятствовали ей и далека была отъ нея карающая десница закона.

Пустой случай далъ дѣлу совершенно иной оборотъ. Ранняя прогулка князя Орлова на своемъ Шаболовскомъ пустырьѣ повернула дѣло такъ, что надъ Салтычихой вдругъ нависла грозовая туча.

Но грозовая туча эта зародилась изъ княжеской, красивой улыбочки передъ красивой смугляночкой, передъ которой князь, не жалѣя своего дорогого халата на горностаевомъ мѣху и не боясь сырой травы, усѣлся съ „мѣщанской свободой.“

— Ну-съ, началъ князь, взявъ двумя красивыми пальцами въ дорогихъ перстняхъ, за подбородокъ смугляночку, — позвольте узнать: кто ты и откуда? и, не дожидаясь отвѣта, произнесъ: о, знаю откуда! вонъ, должно быть, изъ того домика, что виднѣется въ лощинкѣ. Да, я угадалъ?

Дѣвушка во всѣ глаза смотрѣла на князя и ничего не отвѣчала. Испугъ ея не прошелъ.

— Ты боишься? продолжалъ князь. О, ты меня не бойся — я человѣкъ хорошій, и зла тебѣ никакого не сдѣлаю. Мнѣ просто хорошо посидѣть съ тобой, вотъ тутъ, на травкѣ, подлѣ тебя и подлѣ вотъ этой морковки. Ну, говори же: откуда ты, кто?

— Я... я... я... бѣглая... проговорила, заикаясь, смуглянка, по-видимому, вовсе не соображая того, что сказала.

— Бѣглая? произнесъ все тѣмъ же ласковымъ тономъ князь. Это что-жъ такое—бѣглая?

— Такъ... бѣжала... отъ помѣщицы... досказала смуглянка, и перепугалась совершенно.

— Отъ какой? спросилъ графъ.

— Отъ... Салтычихи... Салтычиха... моя... помѣщица... отвѣчала совершенно машинально дѣвушка.

— Вотъ на! воскликнулъ вдругъ князь, и долженъ былъ тутъ же схватить дѣвушку за руку, потому-что та, мгновенно вскочивъ и разсыпавъ изъ фартука щавель, чуть было не пустилась отъ него бѣжать.

— Постой! постой! куда же ты? держалъ ее крѣпко князь. Бѣжать не надо.

Дѣвушка вдругъ залилась слезами, упала на колѣни и прильнула лицомъ къ ногѣ князя.

— Баринъ, баринъ! заговорила она сквозь слезы. Отпустите меня... отпустите... не то—барыня моя, Салтычиха, убьетъ меня непременно...

„Вотъ, на ловца-то и звѣрь бѣжитъ,“ подумалъ князь, и сталъ успокаивать расплакавшуюся дѣвушку.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

На „тюльпѣ.“

На „Тюльпы!“

Странно и непонятно звучить въ настоящее время это слово. Но сто, полтораста лѣтъ тому назадъ, оно такъ же было понятно теперь: „въ Сокольники,“ въ „Петровскій паркъ“ и т. п. для всякаго москвича, какъ понятно.

„Тюльпами“ въ Москвѣ, въ старину, назывались семиковыя гулянья и увеселенія, происходившія преимущественно на пространствахъ нынѣшней Трубной площади и нынѣшнихъ—Цвѣтного бульвара, Екатерининскаго парка, Лазаревскаго кладбища и Марьиной рощи. Все это пространство въ старину, почти до конца прошлаго столѣтія, по берегамъ рѣки Неглинки и Самотечнаго пруда, поростало старыми деревьями и представляло самое удобное мѣсто для народныхъ гуляній. Была, однакожъ, и другая причина, почему Семикъ справлялся москвичами именно здѣсь, а не въ другомъ мѣстѣ.

Изстари въ Москвѣ существовали, такъ-называемые, „скудельни,“ или „убогіе дома.“ Назначеніе этихъ убогихъ домовъ, заведенныхъ въ подражаніе іерусалимскому скудѣльничьему селу, состояло въ томъ, что въ нихъ хранили тѣла людей погибшихъ насильственной смертью и тѣла казненныхъ преступниковъ. Только разъ въ годъ отпѣвали несчастныхъ и, хоронили именно въ первый день Семика.

Въ Москвѣ было подобныхъ убогихъ домовъ нѣсколько.

Но самый древній и самый большой убогій домъ находился у церкви Іоанна Воина, „на старыхъ убогихъ домахъ,“ именуемой еще Воздвиженіемъ Честнаго Креста. Въ этотъ убогій домъ, какъ одинъ изъ главныхъ, ежегодно, въ Семикъ, ходилъ въ сопровожденіи архіерея крестный ходъ изъ Высоко-Петровскаго монастыря, и собирались тысячи набожныхъ людей совершить дѣло милосердія. Они покупали гробы и саваны, холсты и полотна, и отправлялись съ ними въ помянутый убогій домъ. Тамъ находился необыкновенно громаднѣйшій сарай-амбаръ съ глубокимъ ямникомъ, въ которомъ находилась и часовенка съ кружкою, а подлѣ самаго убогаго дома лѣпилось нѣсколько хибаренокъ, составлявшихъ нѣчто въ родѣ богадѣльни, въ которыхъ постоянно проживали юродивые и увѣчные нищіе. Они-то собственно и складывали въ амбаръ трупы и берегли ихъ. Разбирая навалку тѣлъ, обернутыхъ въ рогожи, одни отыскивали тамъ своихъ родныхъ, пропавшихъ безъ вѣсти, другіе знакомыхъ, и при этомъ часто происходили сцены, душу потрясающія. Добрые люди голыми руками собирали и прикладывали отгнившіе члены къ трупамъ и одѣвали ихъ въ саваны. Нѣкоторые труженики сами, затѣмъ, рыли для несчастныхъ погибшихъ могилы, засыпали ихъ землею, служили по нимъ панихиды, а послѣ тутъ же дѣлали поминки: пили, закусывали, и шли, затѣмъ, „на Тюльпу,“ гдѣ уже водили московскія дѣвицы хороводы, ходили съ березками, разукрашенными лентами, и гдѣ вообще совершался уже полный разгулъ любимаго праздника.

Семикъ 1762 года въ Москвѣ былъ такъ же разгуленъ, какъ и Семики прежнихъ лѣтъ. Было такъ же много народу на „Тюльпѣ,“ было такъ же много пьянства и буйства. Разодѣтыя дѣвушки такъ же носили березки, водили хороводы, пѣли семиковыя пѣсни.

Но въ этой многотысячной толпѣ, шумной и веселой, одна только дѣвушка не веселилась, не радовалась, а заливалась тихими, горючими слезами.

Дѣвушка эта была Галина, бѣжавшая, въ прошлую зиму отъ Салтычихи.

Бѣдную дѣвушку только-что потрясло до глубины души свиданіе съ тѣмъ, кого она любила и кто ей не далѣе какъ въ прош-

лую зиму былъ такъ дорогъ и желаненъ. Она только-что видѣла трупъ своего Сидорки, который вмѣстѣ съ другими трупами извлекли изъ амбара убогаго дома. Сидорка сравнительно съ другими сохранился довольно хорошо, и она тотчасъ же узнала его. Не успѣли рабочіе вытащить трупъ и положить въ общую груду на рогожки, какъ Галина съ крикомъ бросилась къ нему, и обхватила голову его руками. Для сторожей амбара это было вовсе не новостью — они видѣли и болѣе ужасныя сцены, и потому на дѣвушку никто не обращалъ вниманія. Но, когда всѣ трупы были вынесены и началась ихъ разборка, одинъ изъ сторожей, дряхлый, исхудалый старикъ, хромою и кривою, подошелъ къ ней покачалъ головой, и промолвилъ:

— Встань-ко-ся, дѣвонька, встань.

Галина встала, блѣдная, съ опухшими отъ слезъ глазами, и вопросительно остановила свой взглядъ на старикѣ.

— Сродственникъ? спросилъ тотъ.

— Нѣтъ... такъ... знакомой...

Старикъ помолчалъ, скучно и тускло посмотрѣлъ на дѣвушку, и сообщилъ ей:

— Убить былъ тутъ, недалеко, у Самотеки... Слышно: Салтычиха пристрѣлила...

Въ глазахъ у Галины помутилось, сердце сильно застучало, голова закружилась. Она тутъ же сразу грохнулась на землю, и когда очнулась, то возлѣ нее никого не было: не было не только живыхъ людей, но даже не было ни ея дорогого Сидорки, ни груды тѣхъ посинѣлыхъ и почернѣлыхъ труповъ, которые были вытащены изъ амбаровъ. Все уже было убрано и похоронено, гдѣ слѣдуетъ.

Она приподнялась, взяла себя за голову, потомъ медленно привстала. Прямо передъ ней вырисовалась, вся красная, Церковь Іоанна Воина. Рука дѣвушки невольно сотворила крестное знаменіе, а губы тихо прошептали:

— Сидорка... милый... вѣчная тебѣ память...

Со стороны пруда неся невообразимый шумъ, гамъ, пѣсни, музыка. Тутъ же вокругъ было тихо и пустынно. Съ полдюжины исхудалыхъ и ободранныхъ собакъ бродили невдалекѣ и зло посматривали на дѣвушку. Мрачно высилось зданіе кирпичнаго ам-

бара, длиннаго, безъ оконъ, и нѣсколько воронъ усѣлись на его досчатой крышѣ. Онѣ уныло, какъ будто перекликаясь, кричали, и тоже какъ будто творили свои поминки по тѣмъ, кто такъ долго лежалъ подъ этой крышей, ожидая погребенія...

Галина перекрестилась еще разъ, и, несоображая ничего, побрела на шумъ и гамъ разгульнаго Семика на „Тюльпѣ.“

Вороны и ее проводили своимъ унылымъ, хриплымъ крикомъ...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Надо судить!

Молодой человѣкъ, изъ военныхъ, въ голубой шинели на красной подкладкѣ, въ запыленной треуголкѣ то и дѣло торопился ѣхать, какъ можно скорѣе. Въ пути онъ былъ второй уже день, и былъ какъ разъ на полдорогѣ между Москвой и Петербургомъ.

Скакалъ молодой офицеръ въ Петербургъ, и, повидимому, съ очень важнымъ порученіемъ, потому-что подорожная его была подписана самимъ княземъ Григоріемъ Орловымъ. Имя Орловыхъ успѣло уже сдѣлаться именемъ очень громкимъ и страшнымъ, и потому повсюду, на дорогѣ, производило надлежащее дѣйствіе: смотрителя торопились и бѣгали, лошади давались прекрасныя, ямщики на передокъ повозки вскакивали удалые и, какъ говорится, „безшабашные.“ И все это дѣлалось для молодого офицера при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ. Въ виду скорого проѣзда Императрицы въ Москву на коронацію, дорога чинилась тысячами рукъ и сотни курьеровъ наводняли дорогу, поднимая и пыль, и крикъ, и такъ же торопя ямщиковъ ѣхать, какъ можно скорѣе, такъ-какъ они ѣдутъ по очень „важному дѣлу.“

Важныхъ дѣлъ въ то время было, дѣйствительно, множество, и дѣйствительно всѣ скакали, кричали и поднимали пыль на дорогѣ не ради удовольствія, а именно ради дѣла.

Скакалъ ради важнаго дѣла и нашъ молодой офицеръ.

По крайней мѣрѣ, посылая его въ Петербургъ къ Императрицѣ съ какими-то бумагами, князь Орловъ приказалъ поторопиться, замѣтивъ:

— Тебѣ только, Гаврюкѣ, и могъ довѣрить я сіе дѣло, никому больше. Думаю, ты не обманешь моего довѣрія, тѣмъ паче, что въ Питерѣ, можетъ, и сама Императрица не оставитъ тебя безъ вниманія. Попомни это.

Молодой офицеръ, по имени и фамиліи Гавріилъ Запасокъ, имѣвшій счастье быть какимъ-то отдаленнѣйшимъ родственникомъ Орловыхъ, отдалъ по военному честь князю — „оправдаю, молъ, довѣріе,“ и слушалъ далѣе, заранѣе уже радуясь въ душѣ княжеской командировкѣ.

Когда офицеръ Запасокъ прибылъ въ Петербургъ и пакетъ Орлова былъ переданъ Императрицѣ, то, хотя лично Императрица, по множеству дѣлъ, и не осчастливила офицера аудіенціей, но не забыла его, и приказала повысить чиномъ.

Молодой офицеръ, какъ родственникъ Орловыхъ, рассчитывавшій на большее, наградой остался недоволенъ.

Но еще болѣе осталась недовольна сама Императрица тѣмъ, о чемъ доносилось ей Орловымъ.

Весь тотъ день Императрица была не въ духѣ.

Никита Ивановичъ Панинъ, извѣстный воспитатель Павла Петровича и одинъ изъ главныхъ пособниковъ Екатерины, болѣе всѣхъ въ это время находившійся вблизи Императрицы и всюду ее сопровождавшій, никакъ не могъ постигнуть причины недовольства Императрицы, бывшей такъ недавно въ очень хорошемъ „авантажѣ.“

Въ подражаніе Императрицѣ, Панинъ тоже хмурился и все почему-то и весь день поглаживалъ правой рукой бортъ своего голубого съ блестками кафтана. Императрица замѣтила это.

— Ты бы, Никита Ивановичъ, отдохнулъ, сказала она Панину, когда тотъ, подъ вечеръ, являсь во дворецъ съ маленькимъ и худенькимъ Павломъ Петровичемъ, просилъ позволенія сказать ей что-то „надобное.“

— Отдохнуть успѣю, Государыня, произнесъ Панинъ тихо и слегка склоняясь грузнымъ своимъ корпусомъ къ выгибному письменному столу Императрицы, стоявшему у окна.

— Какъ знаешь! произнесла Императрица, понюхала табакъ, медленно и со вкусомъ, и какъ-то своеобразно насмѣшливо посмотрѣла на Панина.

Панинъ понурился.

— Совсѣмъ, совсѣмъ заскучалъ, Никита Ивановичъ, сказала съ шутливой участливостью Императрица.

Панинъ точно встрепенулся: поправилъ свои бѣлокурыя букли, разставилъ руки, и съ торжественнымъ, по придворному, поклономъ произнесъ:

— Ума не приложу... что съ тобой, мать-Государыня, случилось сегодня.

Императрица тихо разсмѣялась.

— А еще, Никита Ивановичъ, мои тайныя дѣла вѣдаешь!

— Тайныя дѣла монарховъ—Богу одному вѣдомы, не людямъ! отвѣтилъ Панинъ торжественно.

— Ты правъ, да права и я, проговорила Императрица вдумчиво, и понюхала еще разъ табакъ. День нынѣшній мнѣ незадачливъ что-то, продолжала она далѣе, стряхивая съ пальцевъ остатки табакъ. Суди самъ, Никита Ивановичъ, сегодня я получила отъ Григорья изъ Москвы такое извѣстіе, что любого лежебоку разшевелить.

Императрица пріостановилась. Панинъ превратился весь во вниманіе, насторожилъ свое придворное, дипломатическое ухо. „Дѣло не шутка, подумалъ онъ, ежели сама она говоритъ о немъ такъ.“

— Теряешься въ догадкахъ, Никита Ивановичъ, начала Государыня. Думаешь: что, молъ, такое? откуда? отчего, молъ, мнѣ невѣдомо? Правду я говорю?

— Правду, Государыня, подлинную правду! искренно воскликнулъ Панинъ.

— То-то вотъ мы — въ Питерѣ живемъ, ничего не знаемъ, а подлѣ Москвы и въ Москвѣ такія дѣла творятся, что кабы о нихъ попало хоть кой-что въ заграничныя вѣдомости, то покойной Императрицѣ, Елисаветѣ Петровнѣ, ой, какъ не поздоровилось бы!

На лицѣ Панина, нѣсколько вдругъ поблѣднѣвшемъ, изобразилось такое внимательное выраженіе, что Императрица обратила на это вниманіе.

— Да ты сядь, Никита Ивановичъ, потомъ слушай.

Панинъ сѣлъ, и во всѣ глаза сталъ смотрѣть на Императрицу, ожидая, что она скажетъ далѣе. Но тутъ одна изъ пары собачекъ Императрицы, лежавшихъ у ея ногъ на атласныхъ, стеганыхъ тюфячкахъ, завозилась, и тихо начала влзлаивать. За нею, встревоженно, послѣдовала и другая. Панинъ поморщился: видимо, неумѣстное влзлаиванье собачекъ было ему не по душѣ. Императрицѣ трудно было не замѣтить этого.

— Ахъ, Никита Иванычъ, прости! произнесла Государыня, подавая обѣимъ собачкамъ по бисквиту, которые тутъ же лежали на столѣ. Не вини ихъ—животинки онѣ неразумныя. Вини лучше тѣхъ, кои хотъ и родились людьми и обликъ человѣческій имѣютъ, а поступки совершаютъ хуже звѣрей дикихъ. Тѣхъ ты вини, Иванычъ, они стоятъ того.

Панинъ не понималъ на что собственно намекала Государыня, хотя и ясно видѣлъ, что Императрица сказала все это не съ проста. Онъ по прежнему смотрѣлъ на Государыню и ждалъ. Къ его удовольствію, собачки, съ бисквитами въ мордочкахъ, улеглись спокойно на свои тюфячки.

— Вотъ онѣ и успокоились, продолжала Императрица,—имъ и немного-то надо: бисквитикъ, и довольно. А человѣку—все мало, всего ему давай больше да больше. Ужъ человѣкъ, чего захочетъ, ему то хотъ съ неба сорви, и принеси. Онъ и отъ крови своего брата не откажется. Вотъ у меня, Никита Иванычъ, есть одна такая особа на примѣтѣ—кровь человѣческую любитъ. Суди самъ: въ Москвѣ живетъ на виду у всѣхъ, среди людей, а не звѣрей, такая барыня, которая въ десятокъ лѣтъ, изъ своихъ собственныхъ рукъ, замучила сто тридцать девять человѣкъ своихъ крестьянъ и дворовыхъ. Что, не звѣрь это, Никита Иванычъ? спросила затѣмъ Императрица, все время тоже не спускавшая глазъ съ Панина и точно ожидавшая, какое дѣйствіе произведетъ на него ея сообщеніе.

Панинъ даже привскочилъ.

— Государыня! воскликнулъ онъ,—ужель то правда?

Воскликаніе Никиты Ивановича звучало неподдѣльнымъ удивленіемъ, но это было только хорошее артистическое „дѣйство.“ Опытный дипломатъ тотчасъ же понялъ, о комъ шла рѣчь. Дѣянія московской Салтычихи были ему извѣстны давно, и онъ

давно уже зналъ даже не мало подробностей о ея дѣянiяхъ. Но онъ молчалъ, какъ молчали и многіе по поводу „этого дѣла.“ Не хотѣли беспокоить—какъ самое Императрицу Елизавету Петровну, такъ и сильныхъ при дворѣ Салтыковыхъ, бывшихъ всетаки родственниками „несуразной,“ какъ говорилось тогда, персоны.

— Удивило тебя это, Никита Ивановичъ? спросила Государыня, нюхая снова табакъ и успокоивая встревожившихся, по случаю порывистаго движенiя Панина, собачекъ.

— Истинно, неслыханное дѣло, Государыня! развелъ руками Панинъ. Сто тридцать девять человѣкъ!.. совсѣмъ, совсѣмъ неслыханное дѣло!

— А дѣло на лицо:—есть всѣ доказательства, сообщила Государыня.

— Всѣ? почти машинально спросилъ Панинъ.

— Всѣ, Николай Ивановичъ, всѣ! И удивительно мнѣ, какъ-то своеобразно перемѣнила тонъ Государыня,—какъ это вы тутъ, умники да разумники, про такія дѣла ничего-таки не слыхивали! Али васъ не занимало это? По стопамъ Эрнеста Карлыча шли, по стопамъ Бирона? Что, молъ, намъ Россія? провались она хоть совсѣмъ... было бы намъ хорошо!

Голосъ Императрицы крѣпчалъ и въ немъ слышалась затаенная горечь.

— Не про тебя говорю, Никита Ивановичъ, продолжала она,—говорю про другихъ. Ты былъ въ Даніи, въ Швеціи, ты блюлъ мнѣ Павлушу. Нѣтъ, другіе-то что, другіе! Али, можетъ, и сами тѣми-жъ дѣлами занимались, тожъ, что на собакъ, на крѣпостныхъ на своихъ глядѣли, да глядятъ еще и теперь! Такъ пусть это они позабудутъ. Жестокости, криводушіе и лихоимство—мнѣ совсѣмъ, сударь, не по душѣ! Гдѣ нѣтъ пахотника, тамъ не будетъ и бархотника! Пусть попомнятъ это!

Императрица замолчала, но на красивомъ лицѣ ея изображалось явное волненіе. Панину показалось даже, что на глазахъ Императрицы сверкнули двѣ-три слезинки. Добродушный отъ природы, человѣкъ хорошій, Панинъ и самъ разстроился и даже чуть не прослезился. Императрица замѣтила это. „Добры! поду-

мала она. Этотъ своихъ крѣпостныхъ тиранить не станетъ. Надо сказать ему все.“

Но подданный предупредилъ свою повелительницу.

Панинъ, этотъ добрый, мягкій, флегматичный генералъ-поручикъ и александровскій кавалеръ, котораго Екатерина нѣсколько стѣснялась, привставъ, медленно опустился передъ Императрицей на одно колѣно.

— Никита Иванычъ, что ты! удивленно произнесла Екатерина, взявъ Панина за лѣвую руку, которую онъ приложилъ къ своему сердцу.—Встань!

— Не встану, Государыня, доколѣ не выслушаешь меня! сказалъ Панинъ голосомъ, въ которомъ слышалась почтительная рѣшимость и то смѣлое достоинство, которое вырабатывается только у сильныхъ вельможъ при дворѣ сильныхъ властелиновъ.

Екатерина улыбнулась во все свое лицо и нѣсколько вспыхнула. Униженность Панина показалась ей отчасти странной: она не ожидала отъ него этого.

— Богъ мой! воскликнула она,—да стой, Никита Иванычъ, на колѣняхъ хоть до завтра, до прихода Перфильича: вѣдь ко мнѣ онъ приходитъ первымъ. То-то удивится такому пассажи! *)

Панинъ, какъ бы не разслышавъ шутливыхъ словъ Императрицы, началъ сдержаннымъ, но твердымъ голосомъ:

— Сему, Государыня, точно, надо положить конецъ!

— Чему это? словно не понявъ его, спросила Императрица.

— Произволу помѣщиковъ, Государыня! еще тверже сказалъ Панинъ.

Императрица молчала съ минуту, потомъ встала, и молча подняла съ колѣнъ Никиту Иваныча.

Панинъ тоже стоялъ молча и ждалъ отъ Императрицы слова. Слово это наконецъ и было произнесено Императрицей.

— Быть такъ, Никита Иванычъ! громко сказала она, сухо поведя вокругъ глазами.

Панинъ умиленно поникъ головой. А Императрица продолжала:

— Положу конецъ тиранству и научу тѣхъ, кого слѣдуетъ,

*) Перфильичъ—Елагинъ бывшій секретарь Императрицы.

знать и вѣдать, что и крѣпостные люди — тоже люди!... Пусть знаютъ, что кнутъ — не на потѣху гнуть: бей за дѣло да умѣло, а коль изъ кнута забаву дѣлають, то кнутъ-то обѣ двухъ концахъ: ино хорошъ по мужику, а ино хорошъ и по барину... Какъ думаешь, Никита Иванычъ, перемѣнила вдругъ тонъ Государыня, — что надобно сдѣлать съ этой-то, съ барыней-то, съ этой-то тиранкой своихъ людей крѣпостныхъ, съ этой-то съ Салтычихой, что-ль, какой-то? А?

— Надо судить, государыня! отвѣтилъ, точно выпалилъ, Никита Иванычъ, и даже вздохнулъ какъ-то сразу и коротко.

— Именно — судить надо, судить всенародно! продолжала медленно Императрица. Да будетъ всѣмъ знамо и вѣдомо, что царствованіе свое мы открываемъ правдой, и правда — будетъ наша первая мать и первая наша всенародная защитница!

Опершись одной рукой на столикъ, императрица, говоря это, своеобразно пріосанилась, выставивъ нѣсколько впередъ изъ-подъ платья ногу въ синей туфлѣ, и Панину показалось вдругъ, что Государыня передъ нимъ точно выросла и стала много величественнѣе прежняго.

— Нѣтъ словъ выразить о величїи повѣданнаго! только и могъ сказать Никита Иванычъ, поникая своей бѣлокурой головой въ букляхъ, и разводя руками.

Ночью, лежа въ постели, Никита Ивановичъ много раздумывалъ по поводу словъ Императрицы.

„Ужель, думалъ онъ, такъ-таки и рѣшится Государыня предать суду, всенародно, московскую помѣщицу? Не взбудоражить ли дворянство? не взволнуется ли? По началу оно бы и не слѣдовало — соблазнъ великъ...“

На этихъ мысляхъ опытный дипломатъ и заснулъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Княжеская цвѣточница.

Княжескій пустырь близъ Донскаго монастыря, куда забрела Галина за щавелемъ, принесъ бѣдной дѣвушкѣ положительное счастье.

Галина теперь, хорошо одѣтая, сытая и свободная, жила въ княжескомъ домѣ на правахъ выдуманной княземъ цвѣточницы.

Дѣвушка имѣла отдѣльную, очень хорошенькую, комнатку, чистую постель, зеркальце, нѣсколько паръ платья, и много другихъ мелочей, необходимыхъ дѣвушкѣ ея лѣтъ.

Обязанность дѣвушки состояла въ томъ, что она каждый день, по утрамъ и по вечерамъ, должна была приносить въ княжескіе покои по нѣсколько букетовъ цвѣтовъ, разставляя ихъ въ предназначенныя для того фарфоровыя вазы. При этомъ, одѣта она была въ платье изъ смѣси чего-то малороссійскаго съ турецкимъ, съ вѣнкомъ на головѣ, при распущенныхъ по плечамъ волосахъ. Смѣсь эта была такъ оригинальна и такъ шла къ хорошенькой фигуркѣ Галины, что даже самъ князь, умѣлый цѣнитель женской красоты, любовался ею и въ скоромъ времени заказалъ ея портретъ въ такомъ видѣ знаменитому тогда художнику Г. Портретъ этотъ долго потомъ находился во дворцѣ князя, составляя одно изъ лучшихъ его украшеній, и наконецъ, послѣ смерти князя, *) былъ подаренъ какому-то любителю въ Лондонъ, сдѣлавшему изъ нее гравюру, которая очень часто встрѣчалась въ половинѣ нынѣшняго столѣтія, да встрѣчается еще кое-гдѣ и теперь въ такъ-называемыхъ „забытыхъ усадьбахъ“. Княжеская цвѣточница изображена на ней въ своемъ оригинальномъ костюмѣ, съ букетомъ роскошныхъ цвѣтовъ въ рукахъ, съ вѣнкомъ на головѣ. Она граціозно стоитъ у вазы, и о чемъ-то будто приза-

*) Умеръ 13 апрѣля 1783 г. въ Москвѣ. Послѣ него въ Нескучномъ помѣстился графъ Алексѣй Григорьевичъ Орловъ, также удивлявшій москвичей своею оригинальностью и роскошью.

думалась. Такія нѣжныя сцены были въ очень большомъ ходу въ ту эпоху, и потому неудивительно, что картина производила поразительное впечатлѣніе на созерцателей.

Все это для недавно безпріютной дѣвушки было ново, непостижимо, и ей часто казалось все окружающее сказочнымъ. Подъ вліяніемъ новой, неслыханной жизни, все прежнее какъ-то само собою забывалось, уходило куда-то все далѣе и далѣе. Какъ во снѣ, припоминалась жизнь — и въ Троицкомъ лѣсу, съ отцемъ, и смерть отца, и жизнь на Лубянкѣ, въ Салтычихинскомъ домѣ, и Сидорка со своею къ ней любовью и со своею неожиданною смертью. Смутно даже припоминались ей ея бѣдствія послѣ побѣга изъ дома Салтычихи. Горько и тяжело было Галинѣ. Вмѣстѣ съ боязнью, что ее не нынче-завтра поймаютъ и отдадутъ въ руки Салтычихи, присоединилось еще и чисто матеріальное горе: женщина, старуха изъ жиждовокъ, у которой она случайно нашла пріютъ, обобрала ее до чиста, кормила и одѣвала ее очень плохо, однакожъ, рассчитывая извлечь изъ нея какую-то пользу, по-своему берегла ее и умѣла по-своему скрывать ее и отъ глазъ полиціи и отъ глазъ салтычихинскихъ приспѣшниковъ.

Проживая у жиждовки въ одномъ изъ глухихъ переулковъ близъ Калужской заставы, Галина и забрела на огороды Орловскаго дворца, и, какъ уже извѣстно читателю, нежданно-негаданно встрѣтилась съ самимъ княземъ.

Тутъ ужъ память не измѣняла дѣвушкѣ.

Она помнила всѣ подробности встрѣчи, и все то, что она рассказывала князю про Салтычиху. Она помнитъ хорошо, какъ князь, выслушавъ ее, быстро поднялся съ мѣста, красный въ лицѣ, со сверкающими глазами.

— Ты не врешь?! почти вскричалъ онъ тогда.

Галина заклалась и забожилась, что она рассказала сущую правду; и что другіе дворовые Салтычихи знаютъ про нее еще болѣе и еще болѣе могутъ рассказать.

Въ тотъ же день она была взята въ княжескій домъ, гдѣ ее отдали подъ надзоръ и никуда не выпускали. Она сильно перепугалась, и думала, что ее возвратятъ къ Салтычихѣ, и горько-плакала, и горько сѣтовала на то, что забрела на княжескіе огороды и, по своей глупости, рассказала самому князю очень многое

про Салтычиху. „Убьетъ она меня теперь, убьетъ непременно!“ роптала она, и все просилась къ князю. Къ князю ее наконецъ допустили. Узнавъ, въ чемъ ея горе и чего она боится, князь потрепалъ ее по заслезившейся щечкѣ, успокоилъ и приказалъ именоваться цвѣточницей.

Между тѣмъ, для той, кого такъ боялась Галина, для Салтычихи, наступилъ уже окончательный и безповоротный расчетъ за прошлыя дѣянiя.

Князь никакихъ дѣлъ, особенно порученныхъ ему Императрицею, въ долгiй ящикъ не откладывалъ.

Въ тотъ же самый день, въ который онъ узналъ отъ неизвѣстной ему дѣвушки всѣ подробности Салтычихинскихъ истязанiй надъ дворовыми, онъ приказалъ оберъ-полиціѣмейстерской канцеляріи нарядить надъ Салтычихой немедленное тайное слѣдствіе безъ проволочекъ и безъ отговорокъ, замѣтивъ при этомъ самому оберъ-полиціѣмейстеру:

— Чтобъ къ пріѣзду Государыни все было кончено.

Начальникъ тогдашней полиціи, генералъ Т., обѣщалъ постараться.

— Стараться мало, замѣтилъ князь. Надо сдѣлать.

Этого было достаточно, чтобы начальникъ полиціи кое-что сдѣлалъ. Пріѣздъ Императрицы на коронацію и ожидаемая по этому случаю милости, имѣли при этомъ для него не мало вдохновляющаго свойства.

Черезъ день, въ Троицкомъ, Салтычиха была арестована, при чемъ не обошлось безъ довольно-таки порядочнаго побоища. Одному изъ полицейскихъ проломили камнемъ голову и двое дворовыхъ Салтычихи, наши знакомые, Анфимъ и Качедыкъ, были, какъ говорилось въ слѣдственныхъ бумагахъ, „легко контужены.“

Салтычиха билась въ рукахъ полицейской команды, какъ тигрица. Она кусалась, царапалась, и когда была привезена въ Москву, въ оберъ-полиціѣмейстерскую канцелярію, то чуть не ударила самого генерала Т. въ лицо. Начальникъ полиціи счелъ нужнымъ сообщить объ этомъ князю Орлову, прося инструкцій.

— Птица невелика, сказалъ Орловъ, дочь сержанта—не болѣе. Свяжи веревками, а коль буянства не прекратитъ, то и въ колодки забей.

Салтычиху припрятали такъ, что она видѣла только клочекъ неба, четыре стѣны, и ничего болѣе. Она кричала, ругалась, проклинала всѣхъ и все, и наконецъ, должна была покориться своей участи.

Тайное слѣдствіе раскрыло ужасающія подробности. Онѣ были такъ кровавы, такъ неслыханны, что князь счелъ за необходимое немедленно донести о томъ Императрицѣ.

Вмѣстѣ съ говоромъ объ ожидаемомъ приѣздѣ Императрицы, пошелъ по Москвѣ говоръ и объ арестованіи Салтычихи.

— Попалась-таки! говорилось всюду, и въ домахъ, и въ гербергахъ, и на улицахъ.

Помѣщики и помѣщицы, изъ числа тѣхъ, которые привыкли обращаться со своими крѣпостными весьма „отечески“, были сильно поражены тѣмъ, что Салтычиха была арестована за такое „пустое дѣло“, какъ „отеческая“ расправа со своими крѣпостными людьми. „Отеческая“ расправа была для нихъ такъ нормальна и такъ обыкновенна.

— Новая метла мететъ, говорили они глухо и таинственно, боясь всетаки открыто порицать дѣйствія „новыхъ людей.“ Можетъ, и поистреплется до поры.

Метла, тѣмъ временемъ, дѣло свое дѣлала упорно и круто. Крѣпостные и дворовые Салтычихи были допрашиваемы ежедневно, и уже, не боясь, рассказывали все, что знали и видѣли. Показанія были на столько возмутимы и трагичны въ своихъ подробностяхъ, что сами слѣдователи, привыкшіе уже ко всему, приходили въ ужасъ. Это было нѣчто невѣроятное, неслыханное еще на Руси, и тѣмъ болѣе невѣроятное, что трудно было отыскать всему этому причину. Никому не вѣрилось, чтобы Салтычиха только изъ-за нечисто вымытыхъ половъ и изъ-за плохо выстираннаго бѣлья такъ ужасно тиранила бѣдныхъ дѣвушекъ. Выплыло наружу и дѣло съ инженеромъ Тютчевымъ. Узнано было и объ убійствѣ Салтычихой двороваго Сидорки Лихарева. Неминовали допроса, а затѣмъ и полного привлеченія къ дѣлу и оба священника — Троицкій и Московскій, отецъ Варѣоломей, тотъ самый добрый старикъ, который изъ боязни передъ Салтычихой хоронилъ завѣдомо замученныхъ ею людей. Слѣдствіе производилось предварительно, необычайно „въ тайности“, что,

однакожъ, нисколько не мѣшало почти всей Москвѣ знать многія подробности дѣла. Судили о немъ и вкривъ, и вкосъ, а многіе боялись даже чего-то. Никто, однакожъ, не зналъ откуда сырѣборъ загорѣлся, и многіе изъ знатныхъ москвичей, особенно родовитые Салтыковы, фамилія которыхъ такъ неожиданно явилась опозоренной, не могли нигдѣ и никакъ доискаться причины начала дѣла. Салтыковы очень хорошо знали, что одного доноса или жалобы дворовыхъ, было совсѣмъ недостаточно для того, чтобы Дарью Салтыкову арестовали и такъ строго и круто начали слѣдствіе. Имъ и въ голову не приходило, что виновницей ихъ опозоренія была простая дѣвушка, а затѣмъ уже и самъ всемогущій Григорій Орловъ. Среди всей этой поднявшейся кутерьмы, Салтыковы вздумали было позамять дѣло тѣмъ, чѣмъ обыкновенно заминали въ ту эпоху всякія дѣла, но и тутъ они наткнулись, не взирая почти на баснословную щедрость, на такія преграды, которыя ихъ просто ошарашили.

Одному изъ Салтыковыхъ, болѣе настойчивому, генераль Т. только и могъ отвѣтить:

— Не тѣмъ пахнетъ, государь мой.

— А чѣмъ же? спросилъ тотъ.

— Пахнетъ правдой божеской.

Такія слова изъ устъ начальника тогдашней полиціи показались настойчивому ходатаю просто какимъ-то „полицейскимъ фарсомъ.“

— Удивлены? спросилъ генераль Т., увидавъ въ самомъ дѣлѣ необыкновенно удивленное лицо ходатая.

— Пораженъ.

— Будете, государь мой, поражены еще болѣе.

— Чѣмъ? какъ?

— Увидите.

— Сообщите. Прошу.

— Вашу, эту Дарью какую-то, безпремѣнно осудятъ и... казнятъ. Много очень доказательствъ.

Ходатай привскочилъ.

— Да пусть казнятъ — туда ей и дорога! Только зачѣмъ же позорить насъ-то всѣхъ, Салтыковыхъ.

— А вамъ что за позоръ! замѣтилъ генераль Т. Вѣдь она роду не вашего. Дочь сержанта тамъ какого-то.

— Все-жъ наша фамилія на виду, все-жъ нашу фамилію всякой подлой подъячишко произносить!

Генераль нахмурился.

У Царицы-Государыни всѣ равны, произнесъ онъ холодно, тѣмъ паче тѣ, кто служитъ ей. Подлыми вѣрноподданныхъ своихъ она не называетъ. Тѣ только подлы передъ ней и передъ закономъ, кто подло поступаетъ.

Ходатай понялъ намекъ, смягчился, и въ концѣ концовъ добился того, что генераль Т., подъ большимъ секретомъ, посоветывалъ ему обратиться къ князю Орлову.

— Онъ теперь въ силѣ... онъ можетъ... сказалъ генераль на прощанье.

Ходатай поскакалъ къ князю. Князь принялъ его немедленно и весьма любезно.

— Въ чемъ дѣло? спросилъ онъ.

Салтыковъ объяснилъ причину своего пріѣзда, сказавъ между прочимъ:

— Какъ видите, князь, нашу фамилію позорятъ, топчутъ въ грязь!

— А откуда ваша фамилія? спросилъ, улыбаясь лукаво, князь.

— Наша фамилія?!

Салтыковъ запнулся.

— Ну, да — фамилія? переспросилъ князь.

— Родъ нашъ извѣстенъ... мы были еще отличены при Императорѣ Петрѣ... затѣмъ, блаженной памяти Императрица Елисаветъ Петровна...

Князь перебилъ:

— Слыхивалъ, слыхивалъ! Родъ вашъ, точно, извѣстенъ, какъ и мой. Дѣды наши, никакъ, въ стрѣльцахъ служили, чернослободцами именовались, кафтаны мочалой чинили, батогами закусывали...

Ходатай вытаращилъ глаза. Онъ князя не понималъ. Какъ такъ — ему, князю, богачу, любимицу Императрицы — и открыто сознаваться, что онъ не болѣе, какъ внукъ какого-то стрѣльца временъ Софьи Алексѣевны!

— Князь! только и могъ произнести онъ удивленно.

— Что я князь — это точно. А кто ваша Салтычиха... чортъ ужъ знаетъ что такое—это еще точнѣе!

— Но вѣдь она вошла въ нашъ родъ, она сдѣлалась намъ близкою, родной, старался объяснить ходатай. У нея есть дѣти — законныя дѣти Глѣба Алексѣевича Салтыкова.

Князь прищурилъ глаза, что онъ имѣлъ обыкновеніе дѣлать всегда, когда хотѣлъ сказать что-нибудь неожиданное, или циничное.

— Вѣрю вамъ, сударь мой, господинъ мой Салтыковъ, весьма много вѣрю! началъ Орловъ. Только и вы ужъ, государь мой, повѣрьте мнѣ немножко. У меня, сударь мой, есть хорошія конюшни — не Авгіевы, нѣтъ, — хорошія-таки конюшни. Можете полюбоваться. Такъ вотъ,—какъ тому и быть надо,—въ хорошихъ конюшняхъ у меня и хорошія лошади. Лошади по конюшнѣ, стало быть, и конюшни по лошадямъ. Ну, вотъ! А не неугодно ли, вотъ, вамъ, государь мой, въ мою хорошую конюшню да поставить плохую мужицкую кобылу: что изъ того выйдетъ, сударь? кто украсить кого: конюшня ли кобылу, или кобыла конюшню? Здраво судя: конюшня останется конюшней, а кобыла кобылой. Не такъ-ли, сударь?

— Истину изволили сказать, князь! согласился ходатай, очень хорошо понявъ иносказаніе Орлова.

— А коль сіе истина, такъ она истиной и останется, и кривизну въ нее вносить какъ-будто и не слѣдъ.

— Но какъ же съ ней поступать, князь?

— Дѣло суда.

— Казнять?

— Пожалуй, и стоило бы. Только бы я до того, какъ отрубить ей ея дурацкую голову, почаще бы не забывалъ и ея спину: разокъ бы этакъ въ Троицкомъ, разокъ бы этакъ на Лубянской площадкѣ. Припомнила бы тогда, что и у другихъ людей на спинѣ шкура не барабанная, а настоящая, человѣческая шкура.

Ходатай ушелъ отъ Орлова, какъ говорится — не солоно хлебаль, думая про себя:

„И откуда этакое человѣколюбіе? Въ самомъ дѣлѣ, не запахло ли чѣмъ-либо новымъ, чѣмъ-либо такимъ, отчего намъ не поздоровится? Ужъ не прошли ли разъ навсегда времена Императрицъ

Анны и Елисаветы, а новая Императрица не набралась ли духу съ запада?«

На семейномъ совѣтѣ, всѣ Салтыковы дружно и настойчиво рѣшили „дѣла“ втунѣ не оставлять и, по крайней мѣрѣ, добиться того, чтобы „дѣло“ тянулось какъ можно долѣе. Можетъ быть, все и позамнется, и позабудется, и съ теченіемъ времени потеряетъ свой острый характеръ. Денегъ, рѣшено было, на дѣло не жалѣть и добиваться своего всѣми позволенными и непозволенными путями. Послѣдствія доказали, что Салтыковы отчасти своего добились. Но не добились они только полного уничтоженія дѣла. Слишкомъ ужъ много крови было пролито для того, чтобы можно было замять такое неслыханное и почти невѣроятное по своимъ кровавымъ подробностямъ дѣло...

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

„З а б о т л и в а я м а т у ш к а.“

Въ началѣ сентября 1762 года все тогдашнее населеніе Москвы было въ необыкновенномъ волненіи. Въ Москву со всѣмъ своимъ дворомъ, съ небывалой дотолѣ торжественностью, пріѣхала новая Императрица. Столица готовилась къ коронаціи. Все оживилось, заговорило, приняло праздничный видъ. На Красной площади устраивали столы для народа. Въ самомъ Кремлѣ, который тогда былъ еще просторенъ, воздвигали вышки, крыльца, помосты и затѣйливые транспорты. Сама Императрица, ожакожь, показывалась народу рѣдко, но за то, если куда выѣзжала, то съ чисто царской роскошью: впереди, предъ каретою ея, ѣхалъ обыкновенно взводъ лейбъ-гусаръ въ блистающихъ мундирахъ, сзади сопровождалъ ея подобный же отрядъ гвардіи. Если выѣздъ ея случался поздно вечеромъ, то путь ея освѣщался факелами. Появленіе ея на какой бы то ни было улицѣ всегда производило восторженное волненіе въ народѣ. Всѣхъ поражала эта небывалая пышность, это небывалое явленіе. 27 сентября коронованіе благополучно и блистательно совершилось, и—по совершеніи ея—тотчасъ же начался рядъ торжествъ и празднествъ. Осень тогда стояла прекрасная. Тутъ ужъ Императрица начала показываться среди народа ежедневно, и любовалась его забавами, въ сопровожденіи всего состава придворныхъ. Въ это время она во всякое время ѣздила въ раззолоченной каретѣ, запряженной восемью красивыми и статными неаполитанскими лошадьми съ цвѣтными кокардами на головахъ. Одѣта она была въ ало-бархатное русское платье, унизанное крупнымъ жемчугомъ, со звѣздами на груди и въ брилліантовой діадемѣ на головѣ, почему тогдашніе витіи и называли ее „богиня подъ вѣнцомъ.“ По бокамъ кареты Императрицы ѣхали, обыкновенно, генераль-поручики, а конвоировали герольды съ жезлами въ рукахъ, бросая народу серебряные монеты. Въ это же время Государыня совершала и далекія поѣздки: въ Покровское, Семеновское, Преображенское—настоящія

тогда села, гдѣ для Государыни тамошнія дѣвушки, въ праздничныхъ сарафанахъ, съ открытыми головами, въ цвѣтныхъ косникахъ, а молодицы въ шелковыхъ шубкахъ, въ кикахъ съ дробницами, съ веселыми пѣснями водили хороводы. Затѣмъ Государыня любила посѣщать Сокольничье поле. Тамъ увеселяли ее настоящіе цыгане: пѣли, плясали, показывали ручныхъ медвѣдей. Въ заключеніе коронаціонныхъ пировъ и торжествъ, данъ былъ противъ Кремля, къ Замоскворѣчью, блистательный по тогдашнему времени фейерверкъ, въ которомъ первое мѣсто занимала аллегорія, изображавшая Россію съ ея побѣдами и съ ея славой. Для народа это было совсѣмъ невиданное зрѣлище.

Государыня прожила въ Москвѣ всю зиму, и во все это время рядъ придворныхъ пиршествъ почти не прекращался, но—замѣчательно—не прекращалась при этомъ и ея настойчивая дѣятельность по дѣламъ государства. Дѣятельность эта была чрезмѣрна, почти непосильна: указы шли за указами, распоряженія за распоряженіями, и все это дышало силой, энергіей, предусмотрительностью, и отъ всего этого вѣяло чѣмъ-то совершенно новымъ. Понялъ это даже и простой народъ, мало тогда чѣмъ интересовавшійся, и далъ новой Государынѣ прозвище „заботливой матушки.“ Прозвище это очень польстило Государынѣ, когда она услышала о немъ.

— Спасибо имъ, добрымъ людямъ, что поняли меня, бѣдную вдову! сказала она на это.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Всякому дѣлу свой конецъ.

Масса дѣлъ, чисто государственныхъ, неотложныхъ, нисколько, однакожъ, не мѣшала Государынѣ интересоваться особенно и дѣломъ Салтычихи.

Ровно черезъ восемь дней послѣ коронаціи, 1-го октября 1762 года, послѣдовалъ уже ея указъ о назначеніи открытаго слѣдствія надъ Салтычихой. Дѣло, такимъ образомъ, приняло уже офиціальнѣйшій характеръ, почему и начались офиціальныя же допросы и обыски. Были даже для этой цѣли назначены особые чиновники: инспекторъ (названіе тогдашнихъ частныхъ приставовъ) Волковъ и князь Дмитрій Циціановъ. Слѣдователямъ внушено было, что дѣло это серьезно, что имъ лично заинтересована Государыня, и что поэтому они должны заняться имъ „безъ проволочно.“ Слѣдователи за дѣло принялись горячо, и въ самое короткое время добыли много данныхъ, говорящихъ и въ пользу и не въ пользу Салтычихи. При повальныхъ обыскахъ, дѣланныхъ въ Москвѣ Волковымъ, а въ окрестностяхъ Троицкаго княземъ Циціановымъ, Салтыкова одобрена. Потомъ эти же слѣдователи представили нѣсколько показаній стороннихъ свидѣтелей о жестокостяхъ Салтыковой, но всѣ эти показанія основывались на слухахъ отъ людей Салтыковой же. Но сама Салтычиха рѣшительно ни въ чемъ не признавалась, утверждая, что всѣ эти доносы сдѣланы на нее изъ злобы, и что люди ея умирали естественною смертію отъ болѣзней, или бѣжали. Для приведенія Салтыковой къ сознанію и раскаянію, былъ призванъ даже духовникъ. Но когда онъ донесъ, что не видитъ въ Салтыковой ни сознанія, ни раскаянія, то объ упорствѣ Салтыковой доложено было Императрицѣ. Императрицу это не мало удивило.

— Какъ поступить, Григорьичъ? спросила она у Орлова, будучи у князя въ тотъ же день, по-семейному, на Шабаловкѣ.

— По старой методѣ, Государыня.

— Какой такой?

— Пытать.

— Вотъ и слѣдователи у меня просятъ того же, сказала Государыня. Только я не того желанія. Кнутомъ да дыбой и отъ самихъ, поди, слѣдователей можно бы узнать такое, чего имъ никогда и во снѣ не снилось. Не того я хочу, и не того мнѣ надо, Григорьичъ. Нѣтъ.

— Твой умъ, Государыня,—твое дѣло, отвѣчалъ уклончиво Орловъ, недовольный собою за маленькую оплошность.

— Ума и тебѣ, Григорьичъ, не занимать стать. Да тутъ не въ умѣ дѣло—въ прозорливости. А ну—баба и въ самомъ дѣлѣ ни въ чемъ не повинна, а ну—мы бабу обидимъ ни за что, ни про что.

— Не можетъ того быть, Государыня! отвѣчалъ увѣренно Орловъ.

— Почему такъ?

— Самолично я обо всемъ разузнавалъ, Государыня, началъ твердымъ голосомъ и съ той же увѣренностью Орловъ.—Самолично видѣлъ ея „погребницу“ въ Троицкомъ, кольца въ ней, костыли и всякія другія приспособленія для мукъ. Самолично потомъ, подъ видомъ ямщика, съ „дѣвочкой этой“ слышалъ многое такое, о чемъ и говорить-то зазорно. Самолично потомъ разузнавалъ о ней и тутъ, въ Москвѣ, на Лубянкѣ,—и самолично убѣдился, Государыня, что она, Салтычиха эта, злая-презлая мучительница и душегубица, и что она достойна примѣрной казни.

Императрица слушала Орлова внимательно. Потомъ, на мгновение закрывъ лицо рукою, приказала:

— Покажи мнѣ „эту дѣвочку.“ Самъ уйди.

Черезъ минуту передъ императрицей стояла испуганная Галина. Императрица нѣсколько мгновений не спускала съ дѣвушки глазъ. Потомъ, рѣшивъ „такая не солжетъ“, успокоила дѣвушку, и приказала ей рассказать, не боясь, все, что она видѣла и все, что она слышала про Салтычиху.

Галина начала рассказывать, что видѣла и что знала, и что она давно уже рассказывала князю Орлову. Рассказъ былъ путанъ, страненъ, языкъ плохо повиновался дѣвушкѣ. Галина приплела къ разсказу и смерть своего отца, и какъ его похоронили, и то, какъ Салтычиха засадила въ погребницу Тютчева, и какъ

Тютчевъ спасся, и какъ Салтычиха ловила Тютчева, какъ потомъ хотѣла поджечь домъ его невѣсты, и какъ убила Сидорку. Не забыла упомянуть и объ исполнителяхъ приказаній Салтычихи: кучеръ Акимъ и дворникъ Анфимъ. Повѣдала и о томъ, какъ Салтычиха убила ударомъ ноги Фиву, и какъ она сама, Галина, сдѣлалась затѣмъ любимицей Салтычихи, нагрубила ей и сбѣжала отъ нее. Все это было передано Галиной несвязно, торопливо, съ горячешной боязнью, но Императрица понимала въ чемъ дѣло, и только ободряла дѣвушку:

— Не бойся, милая, не бойся. Говори смѣло.

Подъ конецъ, Галина стала и точно посмѣлѣе. Ласковый голосъ Императрицы и ласковый взглядъ ея, доступность ея, и ея простота, очаровали бѣдную дѣвушку, и она долго потомъ, во всю свою долгую жизнь, не могла забыть ни этого ласковаго голоса, ни этого ласковаго взгляда, особенно же не могла забыть того, что Императрица, на прощаньи, допустила ее къ рукѣ, потрепала ее по смугленькой щечкѣ, и проговорила съ улыбкой:

— Будь умницей. Я тебя попомню.

Когда къ Императрицѣ снова вошелъ Орловъ, то она его встрѣтила слѣдующими словами.

— Ты правъ, Григорьичъ: эта Салтычиха и точно—мучительница и душегубица, и достойна позорной казни. Думается мнѣ, добавила она далѣе, что ей не слѣдовало бы именоваться и женщиной: она не достойна сего названія. Только звѣроподобный мужчина способенъ на такое безтолковое душегубство.

Затѣмъ, Императрица рѣшила, что, пожалуй бы, для такой персоны и пытка была бы не излишней, только она этого не желаетъ.

— Какъ же поступить, Государыня? спросилъ Орловъ.

— А надо, Григорьичъ,—ты такъ и распорядись,—только увѣрить этого изверга, эту Салтычиху, что она непременно подвергнется пыткѣ, ежели не признается добровольно въ своихъ преступленіяхъ.

Такъ и было поступлено. Чтобъ показать подсудимой на дѣлѣ всю жестокость розыска, приказано было надъ кѣмъ-либо изъ преступниковъ, къ тому осужденныхъ, произвести пытку въ присутствіи Салтыковой. Черезъ нѣсколько дней это было исполнено. Но Салтыкова осталась при своихъ показаніяхъ.

Доложили объ этомъ Императрицѣ.

— Понимаю въ чемъ дѣло, сказала Императрица. Она надѣется на продолжительность слѣдствія: авось, молъ, тогда и смилуются. Только тому не быть. Пусть дѣло, благодаря золоту да связямъ, длится хоть нѣсколько лѣтъ, а все-жъ не поущу такого мучительства и душегубства среди своихъ подданныхъ. Всякому дѣлу свой конецъ.

Императрица не ошиблась. Дѣло Салтыковой длилось долго, весьма долго: оно длилось ровно шесть лѣтъ, придя къ своему окончанію только 2-го октября 1768 года.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

„Уродъ рода человѣческаго.“

Всѣ шесть лѣтъ, въ которые длилось дѣло Салтычихи, сама Салтычиха находилась на свободѣ, но подъ строгимъ полицейскимъ и судебнымъ надзоромъ.

Она проживала въ своемъ домѣ, на Лубянкѣ, и при ней имѣлось не болѣе пяти человѣкъ домашней прислуги, взятой для этого случая изъ дальнихъ ея деревень, и никакихъ дѣлъ по своимъ имѣніямъ она уже не вѣдала: всѣ ея имѣнія и доходныя статьи были отданы подъ строжайшую опеку, и она получала изъ доходовъ съ имѣній столько, сколько необходимо было на безбѣдное ея существованіе.

Тише воды, ниже травы, какъ говорится, стала когда-то буйная и грозная барыня. Почти не говорила она ни съ кѣмъ, запиралась, и по цѣлымъ днямъ сидѣла въ одиночествѣ, гадая на картахъ, или читая книги мистическаго содержанія, въ которыхъ она хотѣла почерпнуть разгадку своей будущности.

А будущность интересовала ее очень и очень сильно.

Чуяла она, озлобленная и мрачная, что дѣло ея по-просту не кончится, что придется посчитаться за прошлыя свои дѣянія, но какъ и чѣмъ—она угадать не могла.

CERCLE RUSSIE

VILLE DE MONTAUBAN

Подавались Салтычихой просьбы даже самой императрицѣ. Но въ этихъ просьбахъ закоренѣлая злодѣйка не признавалась ни въ чемъ, все старалась обѣлить себя, и поэтому просьбы оставались безъ всякаго вниманія.

Не дремали и ея родственники. Были подкупы, обѣщанія. Несколько человѣкъ изъ свидѣтелей какъ-то несвоевременно умерли, иные пропали безъ вѣсти. Умеръ и священникъ, отецъ Вареооломей. Дѣло запутывалось, принимало необъяснимый и загадочный характеръ. Многіе свидѣтели показывали уже не то, что показывали прежде. Дѣло, наконецъ, на третій годъ его производства, стало такимъ темнымъ, что слѣдователи рѣшили предать его забвенію, чего чуть и не совершилось. Уже былъ составленъ въ такомъ смыслѣ и докладъ на имя самой Императрицы.

Императрица самолично прочла докладъ, и сдѣлала на поляхъ его замѣчаніе: „дѣло продолжать.“

Между прочимъ, на одномъ придворномъ „куртагѣ,“ увидавъ какъ-то Николая Ивановича Салтыкова, родного племянника покойнаго мужа Салтычихи Глѣба Алексѣевича, Государыня, какъ бы забывъ, въ какомъ родствѣ Николай Салтыковъ находился съ Салтычихой, спросила его:

— Николай Иванычъ, тебѣ не родня московская лиходѣйка — какъ ее, Салтыкова, тамъ, что-ль, Дарья Николаевна?

— Къ прискорбію, Государыня, родня, отвѣчалъ, нисколько не смутясь, Салтыковъ.

— А! а! произнесла Государыня. А я и позабыла: и точно, что родня, даже, помнится, и дѣти ея у тебя на воспитаніи... Что-жъ, запомнить не мудрено: ихъ тамъ столько, въ Москвѣ-то, Салтыковыхъ этихъ, что и неразберешься, кто кому родня. А все въ дружбѣ живутъ, другъ другу поддерживаютъ, такъ-что ужъ и мнѣ, бѣдной вдовѣ, спокою не даютъ. Поуйми ихъ тамъ малость, Николай Иванычъ.

Намекъ былъ слишкомъ ясенъ: Николай Салтыковъ понялъ его. Ему предлагалось обуздать излишнее усердіе Салтыковыхъ въ дѣлѣ Дарьи Николаевны.

— Государынѣ моей всегда служу усердно и служить буду, коль на то милость ея высокая, отвѣтилъ Салтыковъ Государынѣ то-

номъ человѣка, который дѣйствительно служить готовъ въ томъ ни для кого не можетъ быть сомнѣнія.

— Погляжу, было послѣднее, короткое слово Государыни.

Короткое слово это было брошено не на вѣтеръ. Умный, разсудительный, вездѣ и всюду находчивый и быстро подвигавшійся на служебномъ поприщѣ, Николай Салтыковъ, еще при самомъ началѣ дѣла, совѣтывалъ другимъ родственникамъ Салтычихи не особенно-то рьяно защищать ее, такъ-какъ ему очень хорошо вѣдомо, что и какъ творила Салтычиха и какъ своевольничала со своими дворовыми. Совѣтъ его не былъ принятъ во вниманіе, и онъ успокоился на томъ, „что палка найдетъ виноватаго.“ Палка, однакожъ, искала виноватаго плохо, и такъ плохо, что Салтыковъ наконецъ дождался того, что сама императрица напомнила ему о неумѣстности заступничества его родственниковъ за Салтычиху. Николай Ивановичъ немедленно отправился въ Москву, и строго внушилъ, кому слѣдуетъ, чтобы Салтычиху оставили, какъ злодѣйку, ея собственной участи, такъ-какъ хлопоты о ней отзовутся на нихъ всѣхъ „весьма неблаговидно.“ Родственники послушались, и дѣло вдругъ какъ-то сразу подвинулось впередъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ-то въ разъ въ одну недѣлю, занемогли и умерли два главныхъ слѣдователя, Волковъ и Циціановъ. Назначены были новыя лица, но ужъ изъ Петербурга, по указанію самой Императрицы, которая, узнавъ о смерти слѣдователей, только замѣтила русской пословицей:

— Возьми на калачи, да дѣломъ не волочи. Богъ имъ судья.

Дѣло приняло новый оборотъ. Новые слѣдователи начали все сначала и съ „неукоснительнымъ“ усердіемъ, позаботившись въ особенности, чтобы героиня дѣла не имѣла ни съ кѣмъ ни малѣйшихъ сношеній. Салтычиху положительно заперли въ четырехъ стѣнахъ и приставили двухъ полицейскихъ поручиковъ, тоже присланныхъ изъ Петербурга.

Салтычиха пріуныла, осунулась, потеряла прежнюю „силу духа“ и прежнюю „силу воли.“ Между тѣмъ, благодаря усердію новыхъ слѣдователей, открывались и новыя подробности ея жестокостей. Открылось, что она дворовыхъ морила голодомъ, брила головы и заставляла работать въ колодкахъ, а зимою заставляла многихъ стоять на морозѣ босыхъ и въ однихъ руба-

хахъ. 14-го декабря 1757 г., Салтычиха, жестоко наказавъ розгами дѣвку Аграфену, забила ее потомъ, въ виду всѣхъ дворовыхъ, собственноручно костьюлемъ. Дворовые по этому поводу подали въ Московскій сыскной приказъ жалобу. Жалоба была оставлена безъ послѣдствій, какъ принятая за „извѣтъ“ и сами жалобщики, въ числѣ пяти человѣкъ, были наказаны кнутомъ и сосланы въ Сибирь. Черезъ годъ, 25-го мая 1758 года, была подана въ тотъ же сыскной приказъ новая челобитная, въ которой говорилось, что Салтычиха собственноручно убила въ теченіе года шесть дѣвокъ: Арину, Аксинью, Анну, Акулину, и двухъ Аграфенъ. Всѣ шесть несчастныхъ дѣвокъ забиты костьюлемъ, рубелемъ и розгами. Доносителей было двое: пастухъ Филиппъ, отецъ одной изъ погибшихъ и мужикъ Никита, родной братъ двухъ изъ дѣвушекъ. Доносителей выдали головой Салтычихѣ, и она—посадила ихъ сперва на цѣпь въ погребицѣ, потомъ засѣкла. Въ томъ же году, въ октябрѣ и ноябрѣ, была задушена ею дѣвушка Марья, утопленъ въ сажалкѣ молодой племянникъ гайдука Хрисанфа, засѣчена лозой дворовая женка Анна Григорьева и скалкою убита жена двороваго Ермолая Ильина. Обозленный Ермолай Ильинъ подалъ жалобу—одинъ, отъ своего лица, съ перечисленіемъ всего того, что творила Салтычиха. И его жалоба, какъ и жалобы прежнихъ дворовыхъ, была признана „извѣтомъ.“ Ильинъ, по наказаніи его кнутомъ, былъ возвращенъ Салтычихѣ, и вскорѣ отчего-то умеръ. Послѣ жалобы Ильина, „извѣты“ прекратились, и Салтычиха всякому наказуемому говорила: — Ты хоть на меня въ доносъ пойдешь, ничего не выиграешь, кромѣ развѣ кнута и ссылки, коимъ подверглись и прежніе доносчики. У новыхъ слѣдователей дѣло тянулось тоже три года, и наконецъ, ко 2-му октября 1768 года, было окончено и представлено Императрицѣ. Императрица тщательно, нѣсколько дней подрядъ, не взирая на массу заботъ по случаю готовившейся войны съ Турціей, объявленной манифестомъ черезъ мѣсяць, разсмотрѣла дѣло, и собственноручно сдѣлала на немъ помѣтку: „Виновность доказана.“ И потомъ: „Сей уродъ рода человѣческаго передъ многими другими убій-

цами въ свѣтѣ имѣеть душу совершенно богоотступную и крайне мучительскую.“

Сенату, затѣмъ, было повелѣно составить и отпечатать указъ по дѣлу Салтычихи, „чтобъ оный былъ многимъ въ назиданіе.“

Какъ преступница, преступленіе которой доказано, Салтычиха была уже теперь арестована разъ навсегда, и закована въ желѣза. Аресту она поддалась непрекословно: молчала, сопѣла и сверкала глазами. Но когда на ея ноги кузнецъ началъ набивать желѣзомъ обитыя колодки, она, оглянувшись на стѣны той комнаты, гдѣ столько лѣтъ была непрекословной и грозной владычицей, взвизгнула такъ, что державшіе ее полицейскіе драгуны чуть-было не выпустили ее изъ рукъ, а у кузнеца задрожали руки. Посидѣвъ съ минутой, какъ бы въ обморокѣ, она пришла въ себя, и глухо проворчала:

— Слопали!... насытились!... Ну, ладно же!...

Она замолчала. Осунулась какъ-то сразу, и ужъ отъ нее болѣе никто не слыхалъ ни слова. Она только сопѣла, косилась, да по временамъ взвизгивала совершенно по собачьему.

10-го октября указъ Сенатскій по ея дѣлу былъ уже въ Москвѣ.

Замѣчательно, что на поляхъ подлиннаго указа, рукою Императрицы, противъ слова „она“ вездѣ поставлено „онъ“. Несомнѣнно, что Государыня хотѣла этимъ дать знать, что Салтыкова недостойна называться женщиной.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Позорище.

Семь дней спустя; по полученіи въ Москвѣ указа, онъ былъ приведенъ въ исполненіе.

Въ тотъ годъ зима въ Москвѣ началась рано. Съ перваго октября выпалъ снѣгъ, а къ 15-му рѣка Москва замерзла и всюду установился санный путь, и съ этого числа „ударилъ“ хорошіе морозы.

День 18-го октября былъ морозный и вѣтряный. Не взирая на это, десятки тысячъ народу собралось на „позорище,“ дотолѣ еще невиданное. Красная площадь была покрыта народомъ сплошь, крыши домовъ унизаны любопытными по всѣмъ направленіямъ, такъ-что, по словамъ очевидца, „не можно повѣрить, сколько было онаго.“ А каретъ и повозокъ было такое множество, что при тѣснотѣ, переломали ихъ не мало, да не мало же искалѣчили и передавили до смерти народу: по окончаніи „позорища,“ оказалось болѣе ста исколѣченныхъ людей и поднято около тридцати труповъ, обрушилось одно крыльцо и развалилась часть крыши у одного изъ домовъ Бѣлаго города.

„Не къ добру это! пронеслось тогда въ народѣ. Быть бѣдѣ и горю!“.

Императрицу весьма опечалило извѣстіе о несчастіяхъ во время „позорища.“

— Тварь низкая! произнесла она. И тутъ изъ-за нее гибель другимъ! Знать, у нее на роду кровь написана.

„Позорище“ долго занимало и волновало Москву. Особенно интересовало оно простонародье и всѣхъ тѣхъ, кто близко стоялъ „къ господамъ“.

— Потачки не даетъ и „господамъ!“ толковали простолюдины.

Народъ сталъ понимать новую Императрицу, и по-своему ее оцѣнилъ и полюбилъ.

И точно: этою мѣрою, т. е. судомъ надъ произволомъ помѣщицы, новое царствованіе дало себя знать народу, и Екатерина

обезпечила себѣ приверженность и простолюдиновъ. Мало этого: впоследствии, тогдашнее правительство строго слѣдило за злоупотребленіями помѣщичьей власти и, въ случаяхъ насилія, покупало въ казну у злого помѣщика крестьянъ его. По тогдашнему времени, и этого уже было много для облегченія хотя нѣсколько участи милліоновъ крѣпостныхъ людей, и это былъ шагъ, который впоследствии далъ свои, благословляемые милліонами же людей, плоды...

Э П И Л О Г Ъ.

Въ первый же годъ своего заключенія, Салтычиха сошла съума. Но признаки съумасшествія обнаружилились въ ней еще ранѣе, во время слѣдствія.

Она сидѣла въ подземельи Ивановскаго дѣвичьяго монастыря, въ родѣ склена, куда ей подавалась нарочно приставленнымъ солдатомъ скудная пища въ окошечко, задернутое зеленой занавѣской.

Двѣнадцать лѣтъ она просидѣла въ этомъ склепѣ, а затѣмъ—ее помѣстили въ „застѣнѣ“, нарочно для того пристроенномъ къ горней стѣнѣ храма.

Тутъ народъ свободно видѣлъ „изверга женскаго пола и челоувѣчества,“ и за свое любопытство слышалъ отъ Салтычихи буйныя ругательства, получалъ плевки и видѣлъ суковатую палку съумасшедшей, которой она совала въ неосторожно приблизившихся къ окошечку любопытныхъ...

Родной племянникъ мужа Салтычихи, свѣтлѣйшій князь Николай Ивановичъ Салтыковъ, сталъ править Москвой. Пронеслась надъ Москвой грозная чума. Казнили на Болотѣ грознаго же, какъ чума, Пугачева. Умерла Екатерина. Сталъ царить Павелъ. Умеръ и Павелъ—и вступилъ на всероссійскій престолъ Александръ...

Всѣ эти знаменательныя событія, въ теченіе тридцати лѣтъ, пронесли надъ головой заключенной совершенно невѣдомо.

Невѣдома для нея была и жизнь ея собственныхъ дѣтей.

Она не знала, что второй сынъ ея, Николай, женился на графинѣ Анастасіѣ Ѳедоровнѣ Головиной, имѣлъ сына и дочь, и

умеръ въ 1775 году. Невѣдомо ей было и о смерти старшаго сына, Федора, который умеръ нѣсколько позже, пожилымъ, одинокимъ холостякомъ...

Толстая, обрюзгая, съ безумными тѣлодвиженіями, съ дико блуждающими глазами, Салтычиха и для своихъ сыновей казалась „извергомъ рода человѣческаго.“ Дѣти только по одному разу видѣли свою заключенную, безумную мать, и ужъ болѣе не приходили къ ея застѣнку, да и бесполезно это было бы: мать не узнала бы своихъ дѣтей, а имъ нельзя было бы сказать ей и слова. Участи ея улучшить они тоже не могли—это было совершенно не въ ихъ власти.

Такъ и жила безумная заключенная ровно тридцать лѣтъ, озлобленная, звѣроподобная, безъ раскаянія въ своихъ кровавыхъ злодѣйствахъ, и умерла только въ 1801 году, 27-го ноября, 68-ми лѣтъ, переживъ обоихъ своихъ сыновей и одного внука.

Въ холодное ноябрьское утро тѣло этой когда-то жестокой женщины было предано землѣ въ Донскомъ монастырѣ, среди могилъ ея родственниковъ и сыновей. Могилу эту, безъ креста, вскорѣ затоптали, сравняли съ землей, и забыли о ней...

Но не забыла Салтычиху стоустая и живучая народная молва.

Въ началѣ нынѣшняго столѣтія долго въ Москвѣ ходила по рукамъ лубочная картинка, изображавшая Салтычиху у позорнаго столба съ надписью: „Мучительница и душегубица.“ Затѣмъ, молва взвела на нее то, чего на самомъ дѣлѣ и не было. Народъ назвалъ ее Салтычихой-людоѣдкой. Въ жестокостяхъ Салтычихи до этого дѣло не доходило. Впрочемъ, народная логика имѣетъ свои законы: часто въ народѣ именуютъ „людоѣдами“ тѣхъ людей, которые въ несчастіяхъ другихъ находятъ для себя удовольствіе...

Домъ Салтычихи на Лубянкѣ, гдѣ такъ много было пролито ею человѣческой крови, существуетъ и доселѣ. Существуетъ и сельцо Троицкое, перешедшее уже чуть не въ пятые руки. Принадлежалъ внуку Салтычихи, Николаю, и бывшій Чертковскій домъ на Мясницкой. Застѣнокъ Ивановскаго монастыря, гдѣ такъ

долго сидѣла въ заключеніи Салтычиха, разобранъ вмѣстѣ съ церковью въ 1860 году.

Почти до конца шестидесятыхъ годовъ, на Божедомкѣ, недалеко отъ церкви Ивана Воина, стоялъ старенькій, полуразвалившійся деревянный домикъ.

Въ немъ, въ этомъ домикѣ, совсѣмъ одиноко, проживала стопятилѣтняя старушка — маленькая, сгорбившаяся, съ морщинистымъ личикомъ, темнымъ, какъ земля. Для своихъ лѣтъ она была бодра необыкновенно, и сосѣди каждый день, и въ лѣтнюю жару, и въ зимнюю стужу, видѣли ее ходящую пѣшкомъ — то къ Сухаревой башнѣ, то на Лазаревское кладбище.

Во всемъ околоткѣ старушка была извѣстна подъ пменемъ бабушки Галины. Никому неизвѣстно было ея прошлое. Знали только, что она пріобрѣла домикъ, будучи уже старушкой, какъ-то давно-давно, еще до холеры, и съ тѣхъ поръ живетъ въ немъ безвыѣздно. Все сосѣдство было бы удивлено непомѣрно, еслибы узнало, что у этой старушки такое прошлое, о какомъ никому и во снѣ не снилось.

Это была наша Галина. Это она, стопятилѣтняя старушка, доживала свой долгій вѣкъ близъ того мѣста, гдѣ она видѣла, болѣе восьмидесяти лѣтъ тому назадъ, трупъ своего любимаго Сидорки Лихарева.

Всѣ эти восемьдесятъ лѣтъ прошли для Галины, какъ во снѣ.

Она видѣла „позорище“ Салтычихи. Видѣла, какъ наказывали кнутомъ тѣхъ, кто самъ когда-то владѣлъ кнутомъ не хуже палача. Видѣла, затѣмъ, самое Салтычиху въ „застѣнкѣ,“ и даже близко-близко заглянула въ лицо своей когда-то грозной барыни. Богъ вѣсть, узнала ли Салтычиха Галину, но она также внимательно посмотрѣла на свою прежнюю любимицу и, проворчавъ „стерва,“ отвернулась. Пережила и своего благодѣтеля, князя Орлова, который, покидая Москву, далъ ей вольную, снабдилъ щедро деньгами и отпустилъ на всѣ четыре стороны.

Дождалась Галина и воли — воли, объявленной манифестомъ 19-го февраля 1861 года. Еле-еле повѣрила старушка этому, и когда справедливость слуха „о волѣ“ подтвердилась, тихо распла-

калась и долго молилась передъ иконою Божіей Матери Всѣхъ Скорбящихъ, молилась такъ, какъ она обыкновенно молилась почти изо-дня въ день на Лазаревскомъ кладбищѣ, на какомъ-то еле примѣтномъ бугрѣ, извѣстномъ ей одной и ей одной дорогомъ.

На бугрѣ этомъ, въ весеннее утро, она какъ-то и умерла.

Нашли ее кладбищенскіе сторожа, лежащую поперекъ бугра, съ припавшимъ къ свѣжей, вешней травѣ лицомъ, съ признаками слезъ на глазахъ.

Въ тотъ же день воры пробрались въ ея домишко и, роясь въ разномъ убогомъ, старушечьемъ скарбѣ, обронили нечаянно огонь — и домикъ къ вечеру сгорѣлъ до тла.

Покойную похоронили тамъ же, гдѣ она и умерла, — возлѣ бугра. Но надъ ней ничья благодѣтельная рука не поставила креста — и затерялась ея могила среди другихъ могилъ, какъ теряется сиротливое дитя среди неродственного и чуждаго ему люда...

К О Н Е Ц Ъ.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

ПРНДОЖЕН

I.

Краткій обзоръ экстранта, учиненнаго въ юстицъ-коллегіи, по дѣлу о жестокихъ поступкахъ съ своими людьми вдовы гвардіи ротмистра Дарьи Николаевой дочери Салтыковой, урожденной Ивановой.

Вслѣдствіе Высочайшаго повелѣнія Государыни Императрицы Екатерины II, по произведенному юстицъ-коллегіею изысканію и по собраннымъ справкамъ открыто, что Салтыкова, въ продолженіи лѣтъ 10 или 11-ти, погубила своихъ людей слишкомъ сто душъ и преимущественно женскаго пола; въ томъ числѣ были дѣвочки лѣтъ 11 и 12.

Гнѣвъ Салтыковой происходилъ только отъ одной причины—за нечистое мытье платья или половъ.

Побой Салтыкова наносила болѣе сама собственноручно скалкою, валькомъ, палкою и полѣньями; а по приказанію ея, конюхи и тайдуки наказывали розгами, батожьями, кнутомъ и плетми. Всѣ эти побои столь были жестоки, что тотчасъ же, или вскорѣ, оканчивались смертію несчастныхъ жертвъ болѣзненнаго гнѣва Салтыковой.

Иныя наказанія производились съ особеннымъ тиранствомъ. Такъ, у одной женщины Салтыкова опалила на головѣ всѣ волосы; другого человѣка била объ стѣну головой, обливала ему голову кипяткомъ изъ чайника и брала за уши разжженными припекательными щипцами. Одну дѣвку приказала, въ октябрѣ мѣ-

сяцѣ, загнать кнутомъ въ воду по горло, гдѣ она пробыла четверть часа, а другую дѣвку сама скинула съ крыльца. Всѣ эти люди вскорѣ послѣ истязаній померли.

Описанныя убійства происходили или въ Московскомъ домѣ Салтыковой, или подмосковномъ ея селѣ Троицкомъ, Подольскаго уѣзда. Въ Москвѣ же она имѣла собственный домъ въ Кузнецкой улицѣ, въ приходѣ церкви Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы что на Срѣтенкѣ.

Кромѣ собственныхъ людей Салтыковой, служившихъ ей въ качествѣ палачей, тиранства ея покрывали священники, какъ московскій, такъ и сельскій—погребая завѣдомоубитыхъ Салтыковою.

Впрочемъ, случалось, что священники не соглашались погребать убитыхъ: тогда Салтыкова приказывала хоронить ихъ ночью въ лѣсу, близъ своей подмосковной, а управляющій ея въ такихъ случаяхъ подавалъ явочное прошеніе, что тѣ люди будто бѣжали.

Полицейскія власти и врачи тоже мирволили Салтыковой. Вытребованныя юстицъ-коллегіею изъ полиціи дѣла начавшіяся по доносамъ о жестокостяхъ Салтыковой, всѣ оказались рѣшенными въ ея пользу, или оставлены вовсе безъ рѣшенія; доноски же всегда были наказываемы кнутомъ; нѣкоторые изъ нихъ сосланы въ Сибирь, а другіе отдавались опять Салтыковой по собственной ея просьбѣ. Надо полагать, что послабленія и угожденія Салтыковой происходили съ одной стороны изъ уваженія къ фамиліи подсудимой, а съ другой, и того вѣроятнѣе, изъ за подарковъ, на которые она не имѣла причины скупиться, обладая значительнымъ по тогдашнему времени, состояніемъ. За Салтыковой числилось болѣе 600 душъ крестьянъ въ губерніяхъ: Вологодской, Костромской и Московской.

Во время производства юстицъ-коллегіею слѣдствія, Салтыковой было отъ роду 38 лѣтъ.

Замѣчательно, что сердце столь жестокой женщины было еще доступно любви, какъ это видно изъ доноса на нее, она имѣла сердечную связь съ инженеромъ Тютчевымъ; но когда онъ оставилъ ее и сговорилъ за себя дѣвицу Панютину, то Салтыкова придумывала разные средства, какъ бы погубить ихъ.

Сначала Салтыкова хотѣла сжечь домъ Панютиной и приказывала это сдѣлать своимъ людямъ, снабдивъ ихъ составомъ изъ

пороха, сѣры и пакли. Но люди на это не рѣшились. Потомъ, когда Тютчевъ уже женился на Паниотиной и они располагали ѣхать въ Орловскую свою вотчину мимо имѣнія Салтыковой, то она приказывала крестьянамъ своимъ убить ихъ. Но Тютчева предупредили, и онъ подавалъ объ этомъ на Салтыкову доносъ. При поварныхъ обыскахъ, дѣланныхъ въ Москвѣ чиновникомъ Волковымъ, а въ окрестностяхъ подмосковной кн. Дм. Цициановымъ, Салтыкова одобрена. Потомъ, эти же слѣдователи представили нѣсколько показаній стороннихъ свидѣтелей о жестокостяхъ Салтыковой; но всѣ эти показанія основывались на слухахъ отъ людей Салтыковой же. Такъ и при слѣдствіи въ юстицъ-коллегіи обвинителями Салтыковой были исключительно одни ея крѣпостные люди.

Но Салтыкова рѣшительно ни въ чемъ не созналась, утверждая, что всѣ эти доносы сдѣланы на нее изъ злобы, и что люди ея умирали естественною смертію отъ болѣзней или бѣжали *).

Для приведенія Салтыковой въ сознаніе и раскаяніе былъ употребленъ духовникъ. Но когда онъ донесъ, что не видитъ въ ней ни сознанія, ни раскаянія, то объ упорствѣ Салтыковой докладываемо было Императрицѣ на тотъ конецъ, что не прикажетъ ли подвергнуть Салтыкову пыткѣ.

Но Императрица на это не согласилась, а велѣла только увѣрить Салтыкову, что она непременно подвергнется пыткѣ — если не признается добровольно въ своихъ преступленіяхъ.

Чтобъ показать подсудимой на дѣлѣ всю жестокость розыска, приказано было надъ кѣмъ-либо изъ преступниковъ, къ тому осужденныхъ, произвести пытку въ присутствіи Салтыковой. Это было исполнено, но Салтыкова осталась при своихъ показаніяхъ.

Дѣло о Салтыковой рѣшено Императрицею 2 октября 1768 года.

Указъ Сенатскій, печатанный въ Москвѣ, о Салтыковой послѣдовалъ 10 декабря 1768 года. Вотъ его содержаніе:

Указъ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссійской. Изъ Правительствующаго Сената объявляется во всенародное извѣстіе.

*) Вѣроятно, преступленія Салтыковой въ прежнія царствованія оставались безъ наказанія потому, что тогдашніе законы не допускали показанія отъ крѣпостныхъ людей на ихъ господъ.

Вдова Дарья Николаевна, которая по слѣдствію въ юстицъ-коллегіи оказалась, что немалое число людей своихъ мужскаго и женскаго полу, безчеловѣчно, мучительно убивала до смерти, что по силѣ всѣхъ законовъ приговорено казнить ее смертію, о чемъ отъ Сената ея Императорскому Величеству поднесень былъ докладъ. Но Ея Императорское Величество, взирая съ крайнимъ прискорбіемъ на учиненныя ею безчеловѣчныя смертныя убивства, и что она по законамъ смертной казни подлежала, отъ той приговоренной смерти ее Дарью освободить, а вмѣсто смерти повелѣть соизволила: 1-е. Лишить ее дворянскаго названія, и запретить во всей Россійской Имперіи, чтобъ она ни отъ кого, никогда, ни въ какихъ судебныхъ мѣстахъ и ни по какимъ дѣламъ впредь именована не была названіемъ рода ни отца своего, ни мужа. 2-е. Приказать въ Москвѣ, въ нарочно къ тому назначенный и во всемъ городѣ обнародованный день, вывести ее на первую площадь, и поставя на эшафотъ прочесть предъ всѣмъ народомъ заключенную надъ нею въ юстицъ-коллегіи сентенцію, съ исключеніемъ изъ оной, какъ выше сказано, названія родовъ ея мужа и отца, съ присовокупленіемъ къ тому того Ея Императорскаго Величества указа, а потомъ приковать ее стоящую на томъ же эшафотѣ къ столбу, и прицѣпить на шею листъ съ надписью большими словами: *Мучительница и душегубица*. 3-е. Когда она выстоитъ цѣлый часъ на томъ поносительномъ зрѣлищѣ, то чтобъ лишить злую ея душу въ сей жизни всякаго человѣческаго сообщества, а отъ крови человѣческой смердящее ея тѣло предать собственному промыслу Творца всѣхъ тварей, приказать, заключа въ желѣзы, отвести оттуда ее въ одинъ изъ женскихъ монастырей, находящійся въ Бѣломъ или Земляномъ городѣ, и тамъ подлѣ которой ни есть церкви посадить въ нарочно сдѣланную подземельную тюрьму, въ которой по смерти ея содержать такимъ образомъ, чтобъ она ни откуда въ ней свѣту не имѣла. Пищу ей обыкновенную старческую подавать туда со свѣчею, которую опять у ней гасить, какъ скоро она наѣстся. А изъ того заключенія выводить ее во время каждаго церковнаго служенія въ такое мѣсто, откуда бы она могла оное слышать, не входя въ церковь. Что съ нею Дарьею и исполнено, и по учиненіи объявленной экзекуціи въ желѣзы заклю-

чена, и посажена въ сдѣланную въ Ивановскомъ дѣвичьемъ монастырѣ подземельную тюрьму. А чтобъ о всемъ вышеописанномъ всякъ былъ извѣстенъ, и во всякихъ судебныхъ мѣстахъ, и по касающимся съ нею дѣламъ родами отца и мужа ея не писать и не называть, а именовать: Дарья Николаева дочь. Сообщники же ея, дворовые люди, которые въ смертныхъ убивствахъ съ нею участіе имѣли, и попъ, который оныя тѣла завѣдомо погребалъ, по снятіи съ него священническаго сана, наказаны кнутомъ съ вырѣзаніемъ ноздрей и постановленіемъ знаковъ сосланы въ Нерчинскъ въ вѣчную работу. И о томъ во исполненіе предписаннаго Ея Императорскаго Величества Высочайшаго указа Правительствующій Сенатъ приказали: во всемъ государствѣ публиковать печатными указами, что чрезъ сіе и публикуется.

Современное письмо о Салтычихѣ.

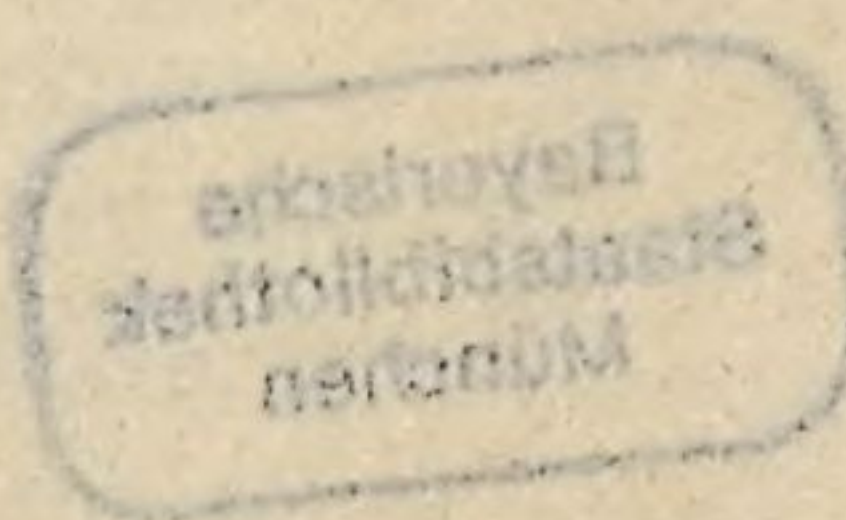
Милостивый государь мой!

На нонѣшней почтѣ по реестру писемъ отъ васъ, государь, не было, о чемъ я и умалчиваю, а донесу только вамъ, что у насъ въ прошедшую субботу дѣлалось, то-есть, 17-го числа. Сдѣланъ былъ на Красной площади эшафотъ, возвышенный многими ступенями, посреди коего поставленъ былъ столбъ, а въ столбъ вбиты три цѣпи; и того дня сдѣлана публикація, а по знатымъ домамъ повѣстка, что 18-го сего октября будетъ представлено позорище, кое 18-го числа, часу во 12-мъ, въ началѣ, и началось слѣдующимъ порядкомъ. Прежде шла гусаръ команда, потомъ везена была на роспускахъ Дарья Николаева дочь Салтыкова, во вдовствѣ, людей мучительница, по сторонамъ которой сидѣли съ обнаженными шпагами гренадеры. И какъ привезена была къ эшафоту, то, снявъ съ роспусковъ, взвели и привязали цѣпями ее къ столбу, гдѣ стояла она около часу; потомъ, посадивъ паки на роспуски, отвезли въ Ивановскій дѣвичій монастырь, въ сдѣланную для ней, глубиною въ землѣ аршина слишкомъ въ три, покаянную, коя вся въ землѣ, и ни откуда свѣта нѣтъ. Она въ желѣзахъ, и никого къ ней, кромѣ одной монахини и караульнаго допускать не велѣно; да и имъ тогда только ходить къ ней, когда ѣсть принести должно будетъ, и то при свѣчѣ, а какъ отъѣстъ, то опять огонь погасить и во тьмѣ оставить; а когда будетъ церковное пѣніе, то допускать ее къ церковному окну, къ коему по обыкновеннымъ у ходовъ ступенямъ всходить должна; и быть ей велѣно до смерти. А во время ея у столба привязи надѣтъ былъ на шею листъ съ напечатанными большими лите-

рами: *Мучительница и душегубица*. А какъ ее повезли, то послѣ ея биты были кнутомъ и клеймены люди ея и попъ: попъ—за то, для чего онъ мученныхъ ею хоронилъ, а людей—дворецкаго, который въ особливой милости былъ, и кучера, что убитыхъ валилъ, и другихъ,—чѣмъ и кончилось сіе позорище. Чтожъ принадлежитъ до народу, то не можно повѣрить, сколько было онаго: почти ни одного мѣста не осталось на всѣхъ лавочкахъ, на площади, крышахъ, гдѣ бы людей не было, а каретъ и другихъ возковъ,—несказанное множество, такъ что многихъ передавили, и каретъ переломали довольно. Пищу-жъ ей велѣно давать обыкновенную, монашескую, и лишена имени, дворянства и отцовской и мужеской фамиліи. Вотъ вамъ, государь, наши вѣсти. Еще донесу вамъ: у насъ уже зима со 18 числа началась, а 19-го и ѣздить на санкахъ стали. И я вчерась черезъ Москву рѣку переѣзжалъ. И напоследокъ остаюсь съ должнымъ моимъ къ вамъ, государь, почтеніемъ. 21 октября (1768). Село Покровское.



Handwritten text, mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side. The text appears to be a list or a series of entries, possibly related to a collection or inventory.



О Г Л А В Л Е Н І Е.

Ч А С Т Ъ П Е Р В А Я.

	Стр.
ГЛАВА I. На лѣсной дорогѣ	3
„ II. Ослушникъ.	11
„ III. Подъ шумъ непогоды	18
„ IV. Малиновый домикъ.	26
„ V. Первыя проявленія.	32
„ VI. Зуботыка	36
„ VII. Васильковъ кафтанъ	40
„ VIII. Видѣніе Императрицы Анны.. . . .	47
„ IX. „Слово и дѣло“.	53
„ X. Проклятая.	56
„ XI. Подъ акаціями сада.	60
„ XII. Семейное горе.	65
„ XIII. Своя воля	70
„ XIV. Молодцы-удальцы.	77
„ XV. Боецъ.	81
„ XVI. Подъ волчій вой.	83
„ XVII. Грозная домоводка.	90

Ч А С Т Ъ В Т О Р А Я.

ГЛАВА I. Оскорбленный дворянинъ.	96
„ II. Волчья погребница.	101
„ III. Освобожденный узникъ.	108
„ IV. Несвоевременный поцѣлуй.	113
„ V. Лучина выдала	117
„ VI. Послѣдствія	122

	Стр.
ГЛАВА VII. На „Майданѣ“	128
„ VIII. Листья шелестятъ	134
„ IX. Надъ свѣжей могилой.	139
„ X. Новыя подруги	145
„ XI. Безумная	149
„ XII. Галя въ „фаворѣ“	154
„ XIII. „Калмычка“	161
„ XIV. Непріятная вѣсть	166
„ XV. Ночное нападеніе	172
„ XVI. На Самотекѣ	179
„ XVII. Доносъ.	182
„ XVIII. Борьба.	185

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

ГЛАВА I. Смуглянка.	192
„ II. На ловца и звѣрь бѣжитъ.	196
„ III. „На тюльнѣ“.	202
„ IV. Надо судить.	205
„ V. Княжеская цвѣточница.	212
„ VI. „Заботливая матушка“.	220
„ VII. Всякому дѣлу свой конецъ	222
„ VIII. „Уродъ рода человѣческаго“.	225
„ IX. Позорище	230
Эпилогъ	233

ПРИЛОЖЕНІЯ. I. Краткій обзоръ экстракта, учиненнаго въ юстицъ-коллегіи, по дѣлу о жесто- кихъ поступкахъ съ своими людьми вдовы гвардіи ротмистра Дарьи Нико- лаевой дочери Салтыковой, урожденной Ивановой	240
II. Современное письмо о Салтычихѣ	244

11103
R. Buchner
Buchbinderei
84098 Hohenthann

Kondrat'ev, Ivan Kuz'mič

Saltyčicha Istoričeskaja pověst'. V trech částjach s épilogom. Iz
ugolovnych chronik XVIII-go věka

Moskva 1895

P.o.russ. 151 c

urn:nbn:de:bvb:12-bsb11680449-6